

ВЕК

ПРОСВЕЩЕНИЯ



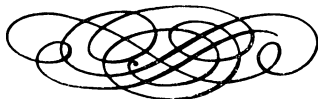
Академия наук СССР
Институт всеобщей истории
Высшая школа научных исследований

VI секция

Académie des Sciences d'URSS
institut de l'histoire generale
École supérieure des recherches scientifiques

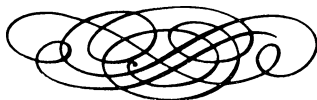


AU SIECLE DES LUMIERS



Moscou — Paris
Edition «Nauca»
1970

ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ



Москва — Париж
Издательство «Наука»
1970

Сборник «Век Просвещения» — первое совместное франко-советское издание, выходящее одновременно на русском и французском языках в Москве и Париже. На его страницах выступают известные французские и советские историки, изучающие один из самых ярких периодов в истории мировой культуры и общественной мысли — эпоху Просвещения. Сборник представляет особый интерес для читателя, ибо он посвящен главным образом малоисследованным аспектам истории Просвещения.

Редакционная коллегия:

Ф. БРОДЕЛЬ,
А. ГУБЕР,
А. МАНФРЕД,
Р. ПОРТАЛЬ,
М. ФЕРРО

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание является одной из форм научного сотрудничества советских и французских ученых-историков. Сборник статей выходит под общей редакцией, на русском и французском языках, одновременно в Москве и Париже. По взаимному соглашению Редакция публикует статьи авторов, представленные каждой из сторон, без существенных изменений.

Редакция надеется, что настоящее издание будет началом последующего плодотворного сотрудничества советских и французских историков.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
РЕБЕНКА ИЗ НАРОДА:
СЫН ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
(1712—1728)



М. Лоне

Творчество Руссо вызвало к жизни множество исследований на протяжении последних двух столетий. Нам представляется, однако, что для углубленного понимания Жан-Жака, как политического писателя, особенно важно проникнуть в ту историческую среду, где протекало его детство, в своеобразный быт предместья Женевы, Сен-Жерве, где жили все «вожаки простонародья»: эти вожаки притязали на роль некой элиты. Они отличали себя от простонародья, что, однако, нисколько не мешало им в то же время выступать в роли его представителей; они читали толстые книги по истории, политике, морали и религии; они стремились дать своим детям образование, которое позволило бы им сравняться, а то и превзойти молодых аристократов города своими талантами, знаниями и правами.

Для тех, кто изучает быт народа¹, очень сложно воскрешать прошлое, поскольку люди из народа почти не писали; но стоит заняться поисками, и тогда выясняется, что можно найти прямые и сохраняющие свою ценность свидетельские показания о среде, наложившей печать на всю жизнь Жан-Жака.

¹ См. по этому вопросу: J. Emelina. Pour une critique de la littérature populaire.— «Annales de la Faculté des Lettres de Nice», 1969; J. Emelina. Le courrier facétieux: aperçu sur la littérature, la pensée et la culture populaires au XVII-e siècle.— «Revue d'Histoire Suisse» (далее — RHS), X—XI, 1967, p. 523—544. В этих двух статьях дается актуальная библиография проблемы.

«Рвенце, с которым ухаживают за детьми королей, не больше того, с каким ухаживали за мною»

Жан-Жак нарисовал райскую картину своего раннего детства. Если бегло прочесть «Исповедь», то выносишь впечатление, что до десятилетнего возраста жизнь мальчика была замкнута в буржуазном доме, оставшемся после смерти его матери ее супругу и двум сыновьям.

Проживать на «большой Пекарной улице», в верхнем городе, в двух шагах от городской Ратуши, значило принадлежать к «верхним» людям. Мать Руссо, Сюзанна Бернар, дочь часовых дел мастера, могла с достаточным основанием причислять себя к «верхним», так как была племянницей «министра» — женевского пастора, удочерившего ее и завещавшего ей свое состояние. Брат Сюзанны Габриель получил образование, которое позволило ему достигнуть чина полковника императорской армии и добиться завидного титула инженера женевских укреплений. Жан-Жак Руссо не упускает случая подчеркнуть все, что «отличало от народа его мать и ее семью». Утверждая, что она была «дочерью Министра», он слегка, вероятно, бессознательно, искажает фактическую правду, но не социальную и моральную правду эпохи: Бернары были весьма «почтенными людьми», и даже аристократы не могли их смешивать с престономарodem.

Несколько иначе обстояло дело с семейством отца Жан-Жака. Если дед Жан-Жака, Давид, начал было благодаря своим способностям часовых дел мастера и торговца «отличаться от народа», настолько, что аристократы допустили его к первой ступени почестей, назначен его «десятиником», т. е. начальником квартала, — подчиненным офицеру из аристократов, — то выше он не смог подняться, а его многочисленные дети снова спустились по социальной лестнице. «Спустились» в буквальном смысле слова: отец Жан-Жака, Исаак, должен был продать дом в верхнем городе и поселиться в самом престономародном и самом скученном, самом «низком» квартале нижнего города, в предместье Сен-Жерве, по ту сторону острова и мостов через Рону. Тогда Жан-Жаку было пять лет. Вначале он не сознавал перемены, произошедшей в социальном положении семьи, но в тринадцать лет он вынужден был поступить на работу «учеником».

И вот тогда охлаждение к нему кузена, Абраама Бернара, особенно им любимого, открыло Жан-Жаку наличие социального барьера между ними.

Для женевских детей, как и для взрослых, воскресное утро было «временем свободы». Родители шли в храм сосредоточиться или развлечься: «Один рассказывает новости, другой говорит о своей торговле, третий о своей игре, а иной и о чем-то похуже»². Дети же ненадолго забегали в храм и сразу возвращались на площадь и продолжали там свою шумную возню.

На площади и соседних улицах они играли в войну, а так как самая серьезная война, о которой говорили и в которой участвовали их родители, была гражданская война, то они играли в гражданскую войну. «Говорят, наши отцы одержали победу! Мы захотели подражать им и объявили войну всем папенькиным сынкам, преданным правительству, а также всем попovichам. В ближайшее воскресенье, к концу последней проповеди, в самую чудесную погоду, школьники «верха» отправились на Трей, а мы устроились за нашу маленькую Синайскую горою (бастион Сен-Леже). Склон Трей был выбран в качестве поля битвы, *которая должна была походить во всем на битву у Перрона*. Все мы были вооружены длинными жердями и построились в боевом порядке. Мы уже поднимались по склону Трей... когда наши противники бегом спустились и ринулись на нас с такой яростью, что прорвали наш строй вплоть до третьей линии. Два-три наших раненых были извлечены из свалки... нам удалось отбросить наших врагов... Мы преследовали их до городской ратуши»³.

Битва у Перрона произошла в 1707 г., но это был лишь один из многочисленных эпизодов борьбы, которой предстояло завершиться революцией 1782 г. В 1704 г. Генеральный Прокурор «призывал всех граждан и горожан избегать всяких волнений и клик, как весьма опасных для общего блага и для безопасности Государства, существование которого возможно только при наличии совершенного единства всех членов общества»⁴. Однако граждане и горожане, не колеблясь, звали на помощь даже своих жен и детей; в народных кварталах жены и дети обзывали «мамелюками» рабочих, продавшихся аристократической партии.

² P. M. Masson. La religion de Rousseau, t. I. Paris, 1916, p. 10.

³ Charles Dubois-Melly. Les moeurs genevoises de 1700 à 1760 d'après les documents officiels pour servir d'introduction à l'histoire de la République et Seigneurie de cette époque. II éd. augmentée. Genève et Bâle, 1881, p. 281—282.

⁴ J.-P. Ferrier. Histoire de Genève des origines à 1789. Publiée par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève (далее — SHAG). Genève, 1951, p. 403.

«Несколько женщин из квартала Сен-Жерве были подвергнуты тюремному заключению или высылке за их чересчур активную политическую деятельность в 1707 году»⁵. Силы охраны порядка во главе с магистратом Трамбле, прославившемся своею жестокостью и стремлением подавить все «народные волнения», вынуждены были в мае 1707 г. отступить перед криком и свистом женщин и детей. В Книге Записей Совета (*Registres du Conseil*) 28 мая 1707 г. отмечено, что «дети преследовали их до пшеничных весов, крича «мамелюки»... дети дошли до нижней части города, крича все так же, но там их разогнали палками»⁶.

Слово «мамелюки» связано с событиями, восходящими ко временам Кальвина и даже более отдаленным. Вот что об этом говорит «История Женевы» Спона — единственная история их края, которую могли пользоваться женеvцы в 1730 г.: «Они называли сторонников Герцогской партии «мамелюками», по имени солдат-рабов египетского Султана, которые, будучи христианами, отступились от христианства, отреклись от свободы своей страны и примкнули к Тиранам»⁷.

В 1707 г. старое прозвище «мамелюк» заклеимило тех умеренных граждан, которые отнюдь не хотели окончательно порвать с Магистратом. Но не только люди из народа предоставляли своим детям свободу подражать им: приведенный выше рассказ о подражании женеvскими мальчишками «битве у Перрона» был написан в связи с тем, что аристократическая партия сформировала группу юных «добровольцев» — мы бы это назвали, в начальном периоде нашей Третьей республики, «школьным батальоном» — с целью дать юным аристократам 10—12 лет некую довоенную подготовку. Если даже Жан-Жак не участвовал⁸ в этих «подвигах», то он слышал о них от своего брата Франсуа и от отца.

Отец Жан-Жака был вспыльчивым человеком. Он впутался в скверное дело, не совсем чуждое политике. Жан-Жак встал на сторону отца и еще более политизировал уголовное дело, оказавшее важное влияние на его судьбу. Эжен Риттер разыскал в архивах Женевы документы, относящиеся к этому делу. Из них видно,

⁵ «Bulletin de la SHAG» (далее — BSHAG), X, 277. Патрик О'Мара приводит в этом замечательном исследовании следующую выдержку из «Registres du Conseil» от 28 мая 1707 г.: «Женщины и дети столпились на площади (Сен-Жерве) и около Кутанс и производили столь сильный шум, что все кругом было ими полно».

⁶ Там же.

⁷ M. Spon. Histoire de Genève, t. I. Genève, 1730, p. 140. Известно, что Руссо читал этот труд у мадам Варанс.

⁸ Позволиительно думать, что участвовал, судя по воспоминаниям детства, приводимым им в «Rêveries».

что Жан-Жак несколько приукрасил роль своего отца, но он был прав, подчеркивая политический и социальный аспект этого дела. Граждане Женевы очень гордились своей привилегией, правом носить шпагу, а также охотиться, подобно дворянам. Подобно дворянам они не стеснялись топтать и посеивать крестьян. Ссора вспыхнула после замечания г. Готье, землевладельца из Мерена: «Пощадите немного наши луга». Исаак Руссо сделал вид, что целится из ружья в того, кто сказал это. Оба потом встретились в городе, перебранка возобновилась, и Исаак Руссо сказал капитану Готье: «Ни слова больше. Пойдемте за город, и мы решим это шпагами». Но Готье, памятуя о дистанции, отделяющей человека «верха» от человека «низа», ответил, что «ему случалось обнажать шпагу, но с людьми этого рода он пользовался только палкою; после чего упомянутый Руссо вынул свою шпагу и ударил его ею по щеке»⁹.

После этого Исаак Руссо, которому угрожала тюрьма, бежал из Женевы, без надежды на возвращение, а Жан-Жака взял под свою опеку дядя Бернар. Затем он поместил мальчика в пансион, в одну из окрестных деревень, вместе со своим сыном Абраамом. В «земном раю» Боссе, у пастора Ламберсье, Жан-Жак очень скоро почувствовал себя жертвой несправедливости. Несмотря на дружбу двоюродных братьев, Жан-Жак не может не заметить, что за сыном «инженера» Бернара ухаживают лучше, чем за бедным сиротой, которому из милости дают пищу и воспитание. Может быть, именно поэтому Жан-Жак охотно подчеркивает в «Исповеди», что если в отношениях с воспитателями его кузену отдавалось превосходство, то в отношениях между ними двумя преимущество было на стороне Жан-Жака, который подсказывал на уроках кузену, помогал ему в переводах и сохранял инициативу в играх.

Несмотря на это различие между кузенами, которое не могла стереть даже самая нежная дружба, они оба оказывались в равном положении по отношению к крестьянским детям: их манеры маленьких горожан и тот факт, что они были воспитанниками пансиона господина пастора Ламберсье, вызывали насмешки и преследования деревенских школьников. «Я сердился и лез в драку. Маленькие плуты только этого и хотели. Я бил, меня били... Я тогда приходил в бешенство». Если бы его маленькие товарищи из Сен-Жерве не помогли ему научиться драться, то нельзя было бы понять, каким образом «дитя Короля», холенное его теткою и служанкою, «милою Жаклиной», могло бы проявить инициативу в драке.

⁹ А. XVI, 131—137; «Bulletin de l'Institut National de Genève» (далее — BING), XXIII, 59—66.

Но все это, даже разлука с отцом, протекает в сфере воображения, игры. Пока что еще нет речи о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Настоящая борьба должна была начаться вскоре. В 1724 г. оба кузена вернулись в Женеву. Между тем как дядя Бернар «готовил своего сына в инженеры», «обучал его рисованию и элементам Эвклида», «обсуждался вопрос, сделать ли меня часовых дел мастером, стряпчим или пастором». Самому Жан-Жаку больше нравилось бы стать пастором. Но маленького дохода от оставленного матерью имущества, дохода, который приходилось делить с братом, было недостаточно, чтобы получить необходимое образование. Жан-Жак с досадою отмечает, что пока все эти вопросы обсуждались, он оставался без дела у своего дяди, «не переставая платить довольно значительную сумму за свое содержание».

Прошло то время, когда Жан-Жак был «мальчиком из верхней части города», сыном гражданина и гражданки, отличавшихся своими нравами от народа, хотя гордость побуждала их вместе с простым народом противостоять спеси «господ». Жан-Жаку придется по-настоящему приобрести опыт «парабощения».

«Постоянно занятый Римом и Афинами...»

Чтобы понять влияние социального деклассирования Жан-Жака на формирование его политических идей, надо учесть, что воспитание «дитяти Короля» было, так же как и воспитание Дофина, политическим воспитанием. Новые документы подтверждают и в этом вопросе достоверность рассказываемого в «Исповеди».

Жан-Жак утверждает, что начиная с зимы 1719 г., т. е. в семь лет, среди других серьезных сочинений он стал читать со своим отцом «Историю Церкви и Империи» Ле Сюэра, «Рассуждение» Боссюэ о всеобщей истории, биографии знаменитых людей Плутарха, «Историю Венеции» Нани. Эти книги, полученные в наследство от пастора Бернара, Жан-Жак приносил в мастерскую отца и читал их ему во время работы. Указание 1719 г. очень важно, если мы хотим понять, почему книги по истории овладели его умом, отгнав Овидия, Лабрюйера, Фонтенеля и Мольера, которых он тоже упоминает в числе прочитанных в ту зиму, и почему с этого времени он пренебрегает психологическим и моральным аспектами этих сочинений.

Казнью Пьера Фатио¹⁰, вожака народных волнений 1707 г.,

¹⁰ О Пьере Фатио см.: Ch. Du Bois-Melly. Chroniques.— Genève en 1706. Nos annales au commencement du siècle XVIII. Pierre Fatio et les troubles populaires de l'année 1707. Genève, 1870, p. 128 et suiv.; André Corba z. Pierre Fatio. Genève, 1913.

женевские аристократы стремились запугать «мятежников». Кажется, это удалось им: бунтовщики успокоились, самое имя Фатио перестали произносить в разговорах или же произносили вполголоса, как священный или святотатственный символ свободы или демагогии. Только в кругу семьи осмеливались рассказывать легенды об этом человеке — аристократе, обладавшем всеми достоинствами: прекрасном, как ангел, блистательном, как король, добром, как Иисус, красноречивом и умном, как античный оратор, и который тем не менее встал на сторону народа против своей семьи, против своей среды. Последние слова, сказанные им его прекрасной и добродетельной супруге перед расстрелом, повторялись с благоговением, но имя его произносили только со страхом и оглядкой.

И все же ремесленники из Сен-Жерве упорно не желали отказываться от борьбы за право стать гражданами, хозяевами своей судьбы, а не просто подданными «Великолепного Совета Двадцати пяти». Более того, рабочая элита извлекла определенный урок из событий 1707 г.: своего рода культ Фатио, до такой степени воплотившего в себе народное сопротивление, что народ кричал ему: «Вы наш освободитель, наш государь, располагайте нами полностью», а некоторые представители народа говорили даже, «что не хотят знать других должностных лиц, что нет у них другого государя, кроме Фатио», этот культ и был причиной того упадка духа, в который народ впал после его казни. Поэтому элита ремесленников Сен-Жерве решила не иметь больше «вожаков», а создать подпольную организацию, чтобы смерть одного из них не могла остановить дальнейшую борьбу. Они использовали при этом саму гражданскую и военную организацию Республики: все совершеннолетние мужчины были разделены на «десятки» и «роты». Оказалось, что главные вожаки народной оппозиции, благодаря своему уму, образованию, профессиональной квалификации и, стало быть, и экономическому и социальному преуспеянию, стали десятниками или унтер-офицерами и фактически командовали всей гражданской и военной жизнью своих кварталов. «Уполномоченные Сеньоры» и офицеры из аристократии осуществляли только общее наблюдение над своими людьми в дни парадов или официальных церемоний, но не жили с ними. Такого рода организация была очень удобна «главам народа». Однако, не довольствуясь этим, они развернули другую, параллельную организацию «кружков». Сначала в этих кружках собирались, чтобы развлечься после работы или в праздничные дни. Но очень скоро они превратились в места политических дискуссий и заменили таверны и кабаки: ведь

Фатно был предан именно кабатчиком, у которого проводил собрания.

В своем «Письме к Даламберу» Жан-Жак очень живо рассказал о впечатлении, которое на него произвели военные манифестации и жизнь кружков, восторженным участником коих был и его отец: «Помню, какое сильное впечатление произвело на меня в детстве одно довольно простое зрелище, которое, однако, мне запомнилось, хотя прошло с тех пор много времени. Полк Сен-Жерве закончил свои учения, и, согласно обычаю, ужинали по ротам. После ужина большинство тех, кто входили в их состав, собрались на площади Сен-Жерве и принялись танцевать все вместе, офицеры и солдаты, вокруг фонтана, на барьер бассейна уселись барабанщики, флейтисты и те, что носили факелы... Было поздно, все женщины уже спали, но все поднялись... жены пришли к своим мужьям, служанки приносили вина. Даже дети, разбуженные шумом, прибежали полуодетые и присоединились к родителям... От этого произошло общее умиление, которое я не берусь описать, но которое испытываешь вполне естественно, в атмосфере общего веселья, находясь среди всего того, что тебе дорого. Мой отец, обнимая меня, был охвачен каким-то трепетом, который, мне кажется, я все еще чувствую и разделяю. «Жан-Жак,— говорил он мне,— люби свою страну. Смотри на этих добрых Женевцев; все они друзья, все братья; радость и согласие царят между ними. Ты Женевец; когда-нибудь ты увидишь другие народы; но когда пропутешествуешь столько же, сколько твой отец проездил, ты никогда не найдешь равного им народа»¹¹.

В «Письме к Даламберу» Жан-Жак стремился вызвать у своих соотечественников чувство национального единства, чтобы укрепить в них дух общего сопротивления губительному влиянию французских нравов, роскоши и искусств: поэтому-то он и вспоминает с нежностью «офицеров и солдат», танцующих вместе. Но мы нашли заявление одного женевского аристократа, которого шокировало именно то место в «Письме к Даламберу», где Жан-Жак хотел поучать и объединить женевцев всех классов: «Руссо родился гражданином Женевы в 1712 г. Вот как он говорит о своем отце, обращаясь к своим должностным лицам в посвящении его Рассуждения о неравенстве состояний: «Я не могу вспомнить без сладостного волнения... нежные наставления лучшего из отцов». Если бы Руссо и не добавил, что заблужде-

¹¹ J. J. Rousseau. Lettre à d'Alembert. Ed. Fuchs, Genève, Droz, 1948, p. 181—182, note (далее — «Lettre à d'Alembert»); см. также: L.-J. Coûtis. Jean-Jacques Rousseau soldat.—«Revue d'histoire Suisse», XII (1932), p. 468—476.

ния безумной молодости помешали ему воспользоваться уроками отца, то по некоторым из оставшихся у него склонностей и по грубым ругательствам, вырвавшимся у него, можно было бы догадаться, что свою раннюю молодость он провел в среде самого низкого, распущенного простонародья. У них-то он, наверно, и научился смотреть на пьянство, как на дело дозволенное и почти похвальное («Письмо к Даламберу о зрелищах», стр. 203). Неужто отец учил его восхищаться этим военным праздником, куда женщины, конечно, из самого низкого народа, приходили среди ночи прямо из кровати, чтобы смешаться с толпою солдат, танцующих у выхода из кабака? Нет, его отец добавил к той речи, которую ему приписывает его сын: Жан-Жак, если ты сохранишь воспоминание о том, что ты сейчас видишь, не вздумай говорить об этих женщинах за пределами Женевы, чтобы твоим согражданам не пришлось краснеть от того, что подумают, будто их жены способны на подобную непристойность»¹².

Это проливает свет на то «умиление», которое могло охватить сердца офицеров: их люди были для них только «толпою солдат», вроде тех наемников, которые пользуются своими отпусками, чтобы ночами пьянствовать с публичными девками. Жан-Луи Дюпан, достойный представитель женевской аристократии, написавший эти строки в 1766 г., не понимал, что эти «солдаты» были просто жителями того квартала, где они производили учения, и что эти «женщины из самого низкого народа» были попросту их жены. Что касается упрека в восхвалении пьянства, который автор делает Жан-Жаку, то этот упрек нацелен именно против восхваления «кружков», содержащегося в «Письме к Даламберу». Не решаясь открыто критиковать политическую роль этих кружков, аристократы пытались их дискредитировать, даже запретить их, приводя аргументы морального порядка. Но Жан-Жак заранее разоблачил этот лицемерный подвох и дал обоснование учреждения кружков как в моральном плане, так и в плане политическом:

«Наши кружки сохраняют в нашей среде некое отображение античных нравов. Мужчины, освобожденные от необходимости снижать свои мысли до уровня женщин и галантно одевать разум, могут между собою вести важные и серьезные разговоры, не опасаясь быть смешными. Здесь осмеливаются говорить о родине и о

¹² «Esquisse du tableau de la conduite de Jean-Jacques Rousseau présenté le 24 Mars 1766 aux Seigneurs Médiateurs par Monsr, l'ancien conseiller Jean-Louis Dupan de Morillon, déchargé du Conseil en l'année 1757 et mort en l'année 1775». Manuscrit de la SHAG, N 128 (inédit).

добродетели, не рискуя сойти за человека, твердящего одно и то же, осмеливаются быть самими собою и не подчиняться правилам какой-нибудь болтуни. Если ход беседы становится менее вежливым, то аргументы становятся более вескими; тут не довольствуются шуточками и любезностями. Тут нельзя выйти из положения с помощью острого словечка. В споре друг друга не щадят: каждый, чувствуя, что противник атакует его всеми силами, вынужден тоже приложить все свои усилия, чтобы защищаться. Таким образом ум приобретает точность и силу. Если к этому примешиваются иной раз непристойные речи, не надо слишком уж смущаться: наименее грубые люди не всегда наиболее честные, и этот несколько грубоватый язык предпочтительнее того более изысканного, на котором оба пола взаимно соблазняют друг друга и сближаются с пороком, соблюдая приличия»¹³.

Так Жан-Жаку удается контратаковать именно в моральном плане и показать, что салоны аристократов более вредны для нравов женецев, нежели кружки, где людям случалось напиться. Он спокойно развивает свое преимущество, разоблачая «заднюю мысль» аристократов, глубоко скрытую причину их враждебного отношения к кружкам. Эта причина была политическая:

«Граждане одного и того же государства, жители одного и того же города не могут быть отшельниками, они не могут жить всегда одни, отдельно друг от друга; если бы даже и могли, не следовало бы их к этому понуждать. Только самый грубый деспотизм испытывает тревогу при виде семи-восьми собравшихся человек, всегда опасаясь, чтобы их разговоры не вращались вокруг их нищеты»¹⁴.

Между тем нам известно из «Исповеди», что отец Жан-Жака был кутилой, что он «любил также свои удовольствия» и что в его разговорах речи нравственные и патриотические «о родине и добродетели» перемешивались с сальными разговорами: не может быть сомнения в том, что в кружках своего квартала он был, как у себя дома. И если мы попытаемся уточнить, какие кружки он посещал, кого он там встречал, то мы находим опять годы 1718—1719 и номер 15 улице Кутанс — тот самый дом, где Исаак Руссо поселился в 1717 г.¹⁵

¹³ «Lettre à d'Alembert», p. 140—141.

¹⁴ Ibid., p. 145.

¹⁵ См.: «Mémoires et ducements publiés par la SHAG» (далее — MDSHAG), IX, 409—420; Patrick O'Mara. Geneva in the Eighteenth Century; A Socio-Economic Study of the Bourgeois City-State during its Golden Age, these dactylographiées. University of California, 480 p.

Главари народной оппозиции в квартале Сен-Жерве после 1707 г. притихли. Но в 1716, 1717 и 1718 гг. должностные лица внезапно оказались перед фактом возобновления манифестаций. Первая была направлена против нового обложения — на бумагу, установленного аристократами без обращения к Генеральному Совету, т. е. собранию граждан, за разрешением. 11 октября 1718 г. почта из Лиона доставила многим женевцам анонимное печатное письмо, содержавшее резкие нападки на Малый Совет: «Обложить народ хотя бы одним денье без его согласия есть акт тирании»¹⁶. Месяц спустя, 19 ноября 1718 г., второе анонимное письмо стало распространяться по этим же каналам, и в нем повторялись обвинения в адрес Малого Совета. На сей раз аристократия встревожилась, провела допрос нескольких граждан, оказавшихся адресатами этих писем, и с изумлением убедилась в том, что они одобряют их содержание, что «эта политическая ересь весьма распространена, что среди публики ходило много копий первого письма, что зло постоянно прогрессировало, что Советам надлежало приложить все усилия к тому, чтобы его пресечь и вернуть на правильный путь большую часть нашего народа, который, по-видимому, чуждается магистрата и полон недоверия ко всем постановлениям»¹⁷.

Малый Совет был обеспокоен не только фактом распространения «двух мятежных писем», но и их содержанием: это не были пустые разглагольствования, какими слишком часто представлялись речи и печатные выступления последователей Фатио в 1707 г. Письма выдержаны в умеренном, даже ученом тоне: «Речь идет не о том, возможно ли установить у нас совершенную форму правления, а о том, является ли та форма, которую у нас хотят установить, тою же, что существовала у нас вплоть до 1570 года. Но как это выяснить, не изучив происхождения этой конституции!»

Три недели спустя, 7 декабря 1718 г., народная элита практически осуществила это возвращение к источникам женевской демократии и возродила старинную традицию «представительств», т. е. делегаций от граждан, посылаемых к Синдикам и к Генеральному Прокурору для изложения своих жалоб. Пьер Мюссар, двоюродный брат Руссо, был во главе первого «представительства». В тот же вечер другая делегация, от ремесленников-граверов, во главе с Дассье, явилась к магистратам. На следующий день квартал Сен-Жерве опять делал свои «представления», содержание которых было еще серьезнее: они требовали созыва чрезвычайного Генерального Совета. 9 декабря было организовано еще четыре

¹⁶ J. S. Spink. Jean-Jacques Rousseau et Genève. Paris, 1934, p. 16.

¹⁷ P. O'Mara. Article cité, p. 249.

делегации, и присутствие трех присяжных мастеров часовых дел символизировало участие в этих манифестациях могущественной корпорации ремесленных мастеров.

Малый Совет сделал из этого вывод, «что многие из нашего народа и даже самых порядочных и самых зажиточных из числа буржуазии были предубеждены в этом вопросе о налогах и свободно об этом говорили». Он решил «пресечь зло в самом начале», и 15 декабря по городу были расклеены афиши с объявлением, в котором оба письма были названы подрывными и запрещались всякие «собрания, махинации и происки». Это только усугубило недовольство и вызвало новые манифестации. До ежегодных выборов оставалось пятнадцать дней. Малый Совет испугался, он дал понять, что налоги будут уменьшены, и наказал только двух человек, избранных козлами отпущения, не трогая вожаков.

Для нас представляют интерес имена этих вожаков. Франсуа Терру, глава движения, жил в доме № 15 по улице Кутанс, во втором этаже того дома, третий этаж которого занимал Исаак Руссо. В соседнем доме жил Франсуа Бадолле, другой вожак волнений 1707 г. В № 20, в доме Абраама Кассена, одного из руководителей делегации 8 декабря, проживал Давид Руссо, дед Жан-Жака. На той же улице Кутанс жили также Исаак Соре, брат упомянутого выше Фредерика Соре, член возглавленной последним делегации, Антуан Мюссар, брат Пьера, который был инициатором создания делегаций. Что думали эти люди, что они читали?

Изучение инвентарей, составлявшихся после смерти, позволяет с достаточной точностью установить численность и содержание библиотек женевских ремесленников в начале XVIII в. Благодаря указаниям, содержащимся в машинописной диссертации и уже цитированной статье Патрика О'Мара, мы имеем сведения о частных библиотечках четырнадцати ремесленников, находившихся в отношениях родства, дружбы или соседства с семейством Руссо.

В этих библиотечках чаще всего встречаются сочинения латинских и греческих авторов: Цицерона, Вергилия, Сенеки, Корнелия Непота, Гомера, Фукидида, Геродота; самоучители древних языков, греческие и латинские словари, Библия, Комментарии Кальвина, Макнавелли, Паскаль, Мольер, Буало, «Словарь» Бейля, «Экономический словарь», а также сочинения Локка и Вольтера.

Интересно отметить, что владельцы этих библиотечек являлись главными вожакими движений 1707, 1718 и 1734 гг. Как видим, в этом тесном и сплоченном кругу, куда входило и семейство Руссо, живо интересовались определенной политической литературой. Нам не следует поэтому торопиться с заключением, что Жан-Жак в посвящении к своему «Рассуждению о неравенстве»,

подавшись сыновней любви, дал слишком лестную картину мастерской своего отца, утверждая, что наряду с орудиями своего ремесла он держал здесь и сочинения Тацита, Плутарха и Гроция.

Мы должны отвести только одно утверждение: будто Исаак Руссо воспитывал Жан-Жака «в должном почтении» к «славным и многоуважаемым Сеньорам». Мы видим обратное: Исаак дал ребенку пример бунта, правда, несколько путаного, сильного на словах, но малоэффективного, поскольку он кончился бегством. Что касается книг, прочитанных Жан-Жаком, нет оснований сомневаться в том, что он действительно читал Тацита, Плутарха и Гроция. Правда, эти книги не упоминались в описях библиотек друзей и соседей Исаака Руссо. Но они вполне могли находиться в тех «дюжинах книг по древней истории» или даже в тех «корзинах, наполненных романами», которые потариусы не давали себе труда подробно описать. Мы видим в них Саллюстия и Корнелия Непота, Фукидида и Геродота, Макиавелли и Дю Вера, Локка; почему бы не быть там Тациту и Гроцию и тем более Плутарху: «Плутарх особенно стал моей любимой книгой. Удовольствие, с которым я его непрестанно перечитывал, излечило меня несколько от романов, и я вскоре Агезилая, Брута и Аристида стал предпочитать Орондату, Артамену и Жюба. На этих интересных книгах и в беседах, которые они порождали между моим отцом и мною, сформировался тот свободный республиканский дух, тот необузданный и гордый характер, не терпящий ига и рабства, который мучил меня все то время, что мне пришлось жить в условиях, наименее подходящих для того, чтобы дать ему выход. Постоянно занятый мыслями о Риме и Афинах, живя так сказать с великими людьми, будучи рожден гражданином Республики и сыном отца, у которого любовь к родине была самою сильною страстью, я воспылал ею подобно ему. Я считал себя Греком или Римлянином. Я становился тем лицом, о жизни которого я читал. Поражавшие меня рассказы о постоянстве и бесстрашии зажигали блеск в моих глазах и давали силу моему голосу. Однажды, когда за столом я рассказывал о Муции Сцеволе, все испугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над ней руку, чтобы представить его подвиг»¹⁸.

В этом и ряде других фактов из раннего детства, рассказанных самим Жан-Жаком, есть одна общая черта: рано проявившаяся склонность к героическому страданию, которая, однако, у нашего маленького кальвиниста принимала форму подражания

¹⁸ Oeuvres de J. J. Rousseau, t. I, p. 9.

не Иисусу Христу, а великим людям древности: в народном воображении образ расстрелянного Пьера Фатио был, вероятно, более ярким, чем образ распятого на кресте Иисуса, или, вернее, жевские ремесленники испытывали ту же жалость, смешанную с благоговением, к праведнику, падшему жертвою великих мира сего, и Святому, погибшему из-за тщеславия фарисеев. Мы увидим, что в течение всей своей жизни Жан-Жак не перестает отыскивать и вызывать в самом себе, через преследования, образ некоего политического Христа, друга бедных, ремесленника, ставшего вождем людей, или Законодателя, пришедшего к мысли о необходимости вложить свои декреты в уста Бессмертных. В сердце ребенка, да и многих взрослых в XVIII в. и в наши дни политика и религия нераздельны. В маленьком Пардайане, ставшем Жан-Полем Сартром¹⁹, тоже было что-то и от миссионера, которого пытали злые китайцы, и от кавалерийского полковника, скошенного огнем неприятеля: все вместе произвело писателя и политического мыслителя. Плутарх, прочитанный семилетним республиканцем, произвел на свет «Общественный Договор».

«Усвоив пороки моего сословия, я не мог полностью усвоить его наклонности».

В своих сочинениях Жан-Жаку случается вкладывать различное содержание в слово «народ». Он не всегда различает «народ» и «простонародье». Он пишет: «Родившись в семье, отличавшейся своими нравами от народа, я получал только уроки мудрости и примеры чести от всех моих родственников». Это значит весьма определенно, что элита ремесленников Сен-Жерве отличалась, но не отделялась от народа.

Чаще всего слово «народ» имеет под пером Жан-Жака хвалебное значение, он сам хочет быть народом, но он не хочет, чтобы народ смешивали со «сбродом». С юных лет его представление об обществе вполне сформировалось и остается неизменным: Женева и также, но в меньшей степени, Франция состоят из «трех сословий», которые не совсем совпадают с «сословиями» феодального мира: это уже «классы». Ошибкою было бы думать, что термин «классы» является здесь анахронизмом: он был по меньшей мере столь же употребительным в Женеве XVIII в., как «сословие» или «состояние».

¹⁹ J.-P. Sartre. Les mots. Paris, 1965.

Верхний класс — Жан-Жак избегает называть его высшим — «знатные» или «богатые». Он стремится овладеть политической властью и поэтому будет постепенно подавлять демократические и республиканские традиции, а во Франции — даже естественные права народа: священники и писатели, по словам Жан-Жака, почти полностью связаны с этим классом. Эти люди, соглашаясь подводить обоснования под совершившиеся факты и превращать их в право, чтобы склонить народ к повиновению, получают за это вознаграждение: они участвуют в роскоши, т. е. «в распутстве», «того сброда, который зовется большие баре». Но эта роскошь может быть извлечена только «из пота, крови и труда народа». Следовательно, по мнению Жан-Жака, существует абсолютный антагонизм, и при этом в двух планах, между верхним классом и народом: в плане экономическом и социальном — роскошь знатных и богатых есть основная причина нищеты и безнравственности простого народа; в плане политическом — честолюбие и властолюбие богатых и знатных неизбежно должны столкнуться с тем представлением о своих правах и обязанностях, которое существует среди элиты народа, среднего сословия, класса ремесленников.

В Женеве средний класс составляют ремесленники, точнее, часовщики, так как другие профессии обычно зависят от производства часов. Ремесленники были в то же время мелкими торговцами. Во Франции к ним можно присоединить зажиточных землевладельцев и мелких служащих. В политическом, социальном и экономическом плане этот слой, несомненно, представляет собою «золотую середину». В плане моральном он претендует на роль образца, на то состояние человечества, которое наименее затронуто порчей, в котором добродетели избегают всякой крайности, а противоположные качества гармонически сочетаются²⁰.

Сословие низов, простонародье, сброд охватывает рабочих или поденщиков, батраков и лакеев, учеников и подмастерьев, не являющихся наследниками ремесленников-мастеров, наконец, весь не поддающийся определению неустойчивый мир «оборванцев», безработных и людей тысячи профессий, которые не кормят своих работников. Существует тайная связь между двумя крайностями, между сбродом лакеев и сбродом больших сеньоров: последние для поддержания своего господства и своей роскоши нуждаются в

²⁰ Есть много сходных черт у этого «среднего класса» с «free people» Англии XVIII в. (см.: Olivier Lutaud. Les Niveleurs, Cromwell et la République. Paris, 1967, p. 24, 28, 56).

рабских душах и руках, в развращенных людях. Это соучастие находит свое выражение в некоем молчаливом соглашении, по которому те и другие вправе взаимно обкрадывать друг друга, однако «не заходя слишком далеко». В плане политическом мы увидим, что в самой Женеве аристократы постоянно пытались расширить свою власть путем разделения народа, действительно подкупая людей из низов, соглашавшихся продаться или пастолько изголодавшихся, что они вынуждены были мириться с этим: отсюда и пошли «мамелюки».

Для Жан-Жака факт сведёния его на положение ученика без надежды стать когда-нибудь мастером означал «порабощение», которое во многих отношениях действительно походило на рабство: «Тирания хозяина порождала у меня отвращение к труду, который я мог бы любить, и такие пороки, как ложь, лень, воровство, которые я бы ненавидел. Ничто не могло дать мне лучше понять различие между сыновней зависимостью и подлым рабством, чем воспоминание о переменах, которые произвело во мне то время... Я пользовался честною свободою, которая до того лишь постепенно ограничивалась и, наконец, совершенно исчезла. Я был смелым в доме моего отца, свободным у г. Ламберсье, сдержанным у моего дяди; у моего хозяина я стал боязливым, и с тех пор я стал погибшим ребенком. Представьте себе, во что я должен был превратиться, когда, привыкший жить в условиях полного равенства со старшими, я оказался в доме, где я не смел открыть рта, где я должен был выходить из-за стола, когда прошла лишь третья часть трапезы, и сразу выходить из комнаты, если у меня там не было какого-либо дела, где я был постоянно прикован к своей работе и видел удовольствия только для других и лишения для меня одного, где вид свободы, которую пользовались хозяин и подмастерья, усугублял бремя моего порабощения»²¹.

Последствия этих перемен затрагивают те зародыши политических идей, которые были заложены в сердце и в уме Жан-Жака рабочею элитой Сен-Жерве: «Мой хозяин, по фамилии г. Дюкомэн, был грубый и резкий молодой человек, который сумел в очень короткое время погасить весь блеск моего детства, огрубить мой сердечный и живой характер и низвести меня в умственном отношении, как и в имущественном, к моему истинному положению ремесленного ученика. Моя латынь, мои древности, моя история — все это было забыто надолго: я даже не вспоминал о том, что были когда-то на свете Римляне».

²¹ Oeuvres de J. J. Rousseau, t. I, p. 31.

Однако внутренний конфликт между Сцеволой и Ларидоном²², между образом римского героя и образом шелудивой собаки, между свободой и примирением с подлым рабством протекал не без колебаний и не без появления неких странных цветов в сознании ребенка и отрока. Склонный давать своим действиям интеллектуальное и моральное оправдание, он придумал — или воспринял от своих товарищей по несчастью — некоторые идеи, которые могли стать, как скажет Вольтер, «философией некоего оборванца», философией всех оборванцев. Сначала он пытался возвести в героизм абсолютную преданность главарю воров и восстановить, хотя бы внутренне, то благородство «лаконизма», которое давало спартамцам силу терпеть, когда их грудь терзал украденный ими лисенок:

«У моего хозяина был подмастерье, г. Верра... Денег у него было мало, и он задумал украсть у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы затем несколько раз хорошо поесть. Самому ему рисковать не хотелось... и он выбрал меня для этого дела... Я долго спорил; он настаивал. Я никогда не мог сопротивляться, когда меня ласково упрашивали; я уступил... Я выполнил свою плутовскую проделку самым точным образом. Моим единственным побуждением было угодить тому, кто меня заставил это сделать. Между тем, если бы я попался, сколько побоев, брани, жестокостей выпало бы на мою долю, тогда как тому негодю поверили бы на слово, когда он отрекся бы от меня, а я был бы наказан вдвойне, если бы осмелился возложить вину на него; ведь он был подмастерьем, а я — всего только учеником. Вот как в любом положении сильный преступник спасается за счет невинного, но слабого».

От такого рода оправдания Жан-Жак пришел затем к более сильному: к идее кражи как возмещения. Как знать, не зародилось ли в беседах ремесленных учеников, когда они, играя, подражали боям и интригам рыцарских орденов, или по воскресеньям после проповеди отправлялись бандою гулять, не зародилось ли или не возродилось ли из темной традиции мира рабов, крепостных и поденщиков то, что в XIX и XX вв. станет анархистской теорией «индивидуального взятия обратно»? То, что ныне на арго некоторых парижских рабочих называется установлением «защиты» (организованное, умеренное, подчас терпимое и учитываемое самим хозяином воровство внутри завода)? Не эта ли диалектика действует в том абзаце «Исповеди», где некая хорошо известная детская

²² Ларидон — имя породистой собаки из басни Лафонтена «Education», попавшей в дуриую обстановку и вследствие этого опустившейся (*прим. перев.*).

логика представляется нам неопровержимым доказательством аутентичности:

«Продолжая терпеть жестокости, я вскоре стал менее чувствительным к ним. Наконец, они стали мне казаться возмещением за воровство, дававшим мне право продолжать его. Вместо того, чтобы поворачивать глаза назад и смотреть на наказание, я направлял глаза вперед и искал мести. Я считал, что раз меня бьют, как плута, то этим самым мне позволяют быть им. Я находил, что красть и быть битым, это согласуется одно с другим и образует некое состояние, и что, выполняя ту часть этого состояния, которая зависит от меня, я мог оставить моему хозяину заботу о другой части. Придя к такому заключению, я принялся воровать еще спокойнее, чем раньше. Я говорил себе: что может быть в конечном счете? Меня побьют. Что ж, я для этого создан»²³.

Суровая педагогика города Женевы, заставлявшая воров и фальшивомонетчиков ходить по городу с железным ошейником и выслушивать издевательские шутки ребят, несмотря на свою варварскую жестокость, оказала лишь слабое действие на души учеников:

«Я вырезал своего рода медали для себя и своих товарищей по рыцарскому ордену. Мой хозяин застал меня за этой контрабандной работой и обрушил на меня град ударов, говоря, что я упражняюсь в производстве фальшивых монет, потому что на наших медалях был изображен герб Республики. Я могу поклясться, что у меня не было никакой мысли о фальшивой монете и очень мало о настоящей. Я лучше знал, как делались римские ассы, чем как делаются наши монеты в три су...

Я уверен в том, что отвращение к краже денег... в большой мере привито мне воспитаньем. К этому добавлялись тайные мысли о позоре, о тюрьме, о наказании, о виселице, которые привели бы меня в дрожь, если бы я испытал соблазн. Тогда как мои проделки казались мне только шалостями, и это так и было в самом деле. Все это могло привести только к тому, чтобы мой хозяин меня хорошо выдрал, и к этому я заранее был готов».

Наконец, Жан-Жак находил удовлетворение в том, что шел дальше других в озорстве, становясь как бы главою банды или по меньшей мере одним из самых дерзких озорников. Это он вырезал «для себя и своих товарищей» «своего рода медали рыцарского ордена» и был избит за эту «контрабандную работу». Это он служил «примером» самого серьезного нарушения дисциплины — не соблюдая сигнал к тушению огня и не считаясь с временем закры-

²³ Oeuvres de J. J. Rousseau, t. I, p. 35.

ийя городских ворот: «Увлечись играми, я горячился и заходил дальше всех других; меня трудно было поколебать и сдержать. Так со мною было всегда. На загородных прогулках я всегда шел впереди, не думая о возвращении, если другие не напоминали об этом. Я попался на этом два раза»²⁴. Это он, наконец, умел обкрадывать своего хозяина самым эффективным образом: воруя возможно больше рабочих часов для тайного чтения, он брал у него обратно основное средство освобождения от рабства, ту культуру, которую отупляющее действие ремесленного ученичества чуть не уничтожило.

«Однако, усвоив пороки моего сословия, я не смог полностью усвоить его наклонности. Развлечения моих товарищей нагоняли на меня скуку, а когда чрезмерные притеснения вызвали у меня отвращение к работе, мне все надосло. Это вернуло мне вкус к чтению, который я, было, уже давно потерял. Чтение, происходившее за счет рабочего времени, стало новым преступлением и навлекло новые наказания. Но запрет только усугублял это влечение, ставшее страстью, какой-то яростью. Ла Трибю, дававшая книги на прокат, приносила мне книги всякого рода»²⁵.

Всякого рода: уж наверно в пачках книг, периодически обнаруживавшихся в багаже подпольных бродячих торговцев, оказывался среди порнографических, астрологических или религиозных брошюр, где-нибудь между двумя выписками *Bibliothèque bleue de Troyes*, какой-нибудь политический памфлет, женеvский или французский, или даже какой-нибудь легендарный рассказ о Картуше или о Мандрен, которые крали у богатых, чтобы дать хлеба бедным²⁶. Ла Трибю случалось иметь неприятности с полицией, которая терпела ее только потому, что она, вероятно, служила ей шпионом, но не доверяла ей и часто производила у нее обыски: предлогом или поводом для этого было «стремление охранять религию, мораль и добрые нравы, но Магистрат отчетливо понимал, что дела религии и дела государства тесно связаны между собой и потому, выполняя обязанности «цензора нравов», не пренебрегал од-

²⁴ Oeuvres de J. J. Rousseau, t. I, p. 41.

²⁵ Там же, стр. 39.

²⁶ Изучение «мифа» о Картуше и Мандрене кажется нам одним из интереснейших направлений для исследовательской работы. Вот некоторые вехи на этом направлении: J. L o r é d a n. La grande misère et les voleurs au XVIII-e. Marion du Favouet et ses associés, 1740—1770. Paris, 1910; E. Esmonin. Etudes sur la France des XVII et XVIII siècles. Paris, 1964 (в частности, главы об Урбене Грандье и Мандрене); см. также: Вольтер. Задиг, гл. XIV (Разбойник).

повременно ролью хранителя общественного порядка и установленной Конституции.

Мы располагаем доказательством того, что в 1728 г. политическое сознание юноши Жан-Жака не было полностью подавлено тремя годами ремесленного ученичества. Один женевский ремесленник, очень близкий к друзьям отца Руссо (это либо Жан-Батист Толло, либо Изаак Марсе), привел еще в 1751 г. свой вариант рассказа о периоде ученичества Жан-Жака, подтверждающий ту важную роль, которую сыграли его привычка к чтению и неукротимая потребность свободы и достоинства, в решении бежать из Женевы:

«Господин Руссо, урожденный в Женеве, — сын часовщика, вынужденного из-за одного дурного дела покинуть свою Родину. Молодой Руссо был отдан в ученики к одному граверу в нашем городе. Но у него не было склонности к этой профессии, а было большое влечение к чтению. У него всегда была в кармане книга и, как только мастер уходил, Резец уступал место Книге. Ученику за это часто попадало. Однажды наказание дошло до насильственных действий. Исполненный досады, юный Руссо покинул Женеву и бежал в Савойю»²⁷.

Есть нечто, объединяющее этот рассказ с тем, как сам Руссо описывает то же событие на страницах «Исповеди» в 1766 г.: то, что швейцарский журналист называет «досадою» на побои, а Жан-Жак — клятвой «никогда не возвращаться к хозяину», — было стремлением вернуть себе свободу своего детства — детства полноправного Гражданина.

«Граждане и Жители: единство ремесленного класса».

Эрудиты подчеркивают, что термин «Гражданин» не имел в Женеве того значения, которое он примет во Франции в эпоху революции. Без конца перетряхивают одни и те же тексты с целью напомнить, что женевская Конституция различала с политической точки зрения четыре или пять «классов» или «сословий»²⁸. На самой высокой ступени находились Граждане и Горожане: только они были членами Суверена, т. е. Генерального Совета, издавав-

²⁷ «Journal Helvétique ou Mercure suisse», X, 1751.

²⁸ Последняя по времени издания работа по этому вопросу — это сообщение Оливье Крафта (Olivier Krafft. Les classes sociales à Genève et la notion de Citoyen, dans «Jean-Jacques Rousseau et son oeuvre», p. 219—299).

шего законы и выбиравшего должностных лиц. Граждане и Горожане пользовались также экономическими привилегиями, и мастера-ремесленники ревниво следили во избежание конкуренции за сохранением, если не за усилением этих привилегий. Чтобы быть Гражданином, надо было родиться в городе и быть самому сыном Гражданина. Горожанином был тот, кто, не будучи Гражданином, получил за деньги «грамоту на звание Горожанина» (*lettres de bourgeoisie*): эта грамота давала ему право выбирать в Совет, но не давала права быть избранным на главные должности. Грамота давала право заниматься любой торговлей или промыслом. Наконец, она гарантировала от произвольных изгнаний: Горожанин мог быть изгнан только на основании судебного приговора.

Ниже Граждан и Горожан находились Уроженцы, люди, родившиеся в городе, но от родителей, которые были простыми Жителями, не Гражданами и не Горожанами. Жителями были иностранцы, купившие право проживания в городе, они платили налоги более тяжелые, чем Граждане и Горожане. Помимо этого Уроженцы и Жители не имели права заниматься самыми выгодными профессиями или же, если имели это право, то оно было обставлено множеством ограничений, что делало крайне трудной реальную конкуренцию с Гражданами и Горожанами.

Наконец, на самой низшей ступени стояли Подданные. Это были солдаты-наемники, крестьяне территорий, находившихся под женеvским господством, а также все бедняки, которых случай привел в Женеvу. Женеvская традиция и чувство религиозной солидарности побуждали отличать Беженцев-протестантов от других Подданных: Беженец вскоре становился Жителем.

Эти различия заставили многих юристов и историков, вплоть до наших дней, ставить вопрос о том, не была ли женеvская демократия фактически аристократней Граждан, внутри которой действовала олигархия богатых семейств. Этот вопрос имел бы важное значение для правильного понимания чувств Жан-Жака к народу своего города и конкретного значения, которое он вкладывал в слово «гражданин», если бы только этот вопрос не был поставлен слишком отвлеченно. В Женеvе начала XVIII в. было всего от 20 000 до 25 000 «душ». По глобальным оценкам нынешних историков и некоторым документам того времени Граждане и Горожане представляли собою от 1 500 до 4 000 мужчин в возрасте более 25 лет. Такие приближения обходят существо вопроса: если насчитывалось 4 000 глав семей Граждан или Горожан, то Генеральный Совет реально представлял абсолютное большинство «душ» в Женеvе, поскольку в соответствии с традицией, действовавшей во всей Европе XVIII в., их воля была также волею их жен

и детей. Если же было только 1 500 глав семей Граждан и Горожан, то они представляли значительное меньшинство, но меньшинство, которое в действительности диктовало законы всему народу Женевы, нисколько не заботясь об общей воле этого народа.

Если бы мы располагали только теми несколькими текстами, на основе которых сделаны эти подсчеты, такие приближения, несмотря на их недостаточность и на отсутствие реального значения, могли бы еще быть уместны. В действительности, только лень историков и юристов помешала им пойти дальше. Женевские архивы все еще ждут исследователя, который бы правильно разработал реестры периодических переписей, производившихся десятилетиями каждого квартала по приказу Магистрата²⁹. Эти реестры достаточно точны и полны, чтобы дать нам правильную картину Женевы XVIII в. не только с политической точки зрения, поскольку они обычно указывают качество Гражданина, Горожанина, Уроженца, Жителя или Беженца, но и с социальной и демографической точек зрения: обычно указывается профессия главы семьи, а также состав семьи и наличие прислуги и жильцов. В нашу задачу не входило переносить на 25 000 или 30 000 карточек сведения, содержащиеся в реестрах Десятков за годы 1707—1729. Но для того, чтобы решить вопрос о соотношении между Гражданами и Горожанами, с одной стороны, и Уроженцами и Жителями — с другой, необходимо было предпринять как общий анализ данных, содержащихся в этих реестрах, так и достаточно широкие и репрезентативные выборочные исследования. Будущие историки, которые составят исчерпывающую картотеку, определяют, как велика погрешность наших расчетов, — думаю, что она не превышает 1—3%.

Но сначала надо уточнить общую численность населения Женевы в XVIII в. Последний демограф, работавший над этой проблемой, очень справедливо заметил, что «указания о численности жителей Женевы противоречивы»³⁰. Поэтому необходимо было не только обратиться к первоисточникам, на которые опирались те, кто начиная с XIX в. писал о населении Женевы, но и подвергнуть критическому исследованию самые эти первоисточники и посмотреть, нельзя ли получить более надежные цифры. Большинство историков не указывают точного года, для которого они дают оценку, видимо, считая, что население не могло заметно измениться на протяжении нескольких лет; они обычно говорят о

²⁹ Archives de l'Etat de Genève. Recensements, A. 3-A. 6 (1707—1729).

³⁰ Emil J. Walter. Genfer Volks- und Berufszählungen des XVIII Jahrhunderts. Sonderabdruck aus «Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik», 1964, S. 337—345.

«начале XVIII в.». С другой стороны, они не уточняют, идет ли речь о городе Женеве (*intra muros*) или о территории Женевы (*intra et extra muros*)³¹.

Поскольку в XVIII в. для жизни и политических идей имело значение только то, что происходило внутри города (реестры «десятников» даже не указывают населения, обосновавшегося за стенами города, в кварталах Плен-Пале, О-Вив и Паки), мы будем говорить только о населении *intra muros*; «подданные», жившие за чертою городских стен под господством Женевы, до Французской революции не имели политического существования. Впрочем, мы можем установить благодаря двум частным переписям, какова примерно численность этого населения за чертою стен: в 1754 г. на половине земель, находившихся под властью Женевы (Приорат Сен-Виктор и Кафедральный Капитул), проживало 1254 человека; в 1787 г. в кварталах Плен-Пале, О-Вив и Паки насчитывалось 2228 человек. За отсутствием более полных сведений можно с основанием оценивать примерно в 5000 человек число «подданных», проживавших за стенами города во время молодости Руссо. В большинстве своем это были крестьяне, не участвовавшие в жевневской политической жизни и, насколько можно об этом судить, не стремившиеся участвовать в ней.

О числе же собственно жителей города, *intra muros*, можно узнать по реестрам Совета (*Registres du Conseil*). Для интересующего нас времени (т. е. юные годы Руссо) существуют данные только по двум годам: году, предшествующему рождению Жан-Жака, 1711, и году, предшествующему его отъезду в Боссе, 1721. Это те два года, когда Малый Совет принимал решение сгруппировать данные, содержащиеся в ведомостях десятников.

Согласно этим данным, население города Женевы исчислялось в 1711 г. приблизительно в 18 500 человек³², а в 1721 — в 20 781³³.

Немецкий демограф Эмиль Вальтер взял на себя труд сверить эти данные с ведомостями «десятков», сохранившимися до наших дней. Он пришел к заключению, что для 1711 г. более точною будет цифра 17 870, а для 1721 г. — 19 700. Стало быть, до получения более обширной информации мы должны исходить из максимальной цифры в 20 000 душ во всех наших приближениях.

Можно ли уточнить, как эти 20 000 душ распределялись по политическим категориям того времени, сколько было к 1721 г. Граждан и Горожан и сколько было Уроженцев и Жителей?

³¹ *Intra muros* — в черте городских стен. *Intra et extra muros* — в черте и за чертою городских стен (лат.) (*прим. перев.*).

³² *Registres du Conseil* (далее — RC) 210, р. 274—275.

³³ Там же, стр. 71.

Следующие цифры представляют собою самые точные оценки, которые возможно дать на основе указаний, содержащихся в списках десятников.

Нашим выборочным обследованиям подверглись 13 «десятков» из 25: в числе 3 578 глав семейств мы насчитали 1080 Граждан или Горожан и 1429 Уроженцев или Жителей (звание остальных 1069 глав семейств не было указано в списках Десятков). Одна гипотеза представляется отныне исключенною. Граждане и Горожане не являются большинством, даже относительным, населения Женевы. Можно также считать более или менее установленным, что они заметно менее многочисленны, чем Уроженцы и Жители. Впрочем, наши выборочные обследования подтверждаются некоторыми показаниями конца XVII и начала XVIII в. В своей «Storia genevrina» (1685) историк Грегорио Лети указывает, что население Женевы распределялось следующим образом: «около 12 000 приходится на граждан и горожан и несколько больше на уроженцев и жителей: всего 25 000 человек, из коих надлежит считать 3000 способных носить оружие, а именно 1500 граждан или горожан и 1500 уроженцев или жителей. Здесь имеются в виду люди старше 15 лет и моложе 60-ти»³⁴.

Конечно, оценки Лети весьма приблизительны. Он не учитывает тех, кто не Граждане и не Горожане, не Уроженцы и не Жители, и слишком арифметически делит «3000 семейств, составляющих женевскую общину», на две половины. Нескольку дальше, анализируя политический и военный строй Женевы, он вносит изменение в одну из этих цифр: продолжая говорить о «Генеральном Совете... состоящем, самое большее, из 1500 членов»³⁵, он повышает численность «буржуазной милиции» до 3500 человек. «Половина из них женевские граждане, а другая половина — уроженцы и жители, но все хорошо расположены и полны рвения в деле защиты общей родины»³⁶.

Если в 1685 г. численность обоих классов была приблизительно одинакова, то к 1707 г. число Уроженцев и Жителей, по-видимому, решительно превышало число Граждан и Горожан. Дюбуа-Мелли, точность и четкость которого мы могли проверить во многих случаях, говоря о годах 1703—1707, отмечает, что «простых жителей стало больше, чем горожан»³⁷.

³⁴ BING, XXXI, 1892, p. 25—26.

³⁵ Там же, стр. 27.

³⁶ «Genève au XVII^e siècle...» Amsterdam, 1685 (Traduit de l'italien — Genève, 1651).

³⁷ «Les moeurs genevoises de 1700 à 1760...», p. 41.

Наконец, когда Уроженцы и Жители начинают формулировать свои собственные требования, появляются *Записки, касающиеся Уроженцев*, рукопись которых мы разыскали; некоторые содержащиеся в них указания наводят на мысль, что их авторами являются Рокка и Беранже, два главара «Уроженцев». Вот что мы там находим: «Численность граждан гораздо ниже нашей, а если из этого числа вычесть тех, кого богатство освобождает от необходимости работать, тех, кто имеет должности либо в Женеве, либо за границей, наконец, всех тех, кто занят главным образом торговлей, то та их часть, которая занимается ремеслами, окажется наименьшей»³⁸.

Перепись 1781 г., первая сохранившая для нас глобальные и точные «цифры, определяющие соответственную численность лиц разных сословий в общем пародонаселении», по крайней мере в части мужского населения, дает четкое подтверждение направления этой эволюции: там указано 2965 Граждан и Горожан всех возрастов и 5165 Уроженцев и Жителей (3810 «Уроженцев, мужчин» и 1355 «Жителей, мужчин»). Старый демограф Эдуард Малле, который приводит эти цифры³⁹, делает из них вывод, что в 1781 г. население Женевы состояло на 26% из Граждан и Горожан, на 46% — из Уроженцев и Жителей и на 28% — из иностранцев. Его комментарий, подкрепленный новым текстом, датированным 1766 г. («число граждан значительно ниже нашей численности»), представляется нам весьма существенным:

«Стало быть, в этом отношении существовало противоречие между юридическим и фактическим положением, и это противоречие становилось все более чувствительным по мере того, как число Уроженцев, постепенно возраставшее вследствие большой редкости приема в сословие Горожан, в конечном счете стало намного превышать число Граждан»⁴⁰.

Таким образом, по нашему мнению, тот факт, что Граждане и Горожане были в меньшинстве по сравнению с Уроженцами и Жителями, стал очевидным уже во времена отрочества и молодости Жан-Жака, и это положение усугублялось на протяжении всего столетия. Но можно ли из этого сделать вывод, что подобно тому, как члены Малого Совета составляли своего рода аристокра-

³⁸ *Manuscrits de la SHAG* (далее — *MSHAG*), N 175. *Mémoires concernant les Natifs, Discours aux Illustres Seigneurs Plénipotentiaires des Puissances Mediatrices par quelques Natifs, en leur remettant le 8 août 1766 le mémoire remis à Monsieur le Premier Syndic le jour auparavant.*

³⁹ «Du recrutement de la population dans les petits états démocratiques». Genève, 1851, p. 58.

⁴⁰ Там же, стр. 56.

тию по отношению к Гражданам и Горожанам, сами Граждане и Горожане были как бы «аристократией второго сорта» по отношению к Уроженцам и Жителям? Такой вывод был бы следствием некоего анахронизма, который тоже надлежит рассеять. Конечно, придет время, — а именно в 1766 г., — когда Уроженцы и Жители отмежуются от Граждан и Горожан и выдвинут свои собственные требования. Насколько нам известно, ни один историк не мог доказать, что до этого года существовали раздоры между Уроженцами и Жителями, с одной стороны, и Гражданами и Горожанами — с другой. Конечно, недовольство назревало прежде, чем окончательно вспыхнуть. Сами Уроженцы, когда они решили написать «Историю народа Уроженцев», отнесли момент рождения их политических притязаний к 1738 г.: в 1734 и в 1737 гг., пишут они, Уроженцы и Жители еще выступают заодно с Гражданами и Горожанами против Малого Совета:

«Народ Уроженцев спас народ Граждан»; по в 1738 г. неблагодарные Горожане смотрели «на Уроженцев, как старых, так и новых, как на подданных, на привилегированных Иностранцев или в лучшем случае, как на простых Жителей. Это означало разделять народ на две части: из одной образовать государство, а из другой сделать фундамент, на котором должно стоять все здание... Уроженцы, которым открыли доступ к выгодным профессиям, толпами устремились к ним»⁴¹.

Из этого же текста видно, что даже после 1761 г. Уроженцы оставались равнодушными ко всем политическим спорам, порожденным вопросом о «негативном праве» Малого Совета. Стало быть, политическое самосознание «народа Уроженцев» оформилось в годы 1761—1766.

В течение интересующего нас периода и по крайней мере до 1738 г. большинство Жителей и Уроженцев считают себя солидарными с Гражданами и Горожанами в борьбе против аристократии. Это аристократия, желая разделять, чтобы лучше властвовать, затеяла попытки противопоставить друг другу две категории «низкого народа», что, впрочем, ей не удалось. Мы нашли многочисленные документы, которые это подтверждают, из коих некоторые исходят от самой аристократии:

«Вчера пополудни многие Граждане и Горожане явились ко мне в деревню, чтобы выразить мне свои опасения в связи с распространявшимися слухами о некоем объединении некоторых лиц из Советов с Жителями, что могло лишь нанести ущерб свободе Граждан и свести на нет новые Эдикты Генеральных Советов...,

⁴¹ Histoire du Peuple Natif. MSHAG, N 324.

в частности, о трапезе, состоявшейся в одном доме с участием около 60 Жителей и нескольких подозрительных Граждан... Народ — всегда народ, его недоверие к тем, кто им управляет, это его эпидемическая болезнь... Ничто не противоречит в такой мере нашей Конституции, нашим основным законам и благочинию, как подобные объединения, совершаемые просто частными лицами без разрешения Магистрата... Это значит дать пример Гражданам, в эти злосчастные времена привлечшим всех на свою сторону, но после мудрой публикации Советов, произведенной в начале сего года, сохранившим спокойствие... Это значило бы вынудить их выставить контрбатарею и опять объединить их с теми самыми жителями, которых они привлекли, и их успех благодаря численности будет больше, чем успех объединения противоположной партии, которая понесет почти весь убыток.

Это также значит дать жителям какое-то участие в правлении, которого они вовсе не должны иметь, если позволить им объединиться с частными лицами без особого повеления Советов, если дать им почувствовать их силу и что в них нуждаются и поощрить их на предъявление в дальнейшем требований и на действия, наносящие ущерб свободе Граждан и Горожан и власти Советов, и которые уже нельзя будет остановить»⁴².

«В среде Горожан начинаются поиски... обоснования вооруженного восстания, и вот каковы главные обвинения, на которых это основано:

1. Что партия господина де Монреалья подкупила многих Уроженцев и Жителей деньгами и другими способами и что это могло быть сделано только с дурными намерениями... Какая клевета!

... 3. Что эти же лица хвастались, что, поскольку Горожане теперь не пользуются поддержкою жителей, то в случае, если они вздумают шевелиться, они могут только потерпеть поражение.

Уверяют, что некоторые лица из Горожан в стремлении настроить жителей против правительства и отдалить их от него распространили слух, будто различные его члены энергично добивались постановления о том, чтобы впредь жители были обязаны закупать пшеницу в государственных амбарах по той же цене, по какой обязаны покупать пекари, что оказалось полностью вымышленным»⁴³.

⁴² «Divers ouvrages, tant en vers qu'en prose au sujet des troubles de Genève, composés par le Procureur Général Jean du Pan dans les années 1734—1735—1736—1737—1738—1739», non paginé. MSHAG, N 1. Inédit.

⁴³ Journal de Perdriau de 1737—1740, aux dates des 31 août 1737 et 23 mars 1738. MSHAG, N 6. Inédit.

Махинации возобновились в 1781 г., на сей раз успешно, но это предсказание Жана дю Пана оправдалось, поскольку тогда Уроженцы, осознав свою силу, использовали аристократию, которая сама думала использовать их против Граждан и Горожан. Уже приближалось время, когда и женевским аристократам придется в свою очередь изведать горечь изгнания:

«Однако Негативные⁴⁴, дабы присоединить внутреннюю силу к тому влиянию, которым они пользовались вовне, прибегли ко всякого рода махинациям с целью привлечь на свою сторону Уроженцев и Жителей Города. Для увеличения численности они еще добавили к ним путем своего рода вербовки, прислугу и иностранцев, из тех, кто образует то, что повсюду называют *простонародьем*. Они их организовали в кружки, они их там подкармливали и делали им широкие обещания, чтобы привязать их к себе... Они создали в верхнем городе несколько кружков, состоявших как из Граждан и Горожан, входящих в их партию, так и из той части низкого народа, посредством которой они старались ее укрепить... Простонародье, связанное с последними (Негативными), возгордившееся от того, что оно смешалось с наиболее видными и наиболее богатыми лицами Города, часто наносило оскорбления Членам Кружка Обсерватории»⁴⁵.

Другая рукопись, сохранившаяся в Женевском Обществе истории и археологии, убедительно доказывает, что в 1700—1730 гг. Уроженцы и Жители заодно с Горожанами выступали против Магистратов. Этот документ содержит очень интересные детали, относящиеся к эволюции политических идей в Женеве во время кризиса 1707 г., и показывает, какова была роль Пьера Фатио в укреплении солидарности между Жителями и Гражданами:

«Революция, с которою правительству пришлось столкнуться в 1707 году, это тоже одно из следствий того просвещения, которое французы внесли в жизнь города. Более богатая Буржуазия, более просвещенный Народ ждали только подходящего случая, чтобы освободиться от своего рода опеки, которую Советы осуществляли над ними в течение более столетия. Один умный человек, отстраненный от Малого Совета (куда он страстно хотел войти) (имеется в виду Пьер Фатио) по тем соображениям благоразумия, которыми обычно руководствуются главы маленькой Республики и которые он считал частными интересами группы, задумал отомстить

⁴⁴ Так называли в Женеве членов Малого Совета, высшего органа исполнительной власти, в связи с присвоенным им «негативным правом» отвергать представления, с которыми обращались к нему граждане (*прим. перев.*).

⁴⁵ «Lettre d'un Citoyen de Genève à Mr***». A Genève, 8.IV 1781, p. 3—4.

за этот фронт и возбудить у Горожан дух беспокойства и любознательности относительно источников власти, и это побудило их потребовать общей реформы управления... Уроженцы, ранее бывшие заодно с Горожанами, а через несколько лет после Революции смешавшиеся с самым подлым престономародьем... Уроженцы и Горожане не считали себя двумя разными народами, с различными интересами и условиями жизни... Но замечательно предложение пастора Фатю, брата главы Горожан. Он предложил создать правление по образцу Афин, подобно тому, что и в наши дни существует в некоторых кантонах Швейцарии, и разделить население на трибы. Это предложение, говорят, было освистано, но оно ограждает по крайней мере тот вид равенства, который царил тогда между Горожанами и Уроженцами, поскольку во мнении просвещенного человека те и другие составляли одно... Эта Революция открыла эпоху в истории нашей Республики... Разумеется, в дальнейшем Советы стремились предотвратить и остановить объединение Уроженцев с Горожанами»⁴⁶.

Анонимный автор этого сочинения дает также ценные подробности для понимания народной психологии конца XVII и начала XVIII в.: «Уроженец пользовался удобствами, доставляемыми умеренным управлением, и поэтому не придавал большого значения правам Горожанина. Поэтому, как меня заверили сведущие люди, в течение XVII века лишь 47 Уроженцев стали Горожанами, тогда как насчитывалось пятьсот иностранцев. С другой стороны, Горожане, особые права которых сводились к единственной прерогативе избрания своих магистратов, не считали себя сословием, стоящим выше остального Народа... (В 1707 году), довольные тем, что они лишили Советы права установления налогов, и тем, что главные атрибуты суверенитета безвозвратно закреплены за Генеральным Советом, Уроженцы сочли себя вознагражденными тем, что получили свободный доступ к различным профессиям, к которым ранее их допускали только по прошениям... Женевцы — простые Уроженцы, по-прежнему называемые гражданами, не жаждали, как ранее, приобщения к законодательному корпусу. Советы предоставили им бесплатно все другие привилегии, которых могут желать простые ремесленники: доступ к различным профессиям, должности унтер-офицеров и другие мелкие должности, на которых их таланты могли быть полезны Родине. Таким образом, Уроженцы постепенно поднимались из того праха, в который их ввергла предыдущая администрация».

⁴⁶ Histoire du Peuple Natif. MSHAG, N 324, p. 26—27.

Но в 1713 г. Советы захотели взять обратно те преимущества, которые были ими даны народу скрепя сердце в 1707 г.: они старались «компенсировать пустыми почестями те права, которые в действительности хотели отнять у Горожан. Рассчитывали отдалить их от интересов Народа, показав им, что это не близкие им люди... С другой стороны, те женевские подданные, которые до того времени были украшены званием Граждан, оказались опять ввергнутыми в прежнее состояние деградации благодаря наименованию Уроженцев, присвоенному им Гражданским Эдиктом 1713 года. Это означало еще большее отдаление их от Законодательного Корпуса; это означало еще большее усиление их зависимости от правительства. Под властью этой мрачной администрации прошло двадцать лет, после чего Горожане, разобравшись в своих подлинных интересах, поняли, что они — народ и притом народ поработанный...»⁴⁷.

По-видимому, около 1760 г. Уроженцы начали осознавать, что у них есть свои собственные проблемы, и стали называть себя «Народ Уроженцев»: «Уроженцы помогли Горожанам в их политической борьбе, но ничего за это не получили. Ими воспользовались, их обманули, они оказались простыми орудиями Горожан»⁴⁸. «Уроженцу придется заставить своих сыновей заняться теми профессиями, которые Горожанин считал достаточно подлыми или скудными, чтобы их ему уступить. Они, стало быть, будут каменщиками, слесарями, плотниками, малярами, граверами», но не часовщиками.

Конечно, не следует воображать, что прежде между двумя категориями народа существовала совершенная идиллия⁴⁹. Еще в конце XVII в. можно отметить некоторые легкие симптомы того, что должно было разразиться 60 лет спустя. В весьма увлекательном рукописном сборнике «сочинений» ремесленника Фран-

⁴⁷ Histoire du Peuple Natif. MSHAG, N 324, p. 26—27.

⁴⁸ «Mémoire concernant les Natifs...» MSHAG, N 325.

⁴⁹ Антони Бабель в своей превосходной работе «Les Métiers dans l'ancienne Genève» (Genève, 1916) очень хорошо показывает, правда исключительно с экономической точки зрения, «чисто материальные интересы», «статкивающие между собой горожан и уроженцев» (гл. VII). «Положение жителей и уроженцев в ремесленных цехах»). Но он указывает также, что лишь в 1738 г. Уроженцы, «допущенные впредь ко всякого рода ремеслам» и получившие возможность «достигнуть звания мастера при условии уплаты казне налогов, установленных указами и регламентами», поставили Граждан и Горожан перед серьезной угрозой конкуренции: и тогда Граждане и Горожане, пренебрегая советом Жан-Жака Руссо, ожесточились в своем эгоизме и, вызвав у Уроженцев чувство обиды, заставили их выступить с собственными требованиями».

суа Делашана, сыгравшего большую роль в волнениях 1704—1707 гг., мы находим такой многозначительный отрывок, датированный 1697 г.: «Женевский народ по существу очень хороший народ... Ему приходится иногда требовать, чтобы только он пользовался одним из самых существенных прав из всех, коими он обладает: правом торговать в открытой лавке или со склада, в отличие от простых Жителей, каковое право весьма несправедливо становилось и повседневно становится общим»⁵⁰.

Делашана жалуется дальше на «чрезвычайное и ужасное число иностранных торговцев» и иронизирует над теми, кто сходит за Горожанина или, скорее, полу-Горожанина». «Несправедливые передачи простым Жителям права, о коем я говорил, тем более вопиюща и невыносима,— заключает он,— что она причиняется Гражданам и Горожанам, почтенным и облеченным столь славным званием».

Дюбуа-Мелли, с другой стороны, отметил тот факт, что в 1730 г. недовольство, выраженное Гражданами и Горожанами, заставило отменить регламент, позволявший Жителям и Уроженцам быть унтер-офицерами. Со своей стороны, мы нашли объявление от 13 апреля 1728 г., запрещающее «всем Жителям и Иностранцам, какого бы сословия они ни были, держать лавки». Однако официальный характер этого объявления не позволяет установить, было ли оно опубликовано по требованию Граждан нижнего города или по инициативе аристократии; аналогичное объявление будет опубликовано еще 15 июля 1769 г. Другой неизданный текст, который не приходится подозревать в пристрастном освещении фактов, поскольку это Дневник Генерального Прокурора Жана дю Пана, указывает, по-видимому, на то, что в экономических вопросах аристократия несет главную ответственность за предоставление привилегий Гражданам и Горожанам:

«Поскольку Малый Совет нашел правильным повысить плату за приобретение прав Горожанина, дабы, вероятно, отстранить от этого многих людей, коих не подобает принять, он должен был бы применять это право в пользу заслуженных людей и присваивать его иногда лицам, обладающим полезными талантами... для привлечения их в наш город»⁵¹. «Члены Малого Совета приняли второе решение об увеличении платы за прием в Граждане до 4000 ливров, без исключений, в чем, я думаю, их предусматри-

⁵⁰ Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève Ms. fr. 263. Portrait raccourci de Genève enjouée. Fait dans le mois de juin de l'année 1697, inédit.

⁵¹ MSHAG, N 1.

гельность и осторожность несколько переходят границу... Прежде в это сословие не допускали никого менее чем за тысячу эю... Таким путем, разумеется, отстраняли тех, чье допущение не отвечало бы благу Государства, и не отстраняли людей с хорошим образованием, чем-нибудь выдающихся и зажиточных, коих следует принимать в нашу среду и они по своему состоянию будут заинтересованы в соблюдении законов и порядка правления, вместо того, чтобы стараться запутать и ослабить его... Установление же платы в 4000 ливров оттолкнет богатые семейства с хорошей репутацией, которые надлежит привлекать в нашу среду в интересах чести и пользы Государства».

Таким образом, добрый прокурор Жан дю Пан шел против господствующего течения своей среды, когда 6 января 1741 г. в своем Представлении Совету Двухсот он предложил «заменить некоторые, слишком тяжелые для бедных жителей налоги другими видами обложения, направленными более на состоятельных». Уроженцы и Жители знали глубоко укоренившиеся чувства аристократов в отношении «простонародья», и они не заблуждались относительно тактического характера тех или иных любезностей Малого Совета.

Итак, в 1712—1724 гг. юный Руссо не мог вообразить, что его звание Гражданина отделяет или хотя бы отличает его от его маленьких товарищей Уроженцев: только его «нравы» и образование могли создавать отличие между ним и большинством мальчишек Сен-Жерве. Если Жан-Жак гордится своим званием Гражданина, то эта гордость направлена против людей «верха» и их лакеев, а не против его братьев «низа». Вплоть до 1766 г., главным фактом, определяющим политическую жизнь Женевы, будет раскол между «верхом» и «низом». И лишь тогда, когда ремесленники — Граждане, Горожане, Уроженцы, Жители — будут считать, что они выиграли, начнется расслоение. Они забудут тогда о своей прошлой солидарности, и Уроженцы упрекнут Жан-Жака в том, что он их смешал с Гражданами, — между тем, как именно отсутствие у Жан-Жака интереса к различию между Гражданами и Горожанами, с одной стороны, и Уроженцами или Жителями — с другой, было выражением того, что для него существовал только один народ, все члены которого были равны в борьбе за свободу. В этом смысле весьма показательное сопоставление рукописной «Истории народа Уроженцев» с текстами Жан-Жака:

«Этот знаменитый писатель посвятил Республике свое Рассуждение о Неравенстве, продолжающем существовать между людьми. Это посвящение, шедевр красноречия и полтики, окончательно подняло всякого мыслящего человека из Горожан до уровня благородных Венецианцев. Не знаешь, чему больше поражаться: ос-

леплению ли автора, который, желая изобразить умеренную демократию, совершенно забывает о народе Уроженцев, как если бы он не существовал, или же самодовольству Горожан, которые с того времени сочли себя как вне, так и внутри Генерального Совета членами Суверена, хотя вне его они значат не больше, чем последний из Жителей. Господин Руссо стал их оракулом, между тем как, с другой стороны, он стал подозрительным в глазах Совета, коему такого склада ум показался опасным»⁵².

Но как раз Жан-Жак в Посвящении к «Рассуждению о Неравенстве» очень ясно и весьма хвалебно упомянул об Уроженцах и Жителях: «Таковы, о, славные и многоуважаемые сеньоры, Граждане и даже простые жители, родившиеся в управляемом вами государстве; таковы эти образованные и разумные люди, именуемые рабочими и народом, о коих у других наций имеются столь низкие и ложные представления»⁵³.

Другой текст Жана-Жака, где он прямо говорит об Уроженцах, показывает стойкость его чувства солидарности в отношении всего, что есть народ, и его верность пережитому в годы детства: «Я не сомневаюсь в том, что Уроженцы выдвигали свои требования с грубостью людей, считающих себя обойденными и полагавших, что их поддерживают. Но я не сомневаюсь и в том, что если бы бедные граждане не дали себя ослепить богатством и соблазнить низменными интересами, они первыми предложили бы им тот по существу очень справедливый, очень разумный и очень выгодный для всех раздел, которого те от них требовали. Теперь они стали в отношении жителей таким же аристократами, какими магистраты некогда были по отношению к ним самим. Из этих двух аристократий я все же предпочел бы первую»⁵⁴.

В пылу борьбы, особенно разжигаемой лукавством Вольтера⁵⁵, Уроженцы, кажется, приписывают текстам то, чего в них нет, и допускают анахронизм, изображая Руссо Гражданином, гордя-

⁵² Histoire du Peuple Natif. MSHAG, N 324, p. 58—59.

⁵³ Oeuvres de J. J. Rousseau, t. III, p. 118.

⁵⁴ CG, XIX, 323 (lettre du 6.IV 1770).

⁵⁵ В рукописной «Histoire du Peuple Natif» «заметно влияние Вольтера. Известно, что патриарх Ферне, желая побесить Славный Совет Крошечной Республики, сделался защитником Уроженцев. «Господин Вольтер, говорил два года тому назад один гражданин, развратил великих мира сего, а господин Руссо увлек за собою малых... Особенно с тех пор, как в посвящении своего Рассуждения о Неравенстве он присвоил гражданам-горожанам помпезный титул «славных и суверенных сеньоров» и внушил им, будто они действительно и вне и внутри Генерального Совета» («Mémoire de Sylvestre présenté à Voltaire.») О Вольтере и Уроженцах см. также: J. Ceita c. L'Affaire des Natifs et Voltaire. Lausanne, 1956.

щимся тем, что он выше простых жителей. Ныне историк должен избегать такой ошибки и не давать неблагоприятного истолкования тому обстоятельству, что в сочинениях Руссо о Женеве Уроженцы и Жители занимают мало места: те три места⁵⁶, где он нарушает это молчание, показывают его подлинные чувства, восходящие к поре его детства.

*

Что основным фактом, оказавшим влияние на политическое воспитание юного Руссо, была противоположность между ремесленниками и аристократией богатых, между народом, с одной стороны, и сбродом сеньоров и лакеев — с другой, в этом убеждает нас и много других примет, на самом глубоком уровне, на уровне «правов», как говорили в то время. Ребенок или юноша, вероятно, очень мало интересовался абстракциями и научными терминами, путем которых взрослые выражали свою жажду власти или почестей. Но это устремление он мог непосредственно наблюдать в повседневном быту и в некоторых явлениях действительности, к которым особенно чувствительны были мальчики и молодые ремесленные ученики. Напомнить эти явления — значит раскрыть глубокую связь некоторых взглядов Жан-Жака (приписываемых иногда влиянию литературы или стремлению к парадоксам) с политическими и социальными спорами, возбуждавшими женевцев в течение ряда десятилетий.

Мы не будем особенно задерживаться на том, пусть и разительном факте, что уже сама география города и места прогулок являлись символом разделения общества на два класса. Отметим, однако, поскольку на первой странице «Исповеди» имеется сдержанный отклик на это обстоятельство, знаменитое место прогулки Трей, где, как предполагается, родители Жан-Жака когда-то мечтали о счастье:

«Здесь (на променаде Парале) или на новом променаде, именуемом Ла Трей, щеголихи и изящные молодые люди приходили показывать свои туалеты. Что до других мест прогулок: Фюстери, около улицы Топелье, или площадь Молар, около Консиль, или площадь Лонжмаль, то они, равно и прогулочные места Сен-Жерве, были предоставлены людям из мелкой буржуазии... Совет нашел возможным пока что допустить вечерние прогулки на Трей летом, до половины десятого»⁵⁷.

⁵⁶ Третье — это фрагмент из «Histoire de Genève», s. d. Neuchâtel, 1861, p. 21.

⁵⁷ Ch. Du Bois-Melly. Chroniques — Genève en 1706... Genève, 1870, и цитаты из реестров Совета от 15 мая 1701 г.

Народ постепенно завоевал право гулять на Трей, и если родители Жан-Жака гуляли на Трей около 1704 г., то только потому, что они тогда еще принадлежали к «верхнему» городу: Руссо сдержанно подчеркивает это. Более показательны в этом отношении ограничивающие роскошь указы Республики, поскольку они обладали силой писаного закона. Эти указы устанавливали между Гражданами различия, не имевшие ничего общего с женевской конституцией. Мари-Люсиль де Галлатен, написавшая весьма солидное исследование («*Les Ordonnances Somptuaires au XVI-e siècle*») ⁵⁸, цитирует тексты 1560, 1564, 1570 и 1581 гг., которые, официально не устанавливая разделения женевского населения на три класса, фактически разграничивают права «служанок и горничных», «жен ремесленников и механиков», а также «крестьян» (эти «ремесленники и другие меньшего качества» называются также «посредственными») и «других», т. е. аристократии. «Запрещено также впредь приглашать и собирать на свадьбе более одного стола на десять персон для меньших, более двух для посредственных и трех для других» ⁵⁹.

Мари-Люсиль де Галлатен так комментирует этот текст 1581 г.: «Сохранились лишь неясные данные относительно этого деления женевского населения на три класса. Насколько нам известно, нет ни одного документа XVI и XVII столетий, который содержал бы сведения по этому вопросу. Г-н Ривуар полагает, что это деление не имело никакого законного основания. В XVIII веке, 10 февраля 1710 года, члены Палаты Реформы предложили и приняли систему разделения населения по профессиям. Поскольку мы еще не изучали этого периода истории указов, ограничивающих роскошь, мы не знаем, как эта мера была применена. Вопрос этот заслуживал бы углубленного изучения».

В самом деле этот вопрос затрагивает политические и социальные интересы, вполне осознанные женевцами XVIII в., и проведенное нами в этом направлении исследование дало много поучительного. Вот как действительно, за год до рождения Жан-Жака, в январе 1712 г. Малый Совет впервые в истории Женевы официально установил «три состояния», иерархизируя все население по критериям, право определения которых он оставил за собой:

«...дозволяются, однако, лицам первого состояния золоченые рамы к Зеркалам и Портретам членов их семьи, шляпа с полями, галун на конном экипаже, на плаще мужчин, отправляющихся в

⁵⁸ MDSHAG, t. XXXV, 1938, p. 191—277.

⁵⁹ Там же, стр. 247.

деревню, на женском костюме для верховой езды... Дозволяется, однако, лицам первого состояния тафту и сатин для одеяла, балдахина и изголовья кровати...

Запрещаем мужчинам всякие шелковые ткани, под угрозой штрафа в 5 эю. Дозволяется, однако, лицам из первого состояния, скромные ткани для платья и плаща, черный бархат, производимый в этом городе...

То же в рассуждении кружев: запрещены те, цена коих превышает 2 эю за локоть. Дозволяется людям первого состояния носить круг у запястья... А людям второго сословия запрещено всякое кружево, коего цена превышает один эю за локоть, каковых разрешается мужчинам носить один круг у запястья...

Тем, кто третьего состояния, запрещается заказывать молебны для похорон более, чем одному человеку, под угрозой штрафа в 15 флоринов...»⁶⁰

Подобные «запреты» и «дозволения» вызывают у нас улыбку, но для женецев, живших в конце XVII и начале XVIII в., они были серьезной темой разговоров и споров.

«За последние лет тридцать,— отмечает Григорио Лети в 1685 г.,— распространение получила большая роскошь в одежде у простых людей... Чрезмерная роскошь одежды, когда она протекает в низшие классы, это как грязь на золоте»⁶¹.

Шарль Дюбуа-Мелли отметил в Ведомостях Совета много случаев нарушений указов, причем мотивы решений раскрывают, какое важное значение придавали этому вопросу люди как низа, так и верха: «Поль Л., часовщик из Сен-Жерве, но из магистратской семьи, вызванный за ношение кружевных манжет... заявляет, что он имеет честь принадлежать к семье, достаточно выдающейся в Государстве, и имеет право носить их...; осужден формы ради... Пернетта М., вызванная за ношение кружев на груди... сказала, что, хотя она и служанка, она жена часовщика... По ходатайству Сижисмона Р. о дозволении его жене ношения нижней юбки индийского шелка, белого с красным... принимая во внимание его профессию гравера, отвечено, что нельзя ему этого разрешить...»⁶²

Сколько уязвленного самолюбия, сколько обид было следствием применения этих указов. В Дневнике Пердрио за 1739 г. приводятся соображения, по которым Малый Совет придавал такое важное значение этим актам:

⁶⁰ Ordonnances Somptuaires de la République de Genève concernant les Habits, Ameublements, Mariages etc. Genève, 1911.

⁶¹ «Genève au XVII siècle...». Genève, 1851, p. 15.

⁶² «Les mocurs genevoises de 1700 à 1760». Genève et Bale. 1882, p. 84—85.

«Совет Двухсот... вынес заключение об уставах, ограничивающих роскошь... Заключение сводится к одобрению in globo и к тому, чтобы придерживаться последних правил, напечатанных в 1725 году. По этому вопросу были большие прения на двух заседаниях, отчасти из-за установленных в этих уставах делений на состояния, каковые деления некоторые лица хотели бы отменить. Тут есть соображения за и против.

Тщеславие в сочетании с некоторою справедливостью допускает равенство состояний в нашей среде, но благо народа требует сохранения установившегося неравенства, в отношении законов, ограничивающих роскошь, еще больше, чем в других отношениях... некоторым людям очень хочется раздавить все то, что называется старинные семейства»⁶³.

Лишь в 1772 г. в связи с общим пересмотром указов, ограничивающих роскошь, было отменено деление населения на людей первого, второго и третьего состояний. Различия, предусмотренные в указе в отношении одежды, проводились также и в наименованиях, особенно для женщин: обычай точно устанавливал, кто имеет право именоваться «демуазель», «дама», «мадам» и кто должен довольствоваться формулой «именуемая так-то»: «Поскольку наименование «мадам»... было запрещено с 1644 года по 1704 год, один член Совета Двухсот предложил восстановить его... По закону замужняя женщина или вдова, даже первого состояния, и независимо от ее возраста, официально именуется «демуазель», если только она не обладает дворянскими правами, например, является владелицей фьефа с правом юрисдикции... фактически в отношении общественной жизни наименование «мадам» присваивалось любой женщине первого и второго состояний. Наименование «дама»... обычно давалось всем женщинам третьего состояния. «Дама Миеж, сыроварка...» Девушкам этого последнего состояния закон отказывал в наименовании «демуазель»: «Именуемая Сюзан... девушка простого состояния»⁶⁴.

Эта позиция в отношении женщин была тоже сознательным выражением раскола между верхом и низом. Ремесленники Сен-Жерве подчеркнуто проявляли некоторое женоненавистничество, которое имело причины экономического и политического характера и в то же время отражало их верность некоему порядку, традиционному, христианскому и феодальному. Женевские часовщики опасались конкуренции своих собственных дочерей, даже своих жен, и добились издания ордонансов, запрещающих женщинам,

⁶³ Journal de Perdriau..., 6 et 11. III 1738.

⁶⁴ Ch. Du Bois-Melly. Op. cit., p. 115.

Даже вдовам, заниматься самыми благородными и самыми выгодными профессиями производства часов. Для большей верности дошли до того, что запретили отцу обучать дочь своему ремеслу. Эти экономические заботы прикрывались соображениями морального порядка: женщине хорошо оставаться у семейного очага, она должна охранять добродетели, унаследованные от предков. Укрепляя правила строгости, особенно те, которые они предписывали своим женам и дочерям, ремесленники, с другой стороны, весьма сознательно выступали против стремлений знатных дам, желавших подражать хорошему тону француженок и оказывавших давление на своих мужей, на славных сеньоров Малого Совета, добиваясь того, чтобы Женева несколько смягчила применение ордонансов касательно театра, танцев или внешних проявлений богатства. И их сеньоры-мужья отнюдь не прочь были доставить им это удовольствие: им самим хотелось угодить представителю короля Франции, любившему устраивать большие приемы и даже мечтавшему об открытии театра в Женеве. Но ремесленники были настороже и роптали. Народ использовал традицию *шаривари*, кошачьих концертов, устраиваемых по случаю свадеб, чтобы сказать знатым дамам всю правду о них. У народа были свои зрелища, те, которые он сам себе устраивал, и те, которые ему показывали канатоходцы и владельцы марионеток и волшебных фонарей: мы нашли документы, указывающие на политическое содержание этих развлечений.

В самом деле, не следует думать, что те проблемы, которые мы привыкли разделять, а именно: положение женщин, вопрос о театре, о влиянии наук и искусств, о внешней политике, наконец, о социальном равенстве, что все эти проблемы были отделены одна от другой в сознании женеvцев — как верха, так и низа. Тексты показывают, что эти люди ясно видели политические последствия перемен в нравах, которых они желали или опасались. Все тексты построены на противопоставлении одного стиля, сурового, бедного, республиканского, связанного с библейской традицией и ремесленным трудом, стиля, который, ревниво подчеркивает свой чисто женеvский характер, другому, новому стилю жизни, аристократическому, отмеченному желанием подражать блеску двора Людовика XIV, Регентства или Людовика XV, стилю, готовому пожертвовать женеvскою независимостью ради французского просвещения и вкуса. Перелистаем любопытный сборник Делашана⁶⁵, этого ла-

⁶⁵ О Франсуа Делашана или Де ла Шана помимо неопубликованной рукописи, которую мы будем часто цитировать, см.: Ch. Du Bois-Melly. Op. cit., p. 129—145; J. J. Spink. Op. cit. p. 14—15. Ж.-П. Феррье в упо-

вочника, портного, друга Пьера Фатио, собиравшего в своей лавке подписи под петициями, направленными против политики Малого Совета, до тех пор, пока его силою не заставили замолчать.

Его «Portrait rassourci de Genève enjouée», начатый в 1697 г., начинается с выпада против «иностранцев, коих правилам и образу жизни Женева уже начала завидовать, с кем она слишком часто привыкла бывать»: «... и так как я отнюдь не сомневаюсь, сударь, в том, что вы побывали во Франции, вы там, конечно, заметили, что каждый там прежде всего занят *модой и новинками*. И можно ли рассчитывать на то, чтобы [имярек], столь сильно увлеченный *красивыми пошлостями света*, захотел сохранить свою старинную серьезность, и прическу и одежду примерно столетидесятилетней давности.

Все эти переродившиеся в язычников христиане... уже провалились и погрузились по уши и даже выше головы в земной Рай».

Из религиозной и моральной сатира сразу становится социальной: Делашана обрушивается на «Парики», «изнеженные... женоподобно расслабленные... лишённые мужского образа», и объявляет себя «врагом Париков», сопровождая это аргументами, которые мы ныне квалифицируем как антифеминистские. Затем следует пространное рассуждение о наименованиях «мадам, дама, демуазель» и т. д..., далее — яростная критика балов и комедий, а также французских беженцев, которые привезли с собою эту моду, а равно и «карточные игры, библиотеки, Академию, эту прекрасную бессвязную науку, эту возвышенную науку». Всем этим развлечениям он предпочитает попросту «буржуазное вино», то, которое друзья распивают в своем кругу и которое еще хорошо тем, что освобождено от налога в силу привилегии для Граждан и Горожан. С этою похвалою связано заклеймение «кабаков и домов разврата», танцев и «шутовских игр» и особенно театра. Затем следуют чисто политические рассуждения, которые мы цитировали в связи с вопросом об Уроженцах и Жителях.

За этим резким памфлетом в прозе следует «Предупреждение о слабых стихах, которые плетутся вслед за прозаическим текстом», в числе коих «Сонет о сообразности чувств Коперника и носителей париков», и другой сонет «О восхитительном возвышении горodka Женевы», в котором выражены патриотические чувства:

мянутой выше работе приводит интересный текст «Делашана, портного из Лонжемалья»: «Честный человек, верный Богу и своей родине, не боится людей, как не боится он земляных червей, какого бы класса и характера они ни были».

Но со свойственной ему *Высоты* (хоть он и кажется незначи-
тельным)

Он отнюдь не плюет и не мочится, говорят,
Без того, чтобы не плевать и не мочиться на земли Савойи.

Этот самоучка нападает также на людей «верха» и на пасторов в париках за их презрительное отношение к «невежественному народу»:

Прости, стократ прости, друг-читатель:
Но пойми через мою *Цель* и через мое *Невежество*,
Что я никогда не колеблюсь говорить, как велит Бог;
И поэтому я лучше, чем немой пес Доктор.

Последние страницы рукописи почти все направлены против «неприличного, фальшивого, завитого и напудренного парика господ пасторов».

Делашана постепенно становится все смелее и начинает вносить в свой сборник описание реальных событий, которые время от времени датирует. Таким образом мы становимся свидетелями нарастания революционной лихорадки 1704—1707 гг.: если сначала он тщательно воздерживался от всяких указаний, которые позволили бы установить его личность, то теперь он позволяет себе написать, что «автор этой книги» «весьма близкий друг Франсуа Де Ла Шана». В июне 1704 г. он опять идет в наступление, вооруженный сонетами, на «исполненных снеси служителей культа». 27 мая 1705 г. он переписывает «небольшую ироническую речь, которую упомянутый Де Ла Шана счел своим долгом обратиться к господам светским проповедникам, чтобы просить их прекратить их «помпезную проповедь»:

«Да, Великие Проповедники, смеем думать, и не без причин, что те, кто нисколько не стесняется ходить с мукою на спине, на плечах в любое время и в любом месте, безо всякого затруднения смогут носить и применять то, что лучше всего пахнет Человеком... Что касается того, что вы называете *диким*, вероятно, оттого, что я не особенно приручаюсь ко всем светским манерам; то я от всей души молю Бога дать мне остаться всегда таким диким».

Не трудно понять, почему мы столь обильно цитируем сборник Франсуа Делашана: мы находим в нем все темы первого «Рассуждения» Жан-Жака Руссо и его «Письма к Даламберу», некоторые существенные слова из словаря Жан-Жака, как, например, это слово «дикий» и это стремление сохранить верность старинным нравам и вере предков вопреки зловредному влиянию Пасторов, которые в большинстве своем суть «обезьяны и лакеи людей «вер-

ха». Лучшие издатели «Рассуждения о науках и искусствах» и «Письма к Даламберу» очень туманно говорили о «женевском влиянии», полагая, что «пуританизм» Жан-Жака был продуктом проповедей женевских пасторов. Но в XVIII в. не существовало единой Женевы; были две Женевы, две непримиримые сестры, часто бравшиеся за оружие друг против друга, и их последовательные примирения служили лишь необходимыми передышками в долгой гражданской войне. Говорить о «женевском» характере сочинений Руссо — значит ничего не сказать, пока мы не осознали, что решающим и единственным было влияние Женевы «низа», направленной против разлагающей роли аристократов и пасторов в париках. С другой стороны, комментируя текст Франсуа Делашана, не следует впадать в крайность, противоположную той, которая приписывает женевским пасторам преувеличенное влияние на сына часовщика Жан-Жака: резкие нападки Делашана на пасторов отнюдь не означают, что он охладил к кальвинистской вере. Напротив, поражает, что Библия — его настольная книга, он ее знает наизусть и цитирует по всякому поводу, иногда несуразно, но всегда страстно. Он заканчивает свою рукопись призывом, обращенным к его детям, он советует им сохранить верность «простой и голой исторической Вере», и вот его последние слова: «Нет Спасения без Веры. Нет Веры без добрых дел. Нет добрых дел без любви к Богу; и, следовательно, не трудно их совершать».

Перейдем теперь к другому лагерю и посмотрим архивы людей «верха». Мы убедимся, что создание театра в Женеве было одним из предметов их самых постоянных *политических* забот. Они ждали от этого не только удовольствия для себя и своих дам, но и двойной выгоды, во внешней и во внутренней политике. Они видели в этом знак верности их великому протектору, королю Франции, который всякий раз, когда народ выступал против прерогатив Малого Совета, предлагал свое «посредничество», поддержанное посылкою войск, и в качестве арбитра решал спор в пользу Малого Совета. Дневник Пердрио за годы кризиса 1737—1740 гг. показывает, что резидент Франции и чрезвычайный посланник его Величества рассматривали себя в Женеве не как дипломатов, а как интендантов короля, управляющих одною из его провинций. Граф де Лотрек не успокоился до тех пор, пока не получил разрешения на приезд в Женеву театральной труппы, и 3 марта 1738 г. Пердрио записал в своем дневнике: «Все находят, что эта Комедия явилась очень не к стати. Дай бог, чтобы она не обернулась трагедией».

Пасторам вместо того, что выполнять роль хранителей строгой кальвинистской традиции, приходится затормаживать себя, избе-

гать соблазна и скандала и для этого заблаговременно запрещать самим себе и своим супругам посещение спектаклей. Тот же Пердрио отмечает в своем дневнике: «Достопочтенный Класс принял регламент, запрещающий посещение пасторам, их женам и студентам-богословам». Обстановка изменилась по сравнению с 1681 г., когда возникла дискуссия между Малым Советом и Достопочтенным Обществом пасторов по вопросу о представлении «Сида», или даже по сравнению с 1706 г.: «Достоуважаемый Ф. сообщает, что он вызвал лиц, присутствовавших на комедии в день Эскалады⁶⁶, и что эти лица выражали удивление, почему, принимая во внимание обстоятельства времени, их порицают за дело, где они не учинили ничего неприличного, где они были только со своими родными, без особых костюмов и без скрипок»⁶⁷.

В 1714 г. вопреки указаниям Консистерии «две или три osoby... играли в пьесах Мольера и в итальянских пьесах... По сути дела эти зрелища лишь расслабляют сердца и умы, внушают преступные страсти, и наши предки всегда испытывали законное отвращение к подобным спектаклям». Эти добродетельные фразы не мешают Малому Совету сохранять в силе предоставленные этим «особам» разрешения. Итальянская комедия проникает в семьи буржуазии. В 1720 г. «Скупой» исполняется в доме капитана Дюкре⁶⁸. 1 апреля 1737 г. Генеральный Прокурор Жан дю Пан излагает перед Советом Двухсот, какие глубокие соображения требуют изменения нравов города в этой области:

«Спокойствие, которым мы начинаем наслаждаться, обязывает нас дать нашему городу более веселый вид при помощи публичных развлечений, более хороших, чем те, которые у нас бывают от времени до времени. Вот почему я повторяю предложение, внесенное здесь несколько месяцев тому назад одним членом Малого Совета, о приглашении на несколько месяцев в течение года какой-нибудь хорошей труппы... Вопреки предрассудкам Театр сейчас так очистился, что он, шутя, дисциплинирует и исправляет дурные и смешные привычки гораздо более успешно, чем самые строгие Проповеди... Комедия веселит воображение, красит Ум, смягчает сердце, стало быть, и нравы. Оттого, что такого рода развлечения несовместимы с тоскою вредных страстей и серьезностью

⁶⁶ 21 декабря 1602 года войска герцога Савойского без объявления войны напали на Женеву, взяли приступом крепость и вторглись в город, но были отброшены жителями с большими потерями. Годовщина этого события, одного из крупнейших в истории Женевы, празднуется во многих семьях (*прим. перев.*).

⁶⁷ Ch. Du Bois-Melly. Op. cit., p. 81.

⁶⁸ Там же, стр. 152—155.

Политики, *panem et circenses* («хлеба и зрелищ». — *E. P.*) Греков и Римлян было, по мнению их законодателей, вернейшим способом отвлечь народ от критики правительства. Комедия привлечет сюда в большем числе иностранцев, и они дольше останутся среди нас»⁶⁹.

Но народ смотрел на это по-другому и вовсе не хотел отвернуться от «серьезности политики» и от «критики правительства». Его вполне устраивали те развлечения, которые он себе устраивал. Но эти развлечения не нравились Малому Совету, считавшему, что они были для народа поводом перейти от свободы к распущенности и от смелости к дерзости. 21 апреля 1701 г. Консистория выступила с обвинениями против канатоходцев, вызывавших скопление народа «вплоть до 8 часов вечера»: «...они гасят все свечи. Это может привести ко всякому озорству».

Малый Совет, разрешивший и поощрявший театральные представления, организованные в домах хозяев «Верхнего» города, узнав о том, что «на савойской границе политические беженцы старались привлечь женеvскую публику своими веселыми итальянскими фарсами, то в Каруже, то в Гранж-Канар», запретили женеvцам участвовать или присутствовать на «этих постыдных зрелищах». Предместья Каруж и Гранж-Канар, расположенные на земле Сардинии, за стенами города и вне сферы надзора Малого Совета, были традиционным местом встречи всех дезертиров и изгнанников, желавших восстановить контакты со своими друзьями, оставшимися в городе. Жан-Жак жил там в 1737 г., как раз во время волнений. Кукольный театр, где крамольные «*rupazzi*»⁷⁰ произносили подрывные речи к великой радости простого народа, тоже внушал страх Малому Совету. А между тем содержание этих маленьких представлений было, как правило, патриотическим: начиная с XVII в., в дни национальных праздников женеvцы любили смотреть, как их дети изображают героических защитников женеvской независимости в полуимпровизированных или, наоборот, тщательно подготовленных представлениях с марионетками. Драма неизменно заканчивалась повешением «изменника Шафардона». Жан-Жак приводит в «Исповеди» и в «Письме к Даламберу» интересные подробности на этот счет:

«В Женеvу прибыл итальянский шарлатан *Гамба-Корга*. Мы однажды пошли посмотреть его, и больше не захотели туда ходить.

⁶⁹ MSHAG, N 1 (1737). Inédit.

⁷⁰ *Rupazzi*, куклы итальянского театра марионеток, пользовавшиеся широкой популярностью и во Франции, были рупором смелой плебейской социальной сатиры (*прим. перев.*).

Но у него были марионетки, и мы принялись делать марионетки; его марионетки исполняли своего рода комедии, и мы тоже сочинили комедии для наших марионеток. За недостатком опыта мы подделывались под голос полишинеля, играя эти прелестные комедии, которые наши бедные и добрые родители имели терпение смотреть и слушать».

Очень скоро Гамба-Корта был выслан из Женевы. А вот воспоминание Жан-Жака о некой «трагедии Эскалады»:

«В молодости, — рассказывает он в письме к Даламберу, — я читал трагедию Эскалады, где одним из действующих лиц был Черт. Мне рассказывали, что однажды, во время представления этой пьесы этот персонаж, выйдя на сцену, оказался двойным, как если бы оригинал был недоволен тем, что осмелились его подделать, и что все так испугались, что разбежались, и пришлось закрыть представление. Это смешной рассказ, и в Париже он покажется еще забавнее, чем в Женеве»⁷¹.

Черт был на стороне католических войск, которые хотели при помощи лестниц взобраться на крепостные стены Женевы и предательски захватить город. Если были предатели, то были и положительные герои, и Жан-Жаку приятно представлять себе, как из этих наивных шуточных сценок когда-нибудь родится настоящий патриотический театр, персонажами которого будут те же герои, вызывавшие в нем энтузиазм в детстве:

«Несомненно, что пьесы, имеющие содержанием, как у Греков, прошлые страдания родины или нынешние недостатки народа, могли бы дать зрителям полезные уроки. Но каковы герои наших трагедий? Разные Бертелье, Леврери? О, достойные граждане! Конечно, вы были героями, но ваша неизвестность вас унижает, ваши простые имена бесчестят ваши великие души, а мы сами недостаточно велики, чтобы быть в состоянии восхищаться вами. Кто же будет нашими тиранами? Дворяне с ложкою, женевские епископы, графы Савойские, потомки владетельного дома, с которым мы только недавно вели переговоры и кому мы обязаны почтением. Тому назад лет пятьдесят я не поручился бы за то, что Дьявол и Антихрист тоже не имеют там своей роли»⁷².

В ряде мест Жан-Жак подчеркивает также народный, политический и республиканский характер своих замечаний: «Филипп Бертелье был Катонем нашей родины, с тою разницею, что с одним началась общественная свобода, а с другим она кончилась. Он держал ручную ласку, когда пришли его арестовать. Он отдал

⁷¹ «Lettre à d'Alembert», p. 162.

⁷² Ibid., p. 161—162.

свою шпагу с тою гордостью, которая так подобает несчастной добродетели. Затем он продолжал играть со своею ласкою, не снисходя до ответа на оскорбления своих стражей. Он умер, как подобает умереть мученику, за дело свободы».

Жан-Жак уточняет, что «дворяне с ложкою» представляли «некое общество савойских дворян, давших обет грабить жителей города Женевы, и носивших в качестве знака их общества ложку, привешенную на шею». Эти имена и названия были известны ему, еще ребенку и отроку, и они припомнились в 1728 г., когда он бежал из Женевы: «Продолжая путешествовать по свету, я добрался до Конфиньона, в савойских землях, в двух льё от Женевы. Кюре назывался там г. де Понвер. Это имя, знаменитое в истории Республики, очень поразило меня. Мне было интересно видеть, как выглядят потомки дворян с ложкою».

В глазах Малого Совета народный юмор был еще опаснее, чем эти исторические, драматические или трагические воспоминания. Сразу после упоминания о желании г. де Лотрека пригласить в Женеву труппу для развлечения Господ, Пердрио без всякого перехода продолжает в своем дневнике: «Недавно показывали волшебный фонарь, представляющий то, что произошло 21 августа, рисунки сделал, говорят, Пико. Узнав об этом, гг. Синдики хотели захватить фонарь, но тот, кто его показывал, вовремя сбежал».

Пико обратил на себя внимание еще во время волнений 1736—1737 гг. своим «дурным образом мыслей», и уже бывал арестован. 9 июня 1737 г. Пердрио отметил в своем дневнике: «Жакоб Пленс, житель, помиловав Советом Двухсот... Эти постоянные помилования мне отнюдь не нравятся. Последнее будет наверно иметь следствием помилование Пико».

Три года спустя, 6 ноября 1741 г., как нам известно из уже цитированной ранее рукописи, Генеральный Прокурор Жан дю Пан тоже жаловался Совету Двухсот на распущенность «низкого народа», использующего, в частности, шаривари для оскорбления по адресу аристократов.

Но дю Пан был еще одним из тех умеренных аристократов, которые критиковали своих коллег за их надменность и рассчитывали завоевать доверие народа политикою примирения. Потерпев неудачу в своих попытках дать новое направление политике своего класса, дю Пан искал утешения на литературном поприще и написал комедию в пяти актах, озаглавленную «Бред Политиков»⁷³,

⁷³ «Le Délire des Politiques». Comédie nouvelle composée par J.B.P., Procureur général de la République de Genève en novembre 1734.

в которой его оценка социальных отношений в Женеве того времени и его политические взгляды получили довольно полное отображение. Эта, так и не увидевшая свет рукописная пьеса представляет ценный литературный документ, позволяющий ближе познакомиться с общественным бытом, мышлением и даже с языком женецев XVIII в.

Чтение текста убеждает в том, что действующие лица пьесы — живые и вполне конкретные современники автора. Узел интриги — дело «повертывания» и «заклепывания» пушек. Аристократы приняли решение окончательно усмирить женецкий народ и с этой целью пушки, обычно направленные в сторону Савойи, были повернуты в направлении народных кварталов; те пушки, которые почему-либо не удалось повернуть таким образом, были заклепаны и выведены из строя. Но для выполнения этого замысла им пришлось прибегнуть к людям из народа. Заговор был раскрыт, народная партия организовала сопротивление, и все дело кончилось поражением аристократов.

В комедии этот исторический эпизод переплетается, как водится, с любовными интригами и интрижками, в которых тоже встречаются представители и представительницы разных социальных слоев Женевы. На протяжении всего действия автор сталкивает людей «верха», которых он называет патрициями, с людьми «низа», именуемыми плебеями. При этом он показывает не только противоположность взглядов двух классов, но и различия, существующие между отдельными их представителями. Если выскочка Карроде с наивным цинизмом говорит, что он всегда предан тем, кто держит власть в своих руках, и хотя он и плебей по происхождению, но знает, что от народа выгод ждать ему не приходится, если заносчивый «щеголь» Бонер с высокомерным презрением отзывается о фабрикантах, часовщиках и других грубиянах, осмеливающихся притязать на равенство с ним, то умеренный патриций Веридик, явно выражающий мысли автора, напоминает, что единственным сувереном является община, что должностные лица — лишь ее уполномоченные, что эти полномочия не вечны, что она может их взять обратно, когда ей угодно.

Во втором акте появляются главари плебеев. Один из них, Люкаде, представляющий крайнее направление, заявляет, что он никогда особенно не задумывался над тем, где Право и где Вина, а ему только приятно унижение тех, кто постоянно проявляет спесь по отношению к плебеям. Другой, Валь-дю-Фран, подчеркивает, что насилие никогда не уместно в хорошо организованном государстве. Он рекомендует соблюдать порядок и умеренность и при движении требований.

Затем происходит встреча главарей обеих партий, и это повод для дискуссии на одну из излюбленных тем того времени — о противопоставлении «свободы» и «распущенности». «Умеренный и плебейский вождь» Тимоклес заявляет, что «свобода — удел людей», а «щеголь» Бонер возражает, что «в их руках она превращается в распущенность, ведущую прямо к анархии, а оттуда до рабства лишь один шаг». На что Тимоклес отвечает: «Законная охрана своих привилегий — это отнюдь не анархия. Смешанная и умеренная власть всегда является лучшей. Это все, чего они требуют».

Во время следующей встречи умеренные представители обеих партий спорят друг с другом:

Тимоклес. ...Нет, не благо общества волнует их, а жажда деспотической власти... Это тирания.

Веридик. Слишком сильно сказано, г. Тимоклес... Ваши земляки заходят слишком далеко... во всех делах надлежит искать среднее решение...

Тимоклес. ...Я, как и вы, предпочитаю единение сердец большому или меньшему объему власти».

Из разговора Веридика с дамою Люсенд, которую он любит, мы узнаем, что этот умеренный патриций не пользуется признанием в своей среде:

«Люсенд (Веридику).— Вас называют сумасшедшим, фальшивым братом, низменным сердцем и трусливым льстецом народу... Вы видите также, как наши благородные Горожане относятся к вашим предложениям».

В пятом акте, естественно, дело завершается компромиссом, который позволяет всем спасти лицо. Один из народных вождей, Буринас, заявляет:

«Отношения, которые я, по своему ремеслу, поддерживаю со знатными, позволили мне узнать их... они воображают себя некими римскими диктаторами. Народ в своей массе должен только служить для их славы... Я признаю, что наши враги обладают большими способностями в управлении делами, должностями и финансами, но наше единение, наше мужество и наша численность могут перевесить это превосходство...»

*

Для изучения нравов и политических идей Женевы времен детства Руссо эта пьеса дает больше, чем многие исторические или политические трактаты. Не следует думать, что ребенок или отрок из народа не мог подняться до общих идей, что юный Жан-Жак не

мог проникнуть в область политического мышления иначе, как переодевшись в Римлянина, читая Плутарха, глядя, как дерутся взрослые, или получая удары от своего мастера-хозяина. Мы думаем, наоборот, что, как и всякое дитя народа, он был способен проникнуть в глубокий смысл тех важных слов, которые он слышал от своего отца, от друзей отца и даже от своих товарищей: «Свобода, Родина, Суверенный народ». Эти слова он будет затем постоянно повторять в своих политических сочинениях, и только этими словами он опишет ту эмоциональную среду, в которой прошла счастливая пора его раннего детства. Мы считаем самым необходимым и волнующим делом попытаться при помощи крайне редких оставшихся документов восстановить интеллектуальный мир, в котором жил молодой Женевский ремесленник в начале XVIII в., те простые, но блестящие рассуждения, те лаконичные, но убедительные и в общем справедливые формулы, которыми он мог выражать свой политический идеал и свою мечту о счастье и о достоинстве.

Для народа Женевы связь между патриотическим идеалом и идеалом свободы была очень тесною, и проявлялась она в двух планах. Во-первых, надлежало охранять независимость Родины от двух ее могучих соседей, Франции и Савойи, во-вторых, и это основное, приходилось постоянно бороться против попыток со стороны этих двух монархических государств под предлогом арбитража или посредничества свергнуть республиканскую форму правления Женевы и превратить ее свободных граждан при соучастии Малого Совета в послушных подданных.

Воспоминания о героических делах первых защитников Женевы, праздник Эскалады, военные учения и празднества, призывы «отца, сильнейшею страстью которого была любовь к родине» и который, сжимая сына в своих объятиях, говорил ему: «Жан-Жак, люби свою страну», — все это, конечно, оказывало сильное действие на душу ребенка, тем более ребенка из народа. Среди старых членов аристократии тоже могли быть искренние патриоты, но даже Генеральный Прокурор Жан дю Пан, в честности которого не приходится сомневаться, с огорчением отмечает упадок патриотического идеала у некоторых людей его круга.

Сам Жан дю Пан, как и молодой Руссо, был воспламенен теми примерами патриотизма, которые древние народы давали Гражданам Женевы, но он никогда не позволял себе критиковать вмешательство Франции в дела Женевы. Тем более не мог он выражать радость по поводу поражений французской армии, хотя бы эти поражения и открывали некоторые надежды братским протестантским народам, страдавшим от гнета монархии Бурбонов.

Между тем патриотизм народа Женевы питался недоверием и ненавистью к французским монархам. Дед Жан-Жака получал выговоры и порицания от Малого Совета за то, что допустил в своем квартале, наиболее близком к дому резидента Франции, праздничную иллюминацию по случаю поражения союзника Франции: в июле 1690 г. король Вильгельм III разбил ирландскую армию. Это была «победа протестантского дела в Европе и поражение для Франции».

Малый Совет, испугавшись, «что г. резидент Франции мог бы подумать, что эта демонстрация общественного ликования произошла не без нашего одобрения», поспешил направить к резиденту именитых делегатов, которые заверили его, что Малый Совет удивлен и огорчен этими волнениями и полностью порицает и осуждает их. Отношение граждан Женевы к Савойе было не лучше, как мы уже отмечали ранее.

Этот ревнивый патриотизм еще обострялся действиями резидентов Франции и медиаторов, представлявших Его Христианнейшее Величество. Около 1703 г. один из них использовал свой дипломатический иммунитет, чтобы практиковать незаконную торговлю драгоценными металлами (эту торговлю строжайше регламентировали в Женеве в интересах часового и ювелирного промыслов).

Если ремесленники были настроены враждебно к Франции, то женевские банкиры, пользовавшиеся расположением Версальского двора, служили внешней политике короля в расчете на его поддержку в деле усмирения беспокойного женевского народа. Так, например, 18 июля 1737 г. банкир Теллюсон заявил на заседании Синдиков: «Третьего дня я имел счастье беседовать довольно долго с Его Превосходительством (т. е. резидентом Франции. — *Е. Р.*), и я должен вам сказать, что он засвидетельствовал мне очень хорошее расположение к нам и особенно к восстановлению подлинной субординации внутри нашей страны»⁷⁴.

Однако народ Женевы систематически, мы сказали бы почти методически, завоевывал условия для своего реального освобождения, не желая более довольствоваться пустыми словами, с которыми Малый Совет благоволил обращаться к нему ежегодно. Магистрат не мог отрицать, что народ Женевы «рождается свободным» и что теоретически он является сувереном. Однако Совет старался усыпить или затемнить ясные требования Граждан при помощи двух хитроумных различий, неустанно повторяемых. Первое различие — это различие между «свободой» и «своеволием» или «распущенностью».

⁷⁴ Цит. по: J. P. Ferrier. Histoire de Genève des origines à 1789. Genève, 1951, p. 458.

Народ Женевы, со своей стороны, старался доказать аристократам, что он вовсе не смешивает «свободу» с «распущенностью». На фоне этого спора понятна забота Жан-Жака о том, чтобы ясно подчеркнуть в «Исповеди», что в своем детстве он был «шалуном, но не распущенным», хотя старший брат его «пошел по пути распущенности».

С другой стороны, Граждане и Горожане были совершенно равнодушны к другому различию, с помощью которого Малый Совет старался их усложнить, различию Суверенитета и Правления. Генеральный прокурор дю Пан, выступая 8 декабря 1738 г. в Совете Двухсот, попросту заявил, что Гражданам надо сказать, «чтоб они не вмешивались в дела Правительства, так как они выше их понимания»⁷⁵. Он не пропускал ни одного случая, чтоб воздать хвалу «секретности, являющейся душою государственных дел» и «следствием доброго порядка».

Малый Совет не отрицал того, что народ Женевы является «суверенным», но утверждал, что этот народ в собственных интересах «делегировал» (передоверил) осуществление своей власти «правительству», состоящему из 25 членов, единственно способному хранить секретность во внешних и поддерживать порядок во внутренних делах страны.

«Все знают, каковы важнейшие общие принципы Правления, и что нет подлинной свободы, если нет порядка и правительства.

Опыт показал людям, что самое благородное применение их свободы заключается в установлении между ними порядка, правления, коему они все обязываются подчиняться именно в интересах сохранения их свободы, что правление должно быть устойчивым, иначе они впадут в то бедствие, которого хотели избежать, установив это правление.

Что для придания ему устойчивости нельзя было поступить иначе, как установить порядок, закрепленный в *Законах или указах*, регулирующих его форму и методы, каковые законы поэтому именуется *основными законами правления*, и в каждой отдельной стране составляют то, что называется *Конституцией* Государства, к которой добавляют *обычаи* древности, соблюдаемые в форме Правления.

Что эти Указы и Основные Законы, по своей природе и по мысли Законодателей и Основоположников Республик, *вечны* и образуют *взаимнообязывающий договор* между теми, кто правит, и теми, кем управляют.

⁷⁵ «Recueil d'édits, déclarations, actes, mémoires et autres pièces concernant les troubles de Genève et leur pacification», t. I, N 7.

Что эта основная конструкция Государства *не может быть расторгнута ни теми, кто правит, ни теми, кем правят*. Она может быть расторгнута или изменена только с общего согласия обеих сторон...

Наша Республика есть смешанная Республика, правление которой есть сочетание демократии и избирательной аристократии... Наше Правление не чистая демократия и не чистая аристократия, а некая аристо-демократия.

Благодаря этой мудрой умеренности, одобренной политическими деятелями, наши предки сумели сочетать в правлении власть и свободу, власть без тирании и свободу без распущенности и беспорядка»⁷⁶.

Несостоятельность этой теории «аристо-демократии» разоблачалась тою самою декларацией, которая в 1707 г. устанавливала различие между правом суверенитета и осуществлением власти: в этой декларации синдик Шуэ признавал, выступая перед Генеральным Советом, что Женева юридически была безусловно демократией. В том же 1707 г. Генеральный Прокурор Ле Фор стал на сторону народа и заявил: «Здесь власть есть не что иное, как все Советы, ее представляющие, и господа синдик, хотя они руководители государства, подчиняются их решениям так же, как и другие граждане»⁷⁷.

В 1718 г. нелегально распространялись два письма «без даты и без подписей, призывавшие к анархии, исполненные мятежных заявлений против всех правительств вообще и против нашего, в частности». В этих письмах, судя по афише, которая их осуждала, содержалось заявление, «что лишь там народ свободен и правительство законно, где народ сам осуществляет суверенную власть», а Магистрат и Советы обвинялись «в стремлении узурпировать права народа»⁷⁸. Первое из этих писем, судя по резюме, данному в Ведомостях Совета от 9 декабря 1718 г., требовало «лишения Советов права осуществления суверенной власти (которую доверил народ, собравшийся в Генеральном Совете)» и «призывало народ к тому, чтобы он вернул себе эту власть».

Если дети и подростки женевского народа, вероятно, плохо разбирались в различиях между «суверенитетом» и «правительством», между «демократией» и «аристо-демократией», то они были способны понять условия осуществления суверенитета. Важнейшим из них являлось свободное и тайное голосование на Генеральном Совете.

⁷⁶ «Recueil d'édits...», N 14, 1734.

⁷⁷ «Mémoires et documents publiés par la SHAC», t. XXXIV, p. 199—204.

⁷⁸ Patrick O' Mara. Article cité, p. 250.

Народ нередко возмущался тем, что граждане во время выборов в Генеральном Совете не пользуются полной свободой. В самом деле, голосование заключалось в том, что каждый голосующий, проходя мимо одного из секретарей, говорил ему на ухо, за кого он голосует⁷⁹. Граждане требовали тайного голосования записками, но Малый Совет отказался пойти на такое «новшество» под предлогом, «что записки часто будут использоваться для пасквилей, что там будут писать бранные слова, что, поскольку большинство не умеет ни читать, ни писать, то это правило лишит их права голосовать, что в таком же положении окажутся слепые, а также и старики»⁸⁰.

Сигнал к возмущению подал Франсуа Делашана: в самый день избрания синдиков он возобновил «предложение об избирательных записках», затем передал вновь избранным синдикам новое заявление, под которым он собирал подписи, как под петицией. Когда ему запретили публично собирать подписи, народ пошел подписывать петицию к нему в лавку. Малый Совет отказался прочесть петицию и не обратил никакого внимания на подписи; он распорядился все сжечь. Совет Двухсот вынес порицание Делашана; против порицания голосовал только один Пьер Фатию. Волнения 1707 г. были в большой мере вызваны отказом аристократов удовлетворить требования народа по этому вопросу.

Другое народное требование, сформулированное Пьером Фатию в 1707 г., тоже выдвигалось при каждом движении «представлений» или манифестации: это было требование созыва «периодических собраний», посредством которых в определенные, заранее установленные даты народ брал бы обратно в свои руки правительственные прерогативы, чтобы продемонстрировать, что суверенитет принадлежит народу и этот суверенитет он доверяет по своему желанию правительству, им избранному:

«Народы, которые, будучи рождены свободными, желают сохранить свою свободу, должны принять только одну меру предосторожности: резервировать за собой право иметь периодические собрания и право облагать себя налогами, когда это диктуется их потребностями»⁸¹.

Лозунг «периодических собраний» родился из другого важнейшего требования народа Женевы — права голосовать налоги и не оставлять этого вопроса на усмотрение Малого Совета: «Мы заявляем, что отнюдь не питаем недоверия к тем, кто нами управляет:

⁷⁹ Ch. Du Bois-Melly. Op. cit., p. 105—106.

⁸⁰ Там же, стр. 128.

⁸¹ «Recueil d'édits, déclarations...», N 16.

по всем известно, что это право в руках тех, кто захотел бы им злоупотребить в будущем, может стать средством создания армии, устрашения этим путем народа и содержания его в рабской зависимости»⁸².

Анонимные письма 1718 г. тоже настойчиво выдвигали вопрос о налогах, и осуждающая их Прокламация отмечает, что эти письма содержат «положения, направленные к тому, чтобы лишить Советы права установления налогов, которое они имеют на основании наших давних Указов, в частности Указа от 1570 года, и которое подкреплено неизменной практикою; это право они хотят в целости передать своему потомству, как большую ценность». В 1736 г. представители проявляли в этом вопросе еще большую настойчивость: «Каким несчастным роком объяснить, что наше положение стало хуже даже положения тех народов, которые родились подданными и принадлежали своему Суверену по праву завоевания: тем не менее они не несут никаких налогов и не опасаются их. При необходимости у них попросят эти налоги как добродетельный дар и без всяких последствий для будущего времени»⁸³.

Женевские ремесленники отлично сознавали важность экономических и финансовых вопросов, и свои усилия они направили главным образом на то, чтобы добиться права голосования о налогах и попытаться вырвать у Малого Совета эту существенную прерогативу суверенитета, это условие политики свободы: еще в 1734 г. они начинают проводить различие, которое в дальнейшем приобретает большое значение, между «формальной» свободой и свободой «реальной».

Народный суверенитет, опасность делегирования власти, полная свобода народных дискуссий, периодичность собраний, голосование налогов народом, эти пять положений могли быть легко поняты ремесленниками и учениками Женева, и их можно было конкретно иллюстрировать. Эти-то положения и лежат в основе, вплоть до тончайших деталей, самого трудного из произведений Жан-Жака — «Общественный договор».

⁸² Там же.

⁸³ «Recueil d'édits...», N 11, p. 12.

ТЕМА «БЛАГОРОДНОГО РАЗБОЙНИКА»
МАНДРЕНА
В ИДЕЙНОЙ ЖИЗНИ
ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ



Л. С. Гордон

Памяти Доминики ПРУСТ,
маленькой исполнительницы
«Жалобы Мандрена»

XVIII век во Франции, открывающийся правлением «короля-Солнца», Людовика XIV, завершающийся Великой Французской революцией, был веком почти непрерывных кризисов. Одним из самых ранних проявлений этого кризиса абсолютизма было восстание камизаров в Севеннских горах и на юге Франции в 1702—1704 гг.¹ Но и в середине века кризисные явления не переставали сотрясать Францию. Одним из самых наглядных показателей остроты этих кризисов является следующая запись в дневнике маркиза Рене-Луи д'Аржансона, известного своей наблюдательностью: «Так как горячего материала повсюду много, то бунт может перерасти в мятеж, а мятеж — во всеобщую революцию»², — писал он в 1751 г. На эту мысль его наводили события, происходившие в Париже, когда власти опасались похода народных масс на Версаль.

Сведения, поступившие из провинций Франции в последующие смутные месяцы, также подтверждали обоснованность опасений д'Аржансона. В середине века восточные области Франции, так называемые области «большой габелы», оказались охваченными контрабандным движением, перераставшим в подлинно народную

¹ О восстании камизаров существует богатая литература: См., например: А. И. Коробочко. Восстание камизаров (1702—1705). — Сб. «Средние века», вып. 3. М., 1951 (в этой статье дана и библиография вопроса).

² «Mémoires et Journal inédit du marquis d'Argenson...», t. V. Paris, 1853, p. 347.

войну против откупной системы. Контрабанда всех видов вообще была для Франции XVII—XVIII вв. бытовым явлением. Протекционистская политика правительства, препятствовавшего ввозу иностранных товаров, наличие многочисленных внутренних таможен, мешавших движению самых необходимых продуктов — хлеба, соли, табака, — заставляли население прибегать к контрабанде. Контрабанда была связана с большим риском, но зато и приносила доход. И хотя одна только тайная торговля солью приводила к ежегодным арестам 2000—3000 человек, ожидавших в тюрьме приговора к кнуту, галерам или виселице, ничто не могло ее остановить. Франция, разделенная на области большой габели (где соль стоила до 60 ливров за квинтал), малой габели (28 ливров), откупившиеся области (9 ливров) и свободные области (2—7 ливров)³, Франция, отданная в жертву агентам откупной системы, ненавидела «стрелков габели» и превратила Мандрена⁴, предводителя отряда контрабандистов, в национального народного героя. Даже такой реакционный историк, как Ипполит Тэн, не может скрыть от своих читателей народной любви к Мандрену: «В 1789 году народ вспоминает о подвигах Мандрена 1754 года, его отряд из 150 человек, пронесивший тюки контрабанды и грабивший лишь чиновников откупной системы, его четыре похода через провинции Франш-Конте, Лионэ, Бурбонэ, Овернь и Бургонь, длившиеся 7 месяцев, те 27 городов, куда он вступил, не встречая сопротивления, освободил заключенных и продал свои товары; чтобы победить его, пришлось создать лагерь около Валанса и выслать отряд в 2000 человек. Его удалось захватить только путем измены, и до сего дня еще некоторые местные семьи горды родством с ним, называя его освободителем»⁵. Прошло почти сто лет с тех времен, когда Тэн писал эти строки, но и сейчас имя Мандрена во Франции не потеряло популярности: свидетельством этого является песня *La complainte de Mandrin*, исполняемая с эстрады в наши дни известным французским певцом Ивом Монтаном.

Движению Мандрена посвящено специальное исследование историка Функа-Брентано⁶. Он очень точно прослеживает по карте

³ A. R a m b a u d. Histoire de la civilisation française, t. II. Paris, 1905, p. 160.

⁴ Луи Мандрен родился в Сент-Этьене, Нижнее Дофина, в 1724 г., казнен в Валансе в 1755 г.

⁵ H. T a i n e. Histoire de la France contemporaine. L'Ancien Régime. Paris, 1894, p. 501.

⁶ F. F u n k - B r e n t a n o. Mandrin, Capitaine général des contrebandiers de France. Paris, 1908; см. также: А. И. Коробочко. Из истории социальных движений во Франции в первой половине XVIII в.— Сб. «Французский ежегодник 1965». М., «Наука», 1966.

маршрут всех походов Мандрена, делает попытку взвесить размах его операций по продаже контрабанды и изо всех сил пытается доказать, что движение это было не чем иным, как не вполне законным коммерческим предприятием, боровшимся с привилегиями откупных монополий, чем-то вроде «сухопутного корсарства», как он его называет. По его словам, разорившись на неудачной спекуляции по кавалерийскому ремонту королевской армии, Мандрен направил всю свою энергию на контрабанду. Тот факт, что движение Мандрена приобрело характер народной войны, им наивно замалчивается, ибо для Функа-Брептано и революция 1789—1794 гг. является чуждым и нежелательным явлением, масштабы и значение которого он был бы рад умалить. Отсюда и его стремление снизить значение движения Мандрена⁷. Но характерно прозвище, данное Мандрену народом, — «генерал-полковник всех французских контрабандистов солью» (*de tous les faux-sauniers*): тюки запретного табака и набивного ситца в сознании французского народа превратились в необходимейший для жизни продукт, в соль.

Вот как вспоминает очевидец о Мандрене: «Этот Мандрен, чье имя оскорбительным образом объединили с именем вора Картуша, был вождем контрабандистов. Он вступал повелителем (*en maître*) в города, взимая контрибуции с общественных касс и освобождая заключенных за контрабанду или тайную торговлю солью. Власти Отэна узнали о его приближении; они немедленно призывают 600 человек милиции, распределяют между ними патроны и отправляют их на укрепления, где выставлена еще батарея из 8 орудий. Кроме того, в городе стояли гарнизоном 40 драгун полка Бофремона. Мандрен является к воротам, чьи прогнившие и разошедшиеся створы оказываются заперты. Он угрожает, если только ему не откроют, сжечь семинарию и взять стены приступом. Майор милиции встревожен и с согласия магистратов вступает в переговоры и капитулирует. Заржавевшие ворота открываются, и Мандрен въезжает верхом, медленным шагом, одетый в серое и со шляпой, отделанной золотым галуном, во главе своего отряда направляется к ратуше, где смотрители соляной монополии и заведующий складами табака вручают ему 9100 ливров. Затем он направляется к тюрьме, где велит освободить контрабандистов»⁸.

О большом значении мандреновского движения в жизни Франции свидетельствует тот же дневник д'Аржансона и переписка

⁷ В 1959 г. вновь делаются попытки затушевать значение движения Мандрена (см.: E. Esmonin. *La véritable figure de Mandrin ou: comment naît une légende?* — В кн.: E. Esmonin. *Etudes sur la France des XVII et XVIII siècles*. Paris, 1964).

⁸ A. B a b e a u. *La Ville sous l'Ancien Régime*, t. II. Paris, 1884, p. 49—50.

Вольтера. Вот первая запись д'Аржансона о Мандрене: «7 октября 1754 г. Существует армия контрабандистов, численностью свыше 2000 человек, проходящая через все провинции, но базирующаяся в Оверни... откупные чиновники бессильны справиться с ними, и полагают, что скоро придется двинуть войска против них»⁹. Меньше чем через месяц появляется запись, показывающая, что агитация в пользу контрабандистов проникает в самые высокие сферы: «2 ноября 1754 г. против овернских контрабандистов двинуты регулярные войска. Они (контрабандисты.— Л. Г.) уверяют, что не делают ничего противозаконного, и сбывают свои товары по справедливой цене. Это отставные солдаты и офицеры; по их словам, у них нет другого ремесла, чтобы существовать»¹⁰. Через полтора месяца — новая запись, сообщающая уже о военных стычках с контрабандистами: «19 декабря 1754 г. Я получил письмо от 12-го числа, посланное одним из моих друзей, командующим частями, отправленными против Мандрена и контрабандистов. Неправда, будто они разбили наших драгун; пятеро повстанцев (*révoltés*) взяты в плен, и других подстерегают тщательно и бдительно»¹¹. Но войска, очевидно, не помогают и даже не могут устеречь отрядов Мандрена: «24 декабря 1754 г. Большой отряд контрабандистов прибыл в город Бон в Бургундии. Мэр и городские старейшины хотели запереть ворота города, но буржуазная милиция не смогла их оборонять»¹².

Еще одна запись. Она показывает, что королевским войскам, вдесятеро превосходившим силы контрабандистов, трудно справиться с ними, так как все население сочувствует Мандрену и его сторонникам: «8 января 1755 г. Последние новости... сводятся к тому, что правительственные войска очень плохо осведомлены о противнике, так как население против королевских частей (*les royalistes*) и за этих бунтовщиков (*rebelles*); по их словам, они воюют против богатых откупщиков, а совсем не против короля. Войскам даже дают ложные советы, которых приходится остерегаться; народ и буржуа боятся злопамятности контрабандистов, очень жестоких, когда их обидят. Несколько банд ушло в леса, к Саоне, другие после схватки у Отэна отошли в Виварнэ и Бурбонэ»¹³. Вскоре появляются сведения о том, где скрывается и где пополняет свои запасы Мандрен: «30 января. Утверждают, будто

⁹ La France au milieu de XVIII-e siècle, d'après le Journal du marquis d'Argenson. Paris, 1898, p. 269.

¹⁰ Там же, стр. 270.

¹¹ Там же, стр. 274.

¹² Там же, стр. 275.

¹³ Там же, стр. 278.

Мандрен прошел через Франш-Конте и укрылся в горах Швейцарии. Утверждают также, что король Сардинии приказывал снабжать его контрабандными товарами»¹⁴.

Конец зимы 1755 г. подтвердил, что Мандрена далеко не просто взять: его маленький отряд умело противостоит королевским силам — настолько, что правительство считает нужным вступить с ним в переговоры. Д'Аржансон записывает: «18 февраля 1755 г. Фишер, полковник егерей, наголову разбит контрабандистами, хотя и хвастал, что уничтожил их. Все на стороне контрабандистов. Совершенно несомненно, что отправлен уполномоченный для переговоров с Мандреном в Савойе»¹⁵.

Из следующей записи д'Аржансона видно, что в сношения с Мандреном пробует вступить сам полковник, командующий анти-мандреновскими силами: «4 марта. Мандрен удалился с 60-ю сторонниками в Женевское государство и ожидает весны, чтобы возобновить свои набеги. Фишер под охраной нескольких егерей отправился на женевскую территорию, чтобы завязать переговоры, но потерпел неудачу и вернулся во Францию»¹⁶.

Весной 1755 г. Мандрен был предательски захвачен на территории Савойи французскими регулярными воинскими частями, нарушившими границу. Как только сведения об этом дошли до д'Аржансона, тот записал в дневнике: «17 мая 1755 г. Только что получено известие, что знаменитый Мандрен взят в замке Рошфор около Валанса. Его привезли в этот город в пожных кандалах и не замедлят колесовать. С ним вместе взято девять его главных помощников, так что отныне наши генеральные откупщики могут быть вполне спокойны. Прюделал этот блестящий подвиг (beau coup d'érée) Ламорлиер, начальник разведки; он получил за него большую награду. Полагаю, что несчастный Мандрен был предательски продан кем-либо из своих сообщников»¹⁷.

Но надежды на то, что генеральные откупщики или французское правительство могут спать спокойно после этой победы, не оправдались. Сардинское правительство выразило протест французскому, и д'Аржансон записывает: «26 мая 1755 г. Сардинский король справедливо рассержен арестом Мандрена. Его схватили в замке Рошфор в 4 лье в глубь Савойских земель. Жители защищали замок, 15 савойцев убито в этом бою. Его сардское величество требует, чтобы главных виновников этого нападения приговорили

¹⁴ La France au milieu de XVIII-e siècle, d'après le Journal du marqués d'Argenson. Paris, 1898, стр. 281.

¹⁵ Там же, стр. 283.

¹⁶ Там же, стр. 284.

¹⁷ Там же, стр. 294.

к галерам. Мы скрываем, что удар нанесен Ламорлиером или его заместителем и утверждаем, будто это дело откупщиков. Мандрена срочно судили и приговорили к колесованию в Балансе»¹⁸. Следующая запись: «4 июня 1755 г. Доказано, что Мандрен схвачен на Савойской территории, в замке, по правде говоря, принадлежавшем французу. Произошло нечто вроде осады, убито тринадцать подданных Сардинского короля и замок подвергся разграблению. Сенат Шамбери заявил по этому поводу протест»¹⁹.

Не прошло и двух месяцев со времени казни Мандрена, еще не высохли чернила дипломатической переписки, а контрабандисты снова дали знать о себе: казнями ничего пельзы было остановить, запугать народное движение оказалось невозможно. Д'Аржансон записывает: «30 июля. Преемника Мандрена зовут Пьемонтец. Он старается перещеголять Мандрена в дерзости и бесчинствах»²⁰. И последняя запись д'Аржансона снова уводит нас к дипломатической процедуре: «4 августа 1755 года. Утверждают, что для торжественного посольства к Сардинскому королю избран граф де Ноай. Он отправится принести тому нечто вроде извинений (espèces d'excuses) по поводу нарушения его достоинства похищением Мандрена в его государстве, и его колесованием, противным международному праву»²¹.

Вольтер, откликнувшийся на все, что волновало его современников, не смог не откликнуться на движение Мандрена — тем более, что пути контрабандистов через горы пролегали в ближайшем соседстве от его поместья Делис. Впервые имя Мандрена упоминается Вольтером в письме Дюпону 7 января 1755 г.: «Мандрен у моих дверей»²². Через неделю он писал своей почитательнице и покровительнице, герцогине Саксен-Гота, о контрабандистах подробнее: «Уверяют, будто им больше не требуется убежища и что Мандрен, их вождь, находится в сердце королевства во главе шести тысяч решительных людей, будто солдаты дезертируют целыми ротами, чтобы встать под его знамена; что, если ему повезет, он вскоре окажется во главе большой армии. Всего три месяца назад он был только вором; сейчас он — завоеватель. Он налагает контрибуцию на города короля Франции и вознаграждает из своей добычи своих солдат щедрее, чем король — своих. Народ за Мандрена...»²³

¹⁸ Там же, стр. 296—297.

¹⁹ Там же, стр. 297—298.

²⁰ Там же, стр. 302.

²¹ Там же, стр. 303.

²² Voltaire. Oeuvres complètes, ed. L. Moland (Garnier), t. 38. Paris. 1877—1888, p. 316.

²³ Там же, стр. 319.

В тот же день, когда Вольтер писал это письмо, его корреспондент Дюпон отвечал ему на первое: «у этого Мандрена есть крылья. Он мчится со скоростью света. Вы говорите, что он у ваших дверей, но он одновременно и у наших. Генералом против него назначен г-н Монконсей. Позавчера он выступил против Мандрена. Пока что все кассы сборщиков налогов укрыты в Страсбурге. От Мандрена дрожат все агенты фиска. Это порок, это — град, истребляющий золотой урожай откупщиков. Народ любит этого Мандрена до безумия. Народу дорог тот, кто пожирает пожирателей народа»²⁴.

Уже через два дня Вольтер пишет о Мандрене в другом тоне: «Нам сообщили, что Мандрен становится прославленным бандитом, но это не подтверждается»²⁵. Еще через неделю Вольтер делится со своим корреспондентом некоторыми соображениями о Мандрене: «Месяц назад Мандрен явился к самому известному хирургу области, чтобы тот перевязал его рану. Во времена Ромула и Тезея он был бы великим человеком, но сегодня таких героев вешают. Вот что значит явиться в мир не вовремя!»²⁶. В тот же день Вольтер еще раз упоминает о Мандрене — в письме д'Аржанталю: «Правда ли, что Дюплекс²⁷ велел провозгласить себя королем, а Мандрен стал героем, достойным колесования? Мне пишут, что «Девственница»²⁸ напечатана, и в Париже она стоит один лундор. Очевидно, что Мандрен велел ее напечатать»²⁹. На другой день секретарь Вольтера Коллини писал Дюпону от своего имени, но явно передавая слова Вольтера: «Берегитесь Мандренов»³⁰. А через пять дней разочарованный Вольтер извещал герцогиню Саксен-Гота: «Генерал Мандрен далеко не так силен, как мне сообщили»³¹. И, наконец, 31 января 1755 г. снова письмо Коллини Дюпону: «Мы ждем Мандрена, расположившегося против нас с другой стороны озера с 200 человек своего отряда. Значит, он на границе вашей провинции, как это и сообщалось, — и вы отделались страхом»³². Дальнейших сведений о Мандрене в переписке Вольтера

²⁴ Voltaire. Oeuvres complètes, ed L. Moland (Garnier), Paris, t. 38, 1877—1888, p. 320.

²⁵ Там же, стр. 321.

²⁶ Там же, стр. 327.

²⁷ Дюплекс (Dupleix) Жозеф-Франсуа (1697—1763) — губернатор всех французских владений в Индии.

²⁸ Первое издание «Орлеанской девственницы» Вольтера, признанное автором, вышло только в 1762 г.

²⁹ Voltaire. Op. cit., t. 38, p. 328.

³⁰ Там же.

³¹ Там же, стр. 331.

³² Там же, стр. 334.

лет, но и эти письма свидетельствуют, что три недели его жизни (с 7 по 31 января 1755 г.) были заполнены размышлениями Вольтера о личности и деятельности Мандрена.

Как видно из приведенных записей д'Аржансона, с казнью Мандрена деятельность контрабандистов не прекратилась; продолжателем его набегов оказался неизвестный, прозванный Пьемонтцем. И если на время следы отряда теряются, то в местах его подвигов через 10 лет вновь воскресает, хотя и с значительно меньшим резонансом, имя Мандрена. Свидетельством этого опять оказывается переписка Вольтера. Но теперь мы можем усмотреть из нее, что отношение фернейского патриарха к прославленному разбойнику изменилось. Вольтер перестал иронически восхищаться им, он стремится защитить от него свое поместье.

В январе 1765 г. Вольтер получает от женевского синдика Фабри не дошедший до нас, но понятный из ответа Вольтера совет быть начеку. 28 января 1765 г. Вольтер ответил: «Сударь, мы благодарим Вас за добрый совет и примем меры к защите. Отец Адам³³ неплохо стреляет из ружья. У меня есть маленький штык примерно четырех с половиной дюймов, которым я не премину фехтовать. Мы поставим под ружье всех наших мальчишек»³⁴. Но уже на завтра — 29 января 1765 г. тон Вольтера меняется, он уже не балагурит, а докладывает: «Г-н де Вольтер имеет честь уведомить г-на Фабри о том, что вчера около 4-х часов вечера здесь (мимо Ферне.— Л. Г.) проследовал неизвестный, одетый в серое, довольно высокий, отмеченный оспинами, в простой шапке, ехавший в Женеву, на серой лошади. По пути он справлялся, кому принадлежит дома, которые он видит. Н. В. Только что два человека сообщили, что около 3-х часов утра они видели, как проехал отряд контрабандистов верхсм; с ними была женщина»³⁵.

В тот же вечер Вольтер посылает вдогонку еще одно письмо: «Г-ну Фабри, вечер 29-го. Клод Дюран, довольно зажиточный крестьянин из Ферне, утверждает, что сегодня в 5 часов он видел, как проехали восемьдесят контрабандистов... Утверждают, что эту шайку возглавляет сестра Мандрена. Если это так, то следовало бы, вероятно, разместить батальон в округе Жюкс»³⁶. Через три дня Вольтер уже по-настоящему вооружает своих слуг, о чем и извещает Фабри: «У нас есть много ружей и несколько штыков»³⁷.

³³ Отец Адам — старик-иезуит, которого Вольтер приютил в Ферне после изгнания иезуитов из Франции.

³⁴ Voltaire. Op. cit., t. 43, p. 450—451.

³⁵ Там же, стр. 451—452.

³⁶ Там же, стр. 452.

³⁷ Там же, стр. 453.

И, наконец, мы видим, что Вольтер, владелец поместья и замка Ферне, решительно выступает на стороне «порядка», помогая законам откупной системы бороться с контрабандистами. Свидетельством этого является чрезвычайно любопытный секретный документ, направленный Вольтером синдикату Фабри, который мы считаем нужным привести: «Памятная записка, подлежащая рассмотрению только на комитете генеральных откупщиков, ведающих департаментами Бресс, Жекс и Вальморен. 13 февраля вечером, уйдет 15-го.

27 января 1765 г. господа Галин и Бакль, граждане Женевы, уведомили байи Ниона, в Швейцарии, около Жекса, что шайка воров намеревается назавтра ограбить один замок во Франции. Они описали приметы двух бандитских предводителей и обещали выдать их суду. Десятого февраля два незнакомца рыскали вокруг замка (Ферне. — Л. Г.). Их прогнали, тогда как следовало арестовать. В ночь с 12 на 13 февраля некий Матренж родом из Савойи в 11 часов явился на деревенскую свадьбу. Там он сказал своему знакомому кузнецу: «Когда вы услышите выстрелы, не уходите. Со мной будет 80 человек; мне подчинены 5 стрелков, и стрелять мы будем неплохо». Кузнец принес мне эти сведения, хотя и с некоторым опозданием. Я вызвал конную стражу Жекса. Она арестовала поименованного Матренжа, когда он хотел отправиться из Ферне в Женеву. Я отправил в Жекс его показания.

После этого я узнал, что этот Матренж — один из самых видных контрабандистов; через него можно найти его шайку. Но следует опасаться, как бы она не стала громить нашу местность. Нужно не меньше полка, чтобы справиться с этими бродягами, становящимися изо дня в день все более опасными. Надеемся, что господа министры — военный и финансов обсудят меры, чтобы предотвратить рост этого бандитизма»³⁸.

Эту докладную записку Вольтер переслал Фабри: «Ферне, четверг вечером 14 февраля 1765 г. Г-н де Вольтер, г-жа Дени и весь их дом шлют свои самые почтительные приветы г-ну Фабри. Его очень настойчиво просят поблагословить сообщить, правда ли, что в балляже Ниона арестовали несколько бандитов, выданных г-дами Бакль и Галин.

Вот небольшая памятная записка, которая поможет извлечь кое-какие сведения из Матренжа. Было бы опасным выпустить его в нашей местности»³⁹. Стоит вдуматься в эти слова: Вольтер предлагает откупщикам Бресса, Жекса и Вальморена «извлечь

³⁸ Voltaire. Op. cit., t. 43, p. 460—461.

³⁹ Там же, стр. 461—462.

кое-какие сведения» из арестованного контрабандиста Матренжа. Достаточно вспомнить методы допроса, к которым прибегала юстиция абсолютистской Франции, и права откупщиков, фактически стоявших выше всякой юстиции, чтобы понять, на что обрекал Матренжа автор докладной записки.

Движением Мандрена далеко не ограничились потрясения, пережитые в эти годы абсолютистской Францией. Историкам хорошо известны непрекращавшиеся вспышки бунтов — то среди горожан, то крестьянские голодные бунты. К этому следует прибавить события бесславной Семилетней войны (1756—1763), к которой Франция оказалась абсолютно не подготовленной ни в военном, ни в экономическом отношении, поражения под Росбахом, Минденом, Кревельтом, потерю Канады, гибель французского флота при Бельвиле. Поэтому чрезвычайно скоро Франция оказалась, по выражению не склонного преувеличивать историка, Обертена, «под угрозой инашества, банкротства и восстания»⁴⁰.

*

Народ Франции отнесся к Мандрену и его соратникам иначе, чем Вольтер: об этом со всей очевидностью говорят народные книги (*livres de colportage, littérature populaire*), воспевающие подвиги Мандрена. Для нас они являются признаком того, что для народных масс Мандрен был не просто предприимчивым спекулянтom, ломающим привычные нормы откупной монополии и тем самым борющимся за свободное предпринимательство (как его пытались изобразить Фуик-Брентано и Эмонэн), а настоящим народным героем, — не случайно в народной книге он показан «благородным разбойником», наследником повстанцев 1702—1705 гг., комизаров.

Народная книга Франции до настоящего времени не изучена прогрессивными историками Франции; ее исследовали или реакционные ученые, искавшие в ней доказательства недостаточной культуры народа, или искусствоведы, любовавшиеся наивностью и примитивизмом ее оформления. Отсюда все внимание этих исследователей направляется или на реликты средневековой литературы, сохранившиеся в лубке, или на наивную гравировку титульных листов этих книг. Ученый прошлого столетия, проф. Ш. Низар, возглавил цензорскую комиссию, созданную правительством Наполеона III: в его задачу входило проверить, нет ли среди этих книг республиканской «крамолы», ускользнувшей от бдительности цензуры. Такие книги арестовывались и уничтожались; в его библио-

⁴⁰ Ch. Aubertin. *L'Esprit public au XVIII-e siècle*. Paris, 1873, p. 350.

графию⁴¹ уничтоженные книги не включены. Искусствовед П. Брошю⁴² изучает в первую очередь оформление народной книги: се текстов он касается лишь в связи с иллюстрациями. Но и тут приятая им классификация (с «Религиозной и дидактической литературой» на первом месте) мешает ему увидеть подлинное содержание этой литературы. Наконец, в недавно появившемся исследовании проф. Р. Мандру⁴³ сама сфера поисков исследователя искусственно ограничена: сосредоточив внимание на дешевых выпусках так называемой «синей книги» (серия лубочных сказок, гадательных книг, сонников и т. п.), печатавшихся типографами г. Труа, ученый счел, что этими изданиями и ограничивается народная книга Франции. Отсюда его вывод: эта литература «ничем не обязана усилиям классиков XVII-го века или философов XVIII-го»⁴⁴. Но ответ этот был заранее предрешен тем материалом, который он изучал: действительно, в пересказах рыцарских романов нет места социальной философии предреволюционной эпохи. Однако, если вспомнить, что распространителей и бродячих торговцев книгой зачастую преследовали власти (вряд ли за продажу безвредных сонников и альманахов!)⁴⁵, тогда по необходимости встанет вопрос: а что еще входит в эту народную литературу, кроме книг «синей библиотеки»?

Народные книги прошлого, именуемые зачастую «лубочной литературой», представляют собой совершенно самостоятельный литературный жанр. Этого нельзя отрицать, хотя лубок скомпрометирован за свою долгую историю и тем, что в его русло часто попадала низкопробная в идейном отношении литература, и тем, что авторы даже многих любимых народом лубочных изданий были зачастую не очень грамотными людьми. Но при всем этом многие лубочные романы выдержали испытание временем, являясь любимым чтением нескольких поколений. Объяснять эту популярность только певзыскательными читательскими вкусами народа —

⁴¹ Ch. Nisard. Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage depuis l'origine de l'imprimerie..., vol. 1 et 2. Paris, 1864.

⁴² P. Brochon. Le livre de colportage en France depuis le XVI-e siècle. Sa littérature — ses lecteurs. Paris, 1954.

⁴³ R. Mandrou. De la culture populaire au 17-e et 18-e siècles. La Bibliothèque bleue de Troyes. Paris, 1964.

⁴⁴ Там же, стр. 41.

⁴⁵ См. нашу статью: «Некоторые итоги изучения запрещенной книги эпохи Просвещения (вторая половина XVII века)» — «Французский ежегодник 1959». М., 1961; см. также; W. Krauss. Über den Anteil der Buchgeschichte an der literarischen Entfaltung der Aufklärung.— В кн.: W. Krauss. Studien zur deutschen und französischen Aufklärung. Berlin, 1963.

это значит упрощать и искажать большую и сложную проблему, которая еще ждет своего решения.

Еще Ф. Энгельс отметил огромное значение народной книги: по его мнению, «здесь есть характер. дерзкое, юношески свежее чувство, которое может послужить примером для любого странствующего подмастерья»⁴⁶. Этот характер героя определяется не его индивидуальными особенностями, а в первую очередь его приключениями, которые и составляют обычно содержание народной книги. При этом сама развязка приключений — чистая условность: главное — это сами перипетии судьбы героя, его сопротивление внешним враждебным силам. Поэтому герой народной книги своей предприимчивостью и стойкостью, своим умением преодолевать встречающиеся на пути препятствия обеспечивал прочный успех книги у читателя-ремесленника или крестьянина. Известно, как широко была распространена грамотность в народе Франции накануне революции 1789 г.: поэтому народные («лубочные») книги быстро находили читателя. Героем лубочной книги очень скоро стал и Мандрен.

Известны несколько книг, посвященных ему, — причем появились они непосредственно после его казни в Балансе в том же 1755 г. или в 1756 г. Такова, например, анонимная «История Луи Мандрена»⁴⁷, содержащая его несколько романизованную биографию. Поучительные слова о вреде преступления и пользе покорности, которые ее открывают, не могут скрыть восхищения неизвестного автора Мандреном. С первых же страниц книги Мандрен выступает мстителем за своего отца, погибшего в стычке с жандармами. Дальше дается его характеристика: «У него находили остроумие, поразительную ловкость и удачу. Мандрен отличался естественным убедительным красноречием, живым воображением, смелостью, необходимой для великих предприятий, и дерзостью в успехе»⁴⁸. В соответствии с эстетикой лубка герой (даже если официально он числится злодеем) должен быть влюблен, и целые страницы посвящены любовным подвигам Мандрена, завершаясь восклицанием: «Какая честь для престлницы, — победа над таким

⁴⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 346.

⁴⁷ «Histoire de Loius Mandrin, depuis sa naissance jusqu'à sa mort: Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages et de son supplice». Amsterdam, 1755.

Эта книга выдержала несколько изданий; по мнению Барбье, она написана аббатом Реглуа (Regloy). Имеется русский перевод: «История о Людовиге Мандрене с его рождения, даже до смерти, с описанием бесчеловечных его разбойничеств, и о последовавшей ему казни». М., 1782.

⁴⁸ «Histoire de Louis Mandrin...», p. 7.

сёрдцем!»⁴⁹ Влюбляясь как паладин из рыцарского романа, тот же лубочный Мандрен держится перед смертью как истый либертен: «Ему предложили монаха-проповедника, но он ответил, что находит того слишком жирным для проповедника поста»⁵⁰. Заместителем Мандрена, по словам биографа, оказывается «племянник того самого Рокероля»⁵¹, который был разведчиком у Севеньолов (камизаров.— Л. Г.) в 1704 г., а потом на 10 или 12 лет стал гребцом в Марселе»⁵². Попутно сообщается, что ему сейчас 80 лет и он живет в Голландии. Дальше читатель находил совершенно фантастические рассказы о том, как Мандрен обманом захватил жилище некоего недавно скончавшегося прокурора, как он был там схвачен со своей шайкой, осужден и бежал, уводя с собой своих соощников. Крайне интересны торжественные речи, которые в книге произносит Мандрен. Вот начало одной из них: «Вы видите, дорогие товарищи, вождя, который неоднократно слал вызов капризам фортуны и опасностям битв. Давно испытанный непостоянством судьбы, я видел, как укреплялась и как гнила моя мощь; я повелевал, как государь, и жил в ожоках. Во всех этих различных испытаниях моя непоколебимая душа равно взирала на потери и успехи»⁵³. И Мандрен клянется в ненависти к откупщикам и приставам откупной системы, «равной той ненависти, которую Аннибал испытывал в отношении римлян»⁵⁴.

Вчитываясь в речи Мандрена, читатель не может не почувствовать в них знакомых интонаций: с одной стороны, они напоминают речи героев Фукидида и Тита Ливия и явно навеяны изучением классиков в коллежах; с другой — мы легко можем убедиться, что пламенное красноречие — неотъемлемый признак вождя в народном сознании, отраженном в лубке эпохи. Так, в лубочной подпольной «Истории камизаров»⁵⁵ мы находим характеристику вождя восставших: «Это был молодой человек около тридцати двух лет, сильный, полный огня и смелости; хотя он и был только крестьянином, но отличался красноречием, очень убедительным в своем роде»⁵⁶. И действует он, конечно, как из стремления к свободе, так

⁴⁹ Histoire de Louis. Mandrin..., p. 9.

⁵⁰ Там же, стр. 91.

⁵¹ Историческое лицо: его имя упоминается в исследовании Ш. Альмера: Ch. Almeras. La Révolte des Camisards. Paris, 1960, p. 204.

⁵² «Histoire de Louis Mandrin...», p. 10.

⁵³ Там же, стр. 62.

⁵⁴ Там же, стр. 63.

⁵⁵ «Histoire des camisards, où l'on voit par quelles fausses maximes de politique et de religion la France a risqué sa ruine sous le règne de Louis XIV». A Londres, 1744.

⁵⁶ Там же, стр. 108.

и из-за поруганной (в данном случае — драгунами Виллара) любви; «любовь, которая придает ему крылья, побуждает его лететь от дома к дому; всех он вдохновляет своей целью и своей смелостью. На завтра, 24 июля 1702 г., собрание состоялось. Больше ста пылких и решительных молодых людей явились в назначенный час, вооруженные вилами, косами и дубинами, а некоторые — ружьями, тогда как другие — шпагами. И Перье произнес такую речь, что они все поклялись ему повиноваться, и громогласно провозгласили его своим вождем»⁵⁷. Эти строки могли бы быть дословно перенесены из «Истории камизаров» в «Историю Мандрена» — тон их совпадает.

Крайне характерно, что в революционной французской пьесе о восстании русских крепостных, пробившейся на сцену в 1786 г.⁵⁸, герой (и тут формально, для успокоения цензуры, числящийся злодеем) отличается таким же ораторским пафосом. Схваченный властями, он гордо заявляет: «Ты, губернатор Новгорода, открой глаза: ты увидишь во мне самого непреклонного врага рабства, того неустрашимого Октара, который возмутил против тирании часть татар. Ты увидишь во мне того, что хотел отомстить за рабов не только в Новгороде, но во всем мире. Подумай о том, что моя смерть столь же необходима тиранам, сколь им страшна моя жизнь... Исполни свой долг, и пусть скорая смерть освободит меня, или трепещи, если ты оставишь меня в живых» (д. 3, явл. 9).

Критика эпохи отметила успех этих тирад у демократического зрителя и оценила их политическое значение. Через 3 года эти тирады перешли с театральных подмостков и из подпольного лубка на политическую трибуну. Демулен и Дантон продолжили традицию пламенных и пышных речей, усвоенную ими из школьных упражнений по риторике. Их слушатели знали и ценили этот жанр, даже если и не получили классического образования.

В библиографии французских лубочных книг, составленной Низаром, отмечено несколько биографий Мандрена, поэмы и трагедии о нем; существует также «Надгробное слово над Луи Мандреном»⁵⁹ (не упомянутое Низаром), пародирующее напыщенные речи, писавшиеся по заказу для торжественных похорон различных знатных лиц. Но пародийный тон сменяется иронией в адрес богачей: «Богатые смертные, счастливые любимцы Фортуны, вер-

⁵⁷ Там же, стр. 110.

⁵⁸ «Fedor et Lizinka, ou Novgorod sauvée, drame en 3 actes et en prose, tirée d'une anecdote russe par M. Desforges». Paris, 1787. См. нашу статью: «Французский драматург Дефорж (1746—1806) и его пьеса о восстании русских крепостных». — Сб.: «XVIII век», вып. 4. М.—Л., 1959.

⁵⁹ «Oraison funebre de Louis Mandrin». Valence (?), 1755.

ные поклонники Плутона, мужайтесь! Спите спокойно на лоне блаженства. Имя Мандрена больше не станет тревожить вашего благополучия»⁶⁰. Не забыты и бедняки: к ним тоже обращается грозное утешение. «Утешьтесь, удрученные народы, прекратите ваши стоны, ваши жалобы: тот, кого вы оплакиваете, найдет подражателей»⁶¹. Как мы видим, и здесь делается ставка на продолжение дела Мандрена.

К экземпляру этого «Надгробного слова», хранящемуся в фондах Государственной исторической библиотеки РСФСР в Москве, приплетена печатная «Эпитафия Луи Мандрена»⁶² неизвестного автора с гравированным портретом Мандрена (также в библиографии Низара не учтенная):

Tel qu'on vit autrefois Alcide
Parcourir l'Univers la massue a la main
Pour frapper plus d'un monstre avide
Qui desoloit le genre humain;
Ainsi je parcouroit la France
Que desoloient mille Tyrans:
J'ai peri, pour avoir depouillé des brigands.
J'aurois eu, tout comm'eux, une autre récompense
Si j'avois depouillé des peuples innocens⁶³.

Лубочная литература Франции XVIII в. включает и памфлет эгалитариста Анжа Гудара, изданный им от имени прославленного народного героя, — «Политическое завещание Луи Мандрена, генералиссимуса контрабандистских отрядов, написанное им самим в тюрьме. Валанс, 1755»⁶⁴. Выпуская этот памфлет, оставшийся, по-видимому, неизвестным проф. Мандру, но отмеченный П. Брошоном⁶⁵, Гудар несомненно играл на интересе читателей к «последнему слову» подсудимого, к трогательным апокрифиче-

⁶⁰ «Oraison funebre de Louis Mandrin». Valence (?), 1755, стр. 14.

⁶¹ Там же, стр. 16.

⁶² «Épitaphe de Louis Mandrin». Valence (?), 1755.

⁶³ Как некогда Алкид прошел по вселенной с палицей в руке, побивая ею множество прожорливых чудовищ, терзавших человеческий род, так и я прошел по Франции, которую терзали тысячи тиранов. Я погиб за то, что грабил бандитов; но я добился бы иной награды, если бы, как они, грабил невинные народы.

⁶⁴ [A. Goudar]. Testament politique de Louis Mandrin, Généralissime des Troupes de Contrebandiers, écrit par Lui-même dans sa prison. Valence (?), 1755. Книга вышла в 1756 г. уже седьмым изданием и была тогда же переведена на немецкий язык.

⁶⁵ P. Brochon. Op. cit., p. 66.

ским «речам перед казнью» и т. п., которые действительно входили в репертуар лубочной книги. Известно, что, спекулируя на сочувствии масс к «страдальцам», английские роялисты в середине XVII в. наводнили Европу фальшивкой Джона Годена «Образ короля». Именно к этому доходчивому жанру и обращался Гудар, заставляя читать свой памфлет против откупной системы даже тех, кто обычно политических памфлетов не читает.

С другой стороны, его памфлет адресован и более подготовленному читателю, самим заголовкам перекликаясь с широко известным в то время политическим завещанием Ришелье. Опубликованное впервые в 1688 г., оно было сразу объявлено подложным, но оставалось объектом споров на протяжении всего XVIII в. Среди историков, оспаривающих подлинность завещания Ришелье, был и Вольтер. Из-за этого спора «Политические завещания» (подлинные и мнимые) были в моде⁶⁶, и успех произведению этого жанра был обеспечен.

Памфлет Гудара меньше всего является «слезницей» или пародией: в нем чувствуется накал страстного пропагандистского документа. От имени Мандрена Гудар пишет: «Мое завещание, вероятно, составило бы после моей смерти несколько томов, которые, может быть, были бы полезней для Франции, чем те, что опубликованы под заглавием «Политических завещаний» Ришелье, Кольбера, Лувуа и Альберони. Книги этих лиц, причастных к управлению (*hommes à administration*), ничего не дают государству, так как, предлагая лекарство, они никогда не доходят до источника болезни»⁶⁷. Завещаниям, документам и прочим бумагам политиков, не знающих жизни, он противопоставляет решительные действия частных лиц: «Действия частных лиц, вождей шаек, бродяг и прочих, которым общество дает оскорбительные названия, приносят больше пользы, потому что они обычно показывают государям слабости правительства»⁶⁸.

Гудар видит кризис и вскрывает его причины: «Наступил решающий момент. Королевство только что перенесло тяжелый кризис, и лишь обстоятельства помешали низвержению прекрасней-

⁶⁶ Известны несколько книг под этим названием: «*Testament politique du cardinal Jules Alberoni*». Lausanne, 1757,— приписываемое авторству Ж.-М. Дюрэ де Марсана (J.-M. Durey de Marsan); «*Recueil des testaments politiques du cardinal de Richelieu, du duc de Lorraine, de M. Colbert et de M. de Louvois*». Amsterdam (Paris), 1749; к этим «завещаниям», несомненно, приложил руку и знаменитый фальсификатор мемуаров и документов эпохи Гасьян Сандра де Куртиль (Gatien Sandras de Courtil).

⁶⁷ «*Testament politique de Mr. Louis Mandrin*», p. 3—4.

⁶⁸ Там же.

шей из всех монархий. Если бы к ним присоединилась еще война внешняя, Франция погибла бы»⁶⁹. Основной причиной кризисов Гудар считает нищету народа, заставляющую французов искать спасения в разбое: «Нищета загоняла множество людей всех сословий Франции в отряды Картуша»⁷⁰. Отсюда его выводы; пока народ Франции приносится в жертву алчности откупщиков, правительство Франции не сможет победить Мандрена или Мандренов: «У Франции в настоящее время под ружьем имеется свыше пятисот тысяч человек; в регулярной битве она может одолеть самого мощного противника. Но могла ли она победить меня хоть когда-нибудь? Я всегда одерживал верх над нею, будь то в генеральных сражениях или в мелких стычках. Если даже меня схватили, то это случилось не по правилам честной войны; это я довел ее до позора, вынудив ее пойти на эту хитрость»⁷¹.

В чем же видит Гудар причину слабости государства в его борьбе против повстанцев? В том, что армия сочувствует повстанцам: «Регулярные части всегда испытывают какое-то отвращение при мысли о боях против тех, кого зовут бандитами»⁷². В то же время, подчеркивает Гудар, народ Франции доведен до отчаяния: «Народ Франции не кровожаден, он ненавидит ужас и резню. Однако мы резали друг другу горло с яростью, идущей от религиозных войн. Этот парадокс природы нетрудно объяснить: дело в том, что управлению Францией свойствен порок, возмутивший дух этого народа и заставивший его изменить своему характеру. Этот порок — система откупов»⁷³.

От имени Мандрена поставлен вопрос: почему, несмотря на преследования и на потери, его отряды не скудели: «Я искал причины постоянного притока народа, ежедневно прибывавшего под мои знамена; и обращаясь от причины к причине, я пришел к первоисточнику, которым оказалась система откупов»⁷⁴. Гудар страстно ополчается против откупной системы: «Сегодня все во Франции стало откупом, все сдается по контракту: вскоре народу будет позволено дышать лишь с санкции откупщиков»⁷⁵. Откупы перекачивают деньги страны в карманы откупщиков: «незаметно насту-

⁶⁹ «Testament politique de Mr. Louis Mandrin», стр. 3.

⁷⁰ Там же, стр. IV. Картуш (Louis Dominique Bourguignon, dit Cartouche) — разбойник, казненный в Париже в 1720 г.

⁷¹ «Testament politique de Mr. Louis Mandrin», р. 4.

⁷² Там же, стр. 5.

⁷³ Там же, стр. 5—6.

⁷⁴ Там же, стр. 7.

⁷⁵ Там же.

пит время, когда у откупщиков соберутся все деньги королевства, а у короля и у народа не будет ничего»⁷⁶.

Гудар поднимается до догадки о том, что деньги являются не только экономической, но и политической силой: «Откупа унижают величие трона, исчезает пропорция между мощью государства и мощью подданных. В конце концов лихоимцы-откупщики (mal-totiers) неизбежно станут господами Франции: потому что не существует интервала между обладанием всеми богатствами и полнотой власти»⁷⁷.

В «Приложении» Гудар приводит письма почитателей Мандрена, столь же малоподлинны, как и само «Завещание». Читатель находит здесь саркастическую оценку деятельности откупщиков, определяемой как узаконенный грабёж: «Господин Мандрен! Не лучше ли вместо того, чтобы набирать войска, которые дали бы Вам возможность безнаказанно торговать табаком, купить место генерального откупщика? Этот способ обворовывать государство никого не оскорбляет, потому что все к нему привыкли. На этой должности грабёж дозволен, тут косят во весь размах. Вместо того чтобы облагать контрибуцией несколько деревень, Вы обложили бы всю Францию. Никто еще не видывал, чтобы повесили хоть одного откупщика, тогда как больше ста тысяч тех, кто занялись Вашим ремеслом, были колесованы или отправлены на галеры. Будь у Вас этот диплом, Вы смогли бы без всякого риска пустить в дело Ваш счастливый талант обирать публику. Остаюсь и т. д.»⁷⁸

На кучку откупщиков Гудар возлагает ответственность за то, что свыше 15% Франции живут в нищете: «Из-за того, что триста лихоимцев живут в излеществе, трем миллионам подданных не хватает необходимого»⁷⁹.

«Письма» показывают, что от жадности откупщиков страдают не только крестьяне, но и духовенство и дворяне: «Сударь, я происхожу из маленькой деревни Дофине, в 2 лье от Гилюэстра, — такой бедной, такой безденежной, что на всю общину в 1500 жителей едва ли наберется 600 ливров монетами по 3 лиара; эта сумма, разделенная на равные доли, составит лишь 8 су и несколько денье на каждого гражданина.

У юре есть двойной луидор; и все соседи собираются в воскресенье из любопытства посмотреть на него. В самом деле, это единственная монета на 12 лье в округности. У сеньера есть 12 боль-

⁷⁶ Там же, стр. 9.

⁷⁷ Там же, стр. 11—12.

⁷⁸ Там же, стр. 28—29.

⁷⁹ Там же, стр. 29.

ших экую по 6 франков, которые он бережет с такой же тщательностью, как коллекционеры в Париже берегут 12 медалей римских императоров»⁸⁰.

Народная нищета, по Гудару, таит в себе постоянную угрозу взрыва, опасного, как бы мал и слаб он ни был: «Самые прославленные революции, все предававшие огню и мечу в самых могущественных державах мира, всегда начинались с искры»⁸¹. Гудар подчеркивает, что правительство вообще не будет в силах справиться с народными волнениями: «Мощь самых великих империй мира бессильна против самых малых народных бунтов»⁸².

Через десять лет после казни Мандрена, когда страсти несколько остыли (и когда отряд контрабандистов, возглавляемый «сестрой Мандрена», орудовал вблизи поместья Вольтера), о прославленном контрабандисте вспомнил плебейский полуподпольный писатель Анри-Жозеф Дюлоран⁸³. В сборнике философских эссе «Истина»⁸⁴ он пишет о мандреновской легенде. Лубочная литература создала славу Мандрену: Дюлоран приводит название поэмы — «la Mandrinade», оценивая ее очень невысоко: «отвратительная поэма». Но она дает ему повод высказать несколько соображений о том, как Мандрен мог быть полезен Франции, если бы правительство смогло оценить и использовать его способности: «В ту эпоху, когда нам так нужны были хорошие полководцы, герой этого произведения заслуживал помилования. Мандрен действовал бы ради родины с неменьшим рвением, чем то, какое он проявил против приспешников откупов. Александр Македонский сделал корсара Деметрия военачальником⁸⁵..., султан Солейман использовал Барберуссу и Реиса, он назначил одного пашой, а другого адмиралом⁸⁶. Великий министр увидел бы в Мандрене великого полководца; но маленькие министры не видят ничего»⁸⁷.

⁸⁰ «Testament politique de Mr. Louis Mandrin», p. 30.

⁸¹ Там же, стр. 3.

⁸² Там же, стр. 4.

⁸³ О Дюлоране см. в наших статьях: «Роман Дюлорана «Кум Матье» (из истории плебейского крыла французского Просвещения)». — Вопросы литературы, 1960, № 5; Диалог в философском романе Дюлорана «Кум Матье». — В сб.: «Проблемы жанра в зарубежной литературе». Свердловск, 1966; см. также; K. Sch nelle. Aufklärung und klerikale Reaktion. Der Prozeß gegen den Abbé Henri-Joseph Laurens. Ein Beitrag zur deutschen und französischen Aufklärung. Berlin, 1963.

⁸⁴ [H.-J. Du la u r e n s]. La Vérité. Peking, 1765.

⁸⁵ Эпизод из истории Александра Македонского, описанный в средневековом французском романе «Александрия».

⁸⁶ Султан Сулейман I Великолепный (1494—1566).

⁸⁷ [H.-J. Du la u r e n s]. La Vérité, p. 128.

В этом размышлении Дюлоран предстает перед нами как человек, близко принявший к сердцу неудачи недавно закончившейся Семилетней войны: Мандрен привлек его внимание как нереализовавшийся полководец. Но ясно, что при старом режиме он и не мог реализоваться: лишь Революция 1789—1799 гг. открыла дорогу военным талантам народа. Тогда стал генералом бывший конюх Лазар Гош, и тогда же могли бы проявиться военные способности Мандрена, или отца Жана де Домфрон, буйного героя дюлорановского романа «Кум Матье».

Тема «благородного разбойника», контрабандиста и изгнанника, считается принадлежащей романтической эпохе первой четверти XIX в.; но «Разбойники» Шиллера изданы в 1781 г., а прославленный Ринальдо Ринальдини, на которого ссылается в «Дубровском» Пушкин и чье имя стало нарицательным, вошел в литературу в 1798 г.⁸⁸ Однако много раньше их обоих к этой теме обратился Дидро: летом 1770 г. он пишет новеллу «Les deux amis de Bourbonne» («Два друга из Бурбонна»), дошедшую до избранных читателей в рукописной «Литературной корреспонденции» М. Гримма за декабрь 1770 г. и впервые опубликованную швейцарским поэтом С. Гесснером⁸⁹. В этой новелле Дидро открыто выражено сочувствие автора ее героям, оказавшимся вне закона. Оба главных персонажа новеллы, Оливье и Феликс, так верны дружбе, объединяющей их, так добры, самоотверженны, великодушны и смелы, что их можно без преувеличения назвать идеальными героями. Ими восхищался один из первых читателей: «Его браконьеры, его доблестные контрабандисты вызывали у нас энтузиазм»⁹⁰. И вполне в духе Дидро, пользовавшегося любой возможностью ударить по церкви, героям был противопоставлен черствый святоша, доктор теологии кюре Папен, не умеющий (и не желающий) понять простые человеческие чувства и отказывающий в помощи людям, которые находились в подлинной беде. Поэтому известный французский исследователь творчества Дидро проф. Ж. Пруст в своих комментариях подчеркивает антиклерикальную направленность новеллы и ставит вопрос о ее связи с мандреновской легендой.

Нельзя, однако, заносить Дидро в безусловные сторонники Мандрена или повстанческого движения: это означало бы подгонку взглядов Дидро под революционера или по крайней мере бунтаря.

⁸⁸ G. A. Vulpus. Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann, eine romantische Geschichte unseres Jahrhunderts. Leipzig, 1798; пятое расширенное издание — 1824 г.

⁸⁹ D. Diderot et S. Gessner. Contes moraux et Nouvelles Idylles. Zürich, 1773.

⁹⁰ Цит. по кн.: D. Diderot. Quatre contes. Genève, 1964, p. LXXVIII.

Между тем сам проф. Пруст в книге «Дидро и Энциклопедия»⁹¹ с предельной убедительностью показал умеренность взглядов Дидро, сторонника некоей идеальной «демократической монархии», примиряющей все сословия. Тема примирения проникает и в новеллу о двух друзьях: не случайно один из них, Феликс, которому исхлопотал помилование богатый землевладелец господин де Рансоньер, становится его егерем и чуть не погибает, защищая своего хозяина. При этом он снова нарушает закон, попадает в тюрьму и бежит оттуда, — но уже не к контрабандистам, а к прусскому королю Фридриху II, и поступает в королевскую гвардию. «Говорят, что товарищи его любят, и даже король знает его»⁹².

Еще ярче это стремление к примирению (объективно приводящее Дидро в лагерь, враждебный Мандрену и повстанчеству) проявляется в романе «Жак-фаталист и его хозяин». Сам Дидро сопоставляет свой роман с творчеством двух авторов, классика Рабле и своего современника Дюлорана⁹³. Это позволяет нам лучше понять отношение Дидро к проблемам бунта и примирения: роман Дидро не просто продолжает Дюлорана, а полемически заострен против него, направлен против его романа как проповеди социального мира против идей ярости и бунта. Герои Дюлорана не принимают хозяев жизни: кум Матье издевается над ними, отец Жан вступает с ними в драку, кончающуюся убийством. А Жак-фаталист в «третьем параграфе», т. е. в третьем варианте концовки романа у Дидро бросает отряд Мандрена, в который попал по недоразумению, и переходит на сторону своего хозяина, спасая его замок от разграбления. И далеко не случайно хозяин задает вопрос: «Как ты очутился среди этих людей?», как не случайно и восклицание хозяйского друга, Деглана: «Принесите стаканы и вина, скорей! Это он спас жизнь нам всем...»⁹⁴. Таким образом, изменяя соратникам Мандрена, стоящим вне закона, герой Дидро спасает своих господ. За это его и чествуют, это и делает его в глазах автора героем.

Но сама тема восстания в лубочной литературе продолжает жить, хотя и не всегда мы можем проследить связи с жизнью

⁹¹ Jacques Proust. Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1962; см. нашу рецензию: «Новое исследование о Дидро». — «Новая и новейшая история», 1964, № 2.

⁹² D. Diderot. Quatre contes, p. 63.

⁹³ «Беседы Жака-фаталиста и его хозяина представляют собой самое значительное произведение, появившееся после Пантагрюэля мэтра Франсуа Рабле и жизни и приключений Кума Матье» — D. Diderot, Jacques le fataliste et son maître. Paris, Garnier, s. d., p. 397.

⁹⁴ Там же, стр. 402.

Мандрена: так, в 1777 г. в Ниме на юге Франции конфискована только что появившаяся книга «Le Vieux Sevenol» — «Старый севеньол»⁹⁵, признанная «крайне крамольной» (*particulièrement séditieux*); розыски автора и типографа приводят к длительной переписке между интендантом Лангедока и властями города Нима⁹⁶. И в первый же год революции вновь всплывает имя Мандрена, причем контекст, в котором оно упоминается, почти дословно воспроизводит мысли Дюлорана. Так, в анонимном памфлете «Второй наказ рыночных торговцев Парижа»⁹⁷ мы находим сопоставление двух имен — Фридриха II и Мандрена: «Каждый из них, герой в собственной стране, поразил мир своими талантами, своим поведением, своей смелостью и своими успехами; но правда и то, что конец их был различен»⁹⁸. Даже если этот памфлет — подделка, выпущенная роялистами с целью компрометации революционных масс Парижа, тем ценнее для нас признание (врагов!) того, что народ Франции видит своего героя в Мандрене: в те времена, когда угнетенные массы ни у кого не находят защиты, тема «благородного разбойника», мстителя за обиженных, покровителя слабых и врага угнетателей имеет большое революционизирующее значение. И если эта тема почти не находит себе места в «большой литературе» эпохи, а сосредоточена в лубочной книге, — тем необходимой для историка общественной мысли Франции XVIII в. изучение ее лубка, *livres de colportage*. Иначе мы можем пропустить многое.

⁹⁵ «Le Vieux Gevenol ou Anecdotes de la vie d'Antoine Borely, mort à Londres à l'âge de 103 ans». Traduit de l'anglais.— S. l. n. d.

Эта книга приписывалась тайному протестантскому проповеднику Рабо Сен-Этьену (Rabaut Saint-Etienne).

⁹⁶ См. в кн.: M. V e n t r e. L'Imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle de l'Ancien Régime. Paris — La Haye, 1958, p. 288.

⁹⁷ «Second cahier des plaintes et doléances des dames de la Halle et des marchés de Paris», 1789.

⁹⁸ «Second cahier...», p. 2.

ЖАН МЕЛЬЕ И ФРАНЦУЗСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ XVIII ВЕКА



Г. С. Кучеренко

Исследования русских и советских ученых о Жане Мелье и его «Завещании» занимают видное место в мировой историографии французского Просвещения.

М. Домманже, один из патриархов прогрессивной французской исторической науки, справедливо отметил, что «понадобилось возвращение паломников-французов из СССР, чтобы Жан Мелье действительно встал на повестку дня или, как говорят, стал модой»¹. Проявлением этой «моды» во французской академической и университетской науке служат и международный коллоквиум в связи с 300-летием со дня рождения Жана Мелье (Экс-ан-Прованс, ноябрь 1964)², и издание долгожданной книги Мориса Домманже³, и публикация материалов названного коллоквиума под эгидой «Общества робеспьеристов» с предисловием Альбера Собуля⁴, чьи работы по истории Французской революции XVIII в. принесли ему признание соотечественников и получили известность во всем мире.

В нашей стране изучению наследия Мелье положили начало лекции проф. Шахова, прочитанные в начале 70-х годов XIX в. студентам Московского университета. В своем лекционном курсе

¹ M. Dommanget. Le curé Meslier. Paris, 1965, p. 482. О вкладе ученых других стран в разработку творческого наследия Жана Мелье см.: M. Dommanget. Op. cit.; Г. С. Кучеренко. Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII в. М., 1968.

² См. «La Pensée», 1965, № 119.

³ M. Dommanget. Op. cit. (см. рецензию в журн.: «La Pensée», 1965, № 124).

⁴ «Etudes sur le curé Meslier. Actes du colloque international d'Aix-en-Provence. 21 novembre 1964». Paris, 1966.

о Вольтере и его времени⁵ А. А. Шахов на основе «Завещания», опубликованного Р. Шарлем⁶, и «Лекций» Д. Штрауса⁷ создал блестящий и чрезвычайно емкий этюд о Жане Мелье и о значении его идей в истории передовой общественной мысли Франции. «То, что мы знаем о Мелье, — говорил профессор Шахов, — заставляет нас отнестись с некоторой симпатией к этой оригинальной личности»⁸. Познакомив слушателей с фактами биографии Мелье, Шахов подчеркнул, что автор «Завещания» «развивал новое мировоззрение, которое нас поражает своей трагической резкостью и оригинальностью... Аргументация Жана Мелье совпадает сначала с доводами действий... Именно этой частью «Завещания» Мелье воспользовался Вольтер»⁹. Далее лектор кратко изложил атеистическое и материалистическое учение Мелье. При этом он словно просит извинить ему эту краткость: «Я указываю только на некоторые черты завещания этого оригинального сельского священника. Передавать подробности затруднительно: они изумляют своей резкостью»¹⁰. Взгляды Мелье, высказанные «в самом начале XVIII столетия... когда самые передовые мыслители стоят еще на точке зрения осторожного деизма, когда систематический атеизм был диковинкой», Шахов считал «поистине феноменом». Этот феномен ученый объяснял социальной позицией автора «Завещания», которому «как сельскому священнику хорошо было известно бедственное положение французского крестьянства... он бился над причиной народных зол и печалей»¹¹.

«Французское государство XVIII в., старый режим с его привилегированными паразитами, с его гнетущей администрацией, с его насилиями и поборами... вызвало Жана Мелье на критическую поверку всех вообще людских понятий, отношений, традиций»¹². От критики социальных несправедливостей, указывал Шахов, Мелье «переходит к прославлению Брута и Кассия, а затем к отрицанию не только наследственной иерархии в обществе, но и всяких частных интересов. Шампанский священник проповедует общинное владение и общинное пользование дарами природы, царство всеобщего мира, братство и согласие на земле...»¹³.

⁵ А. Шахов. Вольтер и его время. СПб., 1912 (лекции, прочитанные Шаховым в МГУ в период 1872—1876 гг.).

⁶ J. Meslier. Le Testament. Ed. R. Charles, vol. 1—3. Amsterdam, 1864.

⁷ D. F. Strauss. Voltaire. Sechs Vorträge. Leipzig, 1872.

⁸ А. Шахов. Указ. соч., стр. 201.

⁹ Там же, стр. 202—203.

¹⁰ А. Шахов. Указ. соч., стр. 204.

¹¹ Там же, стр. 204—205.

¹² Там же, стр. 205.

¹³ Там же, стр. 206.

В своей лекции профессор Шахов кратко рассказал также о судьбе «Завещания». В 30-х годах XVIII в. Вольтер узнал о «Завещании» Жана Мелье, но в это время «нечего было и думать печатать подобное произведение». В 60-х годах обстоятельства изменились, но печатать целиком исповедь Мелье Вольтер не хотел, так как очень многое в размышлениях сельского священника противоречило его собственным воззрениям. В опубликованном Вольтером «Извлечении» «атеистический и коммунистический элементы были совершенно опущены»¹⁴. В 70-х годах «Завещание» было издано в новой редакции бароном Гольбахом, который «сообщил публике стороны мирозерцания Мелье, обойденные молчанием в редакции Вольтера». Затем следовало еще несколько других обработок того же памятника. В 1789 г. появился Катехизис священника Мелье. А. А. Шахов упоминал о предложении Клоотса относительно сооружения памятника Мелье, а также об изданиях «Завещания» в девятнадцатом веке¹⁵. Таковы были первые шаги изучения в нашей стране творческого наследия кюре из Шампани.

«Тему о Жане Мелье, — указывает Б. Ф. Поршнев, — профессор А. А. Шахов завещал своему ученику, будущему академику. Р. Ю. Випперу»¹⁶. Как и учителю, Р. Ю. Випперу не удалось оставить потомкам специальной книги о Жане Мелье. В своем известном труде «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе», составленном из лекций, читанных в Москве зимой 1898/99 г., Виппер характеризовал Жана Мелье как «защитника народных интересов», а его «Завещание» рассматривал как «злой и отчаянный протест против несправедливости на земле, против неравенства, притеснения неимущих»¹⁷. При этом Виппер подчеркивал, что «возбужденная речь патера, его манифест с того света доходит до настоящей революционной фразеологии. Касаясь вопроса об общественном идеале Мелье, проф. Виппер писал: «Мелье верит, что правда и счастье могли бы быть на земле. Она достаточно производит, чтобы обеспечить всех; нужно только, чтобы люди держали ее в общем владении»¹⁸.

Тему о Жане Мелье Р. Ю. Виппер завещал своему ученику, крупному ученому и общественному деятелю, выдающемуся орга-

¹⁴ А. Шахов. Указ. соч., стр. 207.

¹⁵ Там же, стр. 207—208.

¹⁶ Б. Ф. Поршнев. Мелье. М., 1964, стр. 20.

¹⁷ Р. Ю. Виппер. Указ. соч. М., 1908, стр. 61—62.

¹⁸ Там же, стр. 63.

пизатору советской науки академику В. П. Волгину¹⁹. Именно этому крупнейшему историку, который уже в конце 90-х годов XIX в. осознал себя марксистом, принадлежит первое специальное исследование о Жане Мелье. Ко времени завершения учебы в Московском университете, в 1908 г., Волгин закончил работу «Жан Мелье и Завещание», которая в условиях цензуры царской России не могла быть опубликована и увидела свет только после Великой Октябрьской социалистической революции. Исследование Волгина появилось вначале в виде журнальной статьи²⁰, затем вышло и отдельным изданием²¹, которое неоднократно переиздавалось, обогащаясь новыми данными и новыми идеями²². Следует подчеркнуть, что исследование Волгина знаменовало зарождение марксистского мелведешья. В работах Волгина дан марксистско-ленинский анализ философских и социально-политических взглядов Мелье как единственного революционного социалиста и атеиста дореволюционной Франции, несомненного предшественника Гельвеция, Гольбаха и их последователей, а также Бабефа и равных; сжато рассказано о жизни Мелье и судьбах его «Завещания»; рассмотрен вопрос о социально-политической среде, в которой возникло это замечательное произведение, дан обзор литературных источников, использованных Мелье в работе над «Завещанием». Работы о Мелье выдающегося историка-марксиста лауреата Ленинской премии академика В. П. Волгина, представляющие собой плод его более 50-летних изысканий, составляют золотой фонд мировой историографии о Мелье.

В «Очерках по истории социализма», выдержавших с 1923 по 1935 г. четыре издания²³, Волгин уделял видное место Мелье и его «Завещанию». Страницы, посвященные Мелье, являются неотъемлемой составной частью и другого труда замечательного со-

¹⁹ См.: Б. Ф. Поршнев. Указ. соч., стр. 20; А. Ф. Ротштейн. Вячеслав Петрович Волгин.— «Материалы к биобиблиографии ученых», вып. 4. М., 1954; С. Д. Сказкин. Научная и общественная деятельность академика В. П. Волгина.— Сб.: «Из истории социально-политических идей». М., 1955.

²⁰ В. П. Волгин. Жан Мелье и его «Завещание».— «Голос минувшего», 1918, № 1—3.

²¹ В. П. Волгин. Революционный коммунист XVIII в. (Жан Мелье и его «Завещание»). М., 1919.

²² См. библиографию трудов В. П. Волгина в сб.: «Из истории социально-политических идей», стр. 22—35. Последнее издание см.: В. П. Волгин. Французский утопический коммунизм. М., 1960, стр. 19—33. Наиболее развернутый вариант статьи см.: В. П. Волгин. Мелье и его «Завещание».— Ж. Мелье. Завещание, т. I. М., 1954, стр. 5—52.

²³ В. П. Волгин. Очерки по истории социализма. М.—Пг., 1923 (изд. 2.—М., 1924; изд. 3, доп.—М.—Л., 1926; изд. 4, доп.—М.—Л., 1935).

ветского ученого — «История социалистических идей»²⁴. В 1924—1925 гг. из печати вышли первые советские издания текста «Завещания». Первое²⁵ и второе²⁶ издания были весьма неполны, однако трудно отрицать их значение в деле дальнейшего изучения творческого наследия Жана Мелье. Предисловие А. М. Деборина ко второму изданию свидетельствовало об интересе к Мелье не только советских историков, но и философов.

В 1937 г. из печати вышло третье советское издание текста «Завещания»²⁷. Оно было полным переводом публикации Рудольфа Шарля. В 1954 г. появилось четвертое издание «Завещания»²⁸, а также статья Деборина, который характеризовал Мелье как «отца французского материализма XVIII в.» и прямого предшественника утопического социализма первой половины XIX в.²⁹

Начиная с академика А. М. Деборина советские философы внесли существенный вклад в исследование идейного наследия юре Мелье. В этой связи отметим кандидатские диссертации А. Джаймурзина «Материализм и атеизм Жана Мелье» (М., 1957) и А. А. Биралло «Утопический коммунизм во Франции в XVIII в. (Мелье, Мабли, Морелли)» (Минск, 1958).

О большом внимании к творчеству Мелье советских юристов свидетельствует кандидатская диссертация А. В. Аксенова «Государственно-правовые идеи Жана Мелье» (Саратов, 1967).

Таким образом, сразу после Великой Октябрьской социалистической революции Жан Мелье вошел в число больших тем советской марксистско-ленинской исторической и историко-философской науки.

Работы о Мелье В. П. Волгина не только внесли важный вклад в дело изучения творческого наследия Жана Мелье, но и наметили пути новых исследований, которые помогли на конкретном историческом материале показать генезис идей Мелье и судьбу его «Завещания» в XVIII в. Эти проблемы стали предметом исследо-

²⁴ В. П. Волгин. История социалистических идей, ч. 1, М.—Л., 1928; ч. 2, вып. 1, М.—Л., 1931.

²⁵ «Священник Иоанн Мелье (по Вольтеру)». Под ред. В. А. Шишакова. М., 1924.

²⁶ Ж. Мелье. Завещание, ч. 1—2. Пер. Е. Смирнова, предисловие А. Деборина. М., 1925.

²⁷ М. Мелье. Завещание. Пер. с франц. Ф. Д. Капелюша и Г. П. Полякова, под ред. А. Б. Рановича (вступ. статья А. Гагарина), М., 1937.

²⁸ Ж. Мелье. Завещание, т. I—III. Пер. с франц. Ф. Д. Капелюша и Г. П. Капелюша, под ред. Ф. А. Коган-Бернштейн. Пер. приложения и комментарий Ф. Б. Шуваевой. Вступительная статья В. П. Волгина. М., 1954.

²⁹ А. М. Деборин. Жан Мелье (к 225-й годовщине со дня смерти).— «Вопросы философии», 1954, № 1, стр. 126.

ваний Б. Ф. Поршнева, который, по его же собственным словам, унаследовал тему о Мелье от своего учителя В. П. Волгина³⁰. Результаты этих исследований первоначально были опубликованы в 1955 г.³¹

Идеология Мелье отражала борьбу эксплуатируемых народных масс, главным образом крестьянства, против класса тунеядцев, в первую очередь дворян, абсолютистского государства, как государства класса дворян, против господствующей церкви и религии, как институтов, освещающих «божьем словом» угнетение со стороны сеньоров и их государства. «...Не в книгах, — писал В. П. Волгин, — а в живой жизни источник революционного настроения Мелье. Жизнь нищей и угнетенной деревни сделала его демократом и революционером»³². Конкретное освещение этого вопроса требовало не только привлечения большого фактического материала о положении и борьбе французского крестьянства во Франции в конце XVII — начале XVIII в., но и серьезной теоретической работы: вопрос о том, как именно влияет борьба народных масс на формирование того или иного мыслителя, был совершенно не исследован. В своих работах о Мелье Б. Ф. Поршнев, используя методологию В. И. Ленина при решении им аналогичного вопроса по отношению к Л. Н. Толстому, строит свои доказательства и выводы на конкретном историческом материале, в частности на извлеченных им из архивов и исследованных источниках по истории крестьянских и плебейских движений во Франции XVII в.

Подчеркивая решающее влияние на Мелье роста массового народного движения во Франции, Поршнев вместе с тем придает большое значение и идейным истокам в формировании мировоззрения первого французского революционного коммуниста. Поршнев впервые устанавливает знакомство Мелье с идеями «тираноборцев» и сочинением Ла Бозси «Трактат о добровольном рабстве»³³.

Выделяя в творческом наследии Мелье три главных идеи (равенства и утопического коммунизма, народной революции и народовластия, атеизма и материализма), Поршнев указывает,

³⁰ Б. Ф. Поршнев. Мелье. М., 1964, стр. 20.

³¹ Б. Ф. Поршнев. Народные истоки мировоззрения Жана Мелье. — Сб.: «Из истории социально-политических идей»; он же. Жан Мелье и народные истоки его мировоззрения (Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме). М., 1955.

³² В. П. Волгин. Мелье и его «Завещание» — В кн.: Ж. Мелье. Завещание, т. I. М., 1954, стр. 23.

³³ Мелье и его современники приписывали это сочинение Монтеню.

что «Завещание» Жана Мелье оказало значительное влияние на различных представителей общественной мысли Франции XVIII в., в том числе на энциклопедистов.

Статья Б. Ф. Поршнева о Мелье в 1955 г. была представлена на X Международный конгресс исторических наук в Риме в качестве одного из докладов советской делегации. Почти тотчас на это откликнулась специальной статьей влиятельная буржуазная газета Франции «Le Monde»³⁴.

Летом 1964 г. Поршнев опубликовал о Жане Мелье первую в мировой литературе монографию³⁵. Исходная, заглавная посылка автора этой книги состоит в том, что «в век Просвещения и Великой революции XVIII в. во Франции не было образованного человека, который не знал бы о Жане Мелье»³⁶. Тот факт, что в XVIII в. можно найти образованных людей, которые не цитируют и не упоминают Мелье в своих сочинениях, речах и письмах, ничуть не противоречит, по мнению автора, этому его основному положению. Б. Ф. Поршнев приводит весьма веские доказательства в поддержку своего тезиса. Во всяком случае, после выхода в свет этой монографии никто уже не может отрицать или обходить молчанием вопрос о значении идейного наследия Мелье в истории общественной мысли Франции XVIII в. Отныне стало совершенно ясно, что при исследовании проблем об идейных истоках мировоззрения того или иного деятеля Франции XVIII в. творческое наследие скромного деревенского священника нужно учитывать в качестве одного из этих истоков. Из сферы априорного отрицания данная проблема перешла в область исследования, — в этом одно из главных научных достижений монографии Поршнева.

Б. Ф. Поршнев показывает, как надо решать вопросы о генезисе мировоззрения того или иного мыслителя, анализирует социально-политические и философские взгляды Мелье, определяет место его идейного наследия в истории передовой общественной мысли, намечает пути дальнейших исследований.

Отметим некоторые более частные достижения этой книги. Касаясь вопроса о поездке Мелье в Париж и значении такого события в идейном формировании этого деревенского кюре, Поршнев делает весьма обоснованное предположение, что период с 1722 по 1726 г. является наиболее вероятным временем этой поездки,

³⁴ «Le Monde», 24.IX 1955.

³⁵ Б. Ф. Поршнев. Мелье. М., 1964 (см. рецензии: А. З. Манфред. Деятели Великой Французской революции.— «Новый мир», 1965, № 2; А. В. Лдо. Б. Ф. Поршнев. Жан Мелье.— «Новая и новейшая история», 1965, № 6).

³⁶ Б. Ф. Поршнев. Указ. соч., стр. 5.

знакомства Мелье с Клодом Бюффье и возникновения между ними переписки³⁷. Исследование социально-политических и философских взглядов Бюффье, вопросов о его связях с Мелье, попытки найти их переписку представляется одной из назревших задач дальнейших научных поисков о Жане Мелье, его ближайшем окружении и судьбе «Завещания» в XVIII в.³⁸

Поршневу обращает внимание, что в приходской книге Этрешиньи нет записи о смерти и похоронах Мелье, отвергает версию о его самоубийстве и делает весьма аргументированное предположение, что церковники объявили Жана Мелье самоубийцей, чтобы не выполнять его последнюю волю и уничтожить «Завещание»³⁹.

По мнению Поршнева, только благодаря Леру (судейскому служащему Мезьера и одновременно адвокату и прокурору Парижского парламента) «Завещание» Жана Мелье попало к канцлеру Франции Жермен-Луи де Шовлену. Леру же был автором «Краткого жизнеописания Жана Мелье»⁴⁰. Конкретное освещение проблемы «Мелье и Леру» представляется ключом к загадке: как «Завещание» Мелье из отдаленной деревни Шампани попало в Париж.

В 1953 г. автор этих строк, тогда студент Московского университета, начал под руководством Б. Ф. Поршнева специальное исследование проблемы о судьбе «Завещания» в XVIII в. В 1956 г. в МГУ он защитил на эту тему дипломную работу, в 1965 г. в Институте истории АН СССР — кандидатскую диссертацию. С 1961 г. фрагменты этого исследования стали появляться в советской научной печати, в 1968 г. его главнейшие результаты опубликованы отдельной книгой⁴¹.

На основе изучения архивных документов, связанных с Мелье, рукописей «Завещания» и «Извлечений» из него, сочинений, писем, мемуаров и газет различных деятелей французского Просвещения и утопического социализма, хранящихся в библиотеках и архивах Москвы, Ленинграда, Парижа, а также специальной литературы о веке Просвещения мы пытались проследить отношение

³⁷ Б. Ф. Поршневу. Указ. соч., стр. 72—76.

³⁸ Наши поиски писем, которыми, возможно, обменивались Мелье и Бюффье, в Национальном архиве Франции не дали положительного результата. Не исключено, что либо в рукописных фондах библиотеки Ватикана, либо в архивах Реймского архиепископства, либо в архивах ордена иезуитов можно было бы обнаружить эту переписку, если она действительно имела место.

³⁹ Б. Ф. Поршневу. Указ. соч., стр. 92—100.

⁴⁰ Там же, стр. 199—200, 205—208.

⁴¹ Г. С. Кучеренко. Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII в. М., 1968 (см. рецензию А. В. Адо в журн. «Новая и новейшая история», 1969, № 3).

к Мелье тех представителей общественной мысли Франции XVIII в., связь которых с идейным наследием «Завещания» бесспорна, весьма вероятна, допустима, не может быть безоговорочно исключена. При этом мы старались не превратить историю «Завещания» в реестр упоминаний о нем и его авторе в тех или иных изданиях, но органически вписать идейное наследие Мелье в историю передовой общественной мысли Франции.

В книге приводится немало фактов о том, что уже с 30-х годов XVIII в. «Завещание» Жана Мелье различными нитями неразрывно связано с главными направлениями передовой общественной мысли Франции, с антиклерикализмом, материализмом, с социальной критикой, выходящей за рамки буржуазного мировоззрения, и с утопическим социализмом. На протяжении всего XVIII в., начиная с 30-х годов, циркулировали рукописи «Завещания» Мелье. Эти рукописи оказывали глубокое впечатление на различных представителей Просвещения.

Благодаря деятельности Буйе, Вольтера, деистов первой половины XVIII в., Ламеттри, Гольбаха, Гельвеция, Дидро, Клоотса, Нэжона, Марешаля большинство антиклерикальных атеистических, материалистических и социально-политических идей Мелье были широко известны и стали неотделимы от передовой общественной мысли Франции XVIII в.

В творчестве просветителей идейное наследие Мелье как бы расколосось на отдельные составные элементы. И только в мировоззрении Марешаля, прошедшего школу Великой Французской революции, они словно синтезируются.

Мы предлагаем вниманию читателя некоторые факты и выводы о знакомстве с идеями «Завещания» таких выдающихся представителей материализма предреволюционной Франции, как Ламеттри, Гельвеций, Гольбах, Дидро. «Материалом» этого очерка служат существенно сокращенные, уточненные и дополненные главы изданной нами книги.

Нет необходимости излагать творческий путь Ламеттри — это с достаточной полнотой сделано в посвященных ему специальных исследованиях и статьях⁴².

⁴² E. Bergmann. Die Satiren des Herrn Maschine, Leipzig, 1913; P. Lémée. Julien Offray de La Mettrie, medecin, philosophe, polemist; sa vie, son oeuvre. Paris, 1954; A. Vartanian. La Mettrie's l'Homme machine. A Study in the Origins of an Idea. Critical Edition with an Introductory Monograph and Notes. Princeton, 1960; А. М. Деборин. Предисловие.— Ламеттри. Избр. соч. М.—Л., 1925; M. Tisserand. La Mettrie (1709—1751).— La Mettrie. Textes choisis. Paris, 1954; R. Desné. L'Humanisme de La Mettrie.— «La Pensée», 1963, N 109, p. 93—110.

При изучений идейных истоков мировоззрения Ламеттри исследователи обычно исходили главным образом из «Краткого описания философских систем», в котором автор обнаруживал разнообразные и глубокие знания истории философии и характеризовал Вольфа, Лейбница, Локка, Спинозу, Бургава, Декарта, Мальбранша и других философов. На основании характеристик, данных Ламеттри перечисленным философам, делается вывод, что «в мировоззрении Ламеттри мы имеем... материалистический синтез различных элементов из учений Декарта, Спинозы, Локка и Бургава». При этом отмечалось, что Спиноза, Декарт и философы-картезианцы являлись непосредственными идейными предшественниками и учителями Ламеттри⁴³. Мы далеки от мысли опспаривать этот вывод. Однако изучение произведений Ламеттри показывает, что и Жан Мелье должен быть отнесен к числу его учителей⁴⁴.

Известно, что «Человек-машина», непосредственно примыкая по своему идейному содержанию к «Естественной истории души», по сравнению с этим произведением носит ярко выраженный боевой, воинствующий характер. В нем больше, чем в других произведениях Ламеттри, прямых выпадов против бога и религии, в нем более открыто, чем обычно, отстаиваются принципы атеизма. Причем эти строки «Человека-машины» и некоторые пассажи «Предварительного рассуждения» поразительно напоминают соответствующие высказывания Жана Мелье.

Так, касаясь вопроса о происхождения религиозных культов, Ламеттри пишет: «...те, кто вследствие своего разума или способностей были признаны достойными стать во главе других, предусмотрительно призвали на помощь правилам и законам религию... Она появилась со священной повязкой на глазах и скоро оказалась окруженной чернью, слушающей с разинутым ртом и изумленным видом рассказы о чудесах, до которых чернь всегда падка и которые — странное дело — производят на нее тем большее впечатление, чем меньше она их понимает»⁴⁵.

«Вожди народов», по мнению Ламеттри, воспользовались авторитетом религии для освящения установленных ими законов и правил поведения. Ламеттри, подобно Мелье, неоднократно подчеркивает, что назначение религии состоит в том, чтобы удерживать народ от сопротивления властям и их законам. Многие люди

⁴³ А. М. Деборин. Указ. соч.— Ламеттри. Избр. соч., стр. XXIV.

⁴⁴ О значении этого уточнения для истории материалистической философии см.: Б. Ф. Поршнев. От редактора.— В кн.: Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 6—7.

⁴⁵ La Mettrie. Discours preliminaire.— «Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie». 3 vols. Berlin, 1764, vol. 1, p. 5.

из народа только потому избегают уготовленной для непокорных виселицы, что боятся мучений ада. «Мы, — говорит Ламеттри, обращаясь к чиновникам, министрам и законодателям, — приветствуем ваши законы, вашу нравственность и даже вашу религию почти так же, как ваши виселицы и эшафоты»⁴⁶.

Достаточно сравнить эти обобщающие высказывания Ламеттри с рассуждениями Мелье о происхождении и общественном назначении религии, ее неразрывной связи с политикой в угнетении обездоленного и невежественного народа⁴⁷, чтобы убедиться в сходстве идей Мелье и Ламеттри. Последний, однако, смягчает социальную направленность идей Мелье о происхождении религии.

Это не удивительно. В отличие от Мелье — революционера и социалиста, — он весьма сдержан в своих социальных выводах. «Все, что я хочу, — писал Ламеттри, — это чтобы держащие кормило правления были немного философами». Свою личную задачу, как философа, Ламеттри мыслит значительно более узко, чем Мелье. Для Мелье его «Завещание» — одно из средств поднять народ на революционную борьбу против экономического, политического и духовного угнетения. Для Ламеттри его сочинения лишь средство доказать новую истину, расширить границы своего знания и ума, увеличить просвещение в обществе, распространить в нем свет знания⁴⁸.

Подобно Мелье, Ламеттри утверждает, что к признанию высшего существа нас может привести только глупая и слепая вера, а все представления о нем «находятся в противоречии с самыми несомненными принципами и с самыми бесспорными истинами»⁴⁹. Вера — источник фанатизма и религиозных войн. «Умы богословов принесли людям войну во имя бога». Религиозные войны — «самые ужасные моменты» истории человечества⁵⁰.

Для Ламеттри, как и для Мелье, «...все доказательства существования бога имеют только видимость убедительности... ничто не может нам дать представления о том, чего не могут ни воспринять наши чувства, ни схватить наш слабый ум»⁵¹. «Доводы в пользу существования творца... недоступны для нашего рассудка»⁵².

⁴⁶ La Mettrie. Op. cit. стр. 32—33.

⁴⁷ J. Meslier. Le Testament, vol. 1, p. 14—15, 19—20.

⁴⁸ La Mettrie. Discours preliminaire, vol. 1, p. 60, 63, 67; J. Meslier. Le Testament, vol. 1, p. 29—30.

⁴⁹ La Mettrie. L'Homme machine. Leyde, 1748, p. 60.

⁵⁰ La Mettrie. Discours preliminaire, vol. 1, p. 35; J. Meslier. Le Testament, vol. 1, p. 66—73.

⁵¹ La Mettrie. Discours preliminaire, vol. 1, p. 60.

⁵² La Mettrie. L'Homme machine, p. 60.

В произведении «Человек-машина» Ламеттри, защищая принципы атеизма, приводит следующий рассказ, который нам представляется одним из доказательств знакомства автора «Человека-машины» с идеями «Завещания» Жана Мелье. Согласно этому рассказу, один из друзей Ламеттри, «француз, человек с большими заслугами и достойный лучшей участи», заявлял, что «человечество не будет счастливо до тех пор, пока не станет атеистичным. Вот каковы доводы этого ужасного человека: если бы атеизм получил всеобщее распространение, то тогда все религии мира были бы уничтожены и подрезаны в корне. Прекратились бы религиозные войны и перестало бы существовать ужасное религиозное воинство, природа, зараженная ныне религиозным ядом, вновь вернула бы себе свои права и свою чистоту; глухие ко всяким другим голосам, умиротворенные смертные следовали бы только свободным велениям собственной личности, — велениям, которыми нельзя безнаказанно пренебрегать и которые одни только могут нас вести к счастью по приятной стезе добродетели. Таков естественный закон. Тот, кто его соблюдает, является честным человеком, заслуживающим доверия всего рода человеческого. Тот же, кто не следует ему добросовестно, как бы ревностно он ни исполнял предписания любой религии, есть негодяй или лицемер, которому я не верю»⁵³. Никто кроме Жана Мелье, к 1747 г. столь открыто и последовательно не защищал принципы атеизма. Никто, кроме него, столь гневно не бросал в лицо хриstopоклонникам: каждый из вас либо негодяй, либо лицемер. Наконец, пересказанные Ламеттри доводы «ужасного человека», «француза, достойного лучшей участи», попросту совпадают с некоторыми страницами «Завещания».

Мелье писал своим современникам: «Вы вечно будете жалкими и несчастными, пока будете следовать заблуждениям религии и оставаться в порабощении у ее суеверий. Отбросьте же полностью все эти пустые и суеверные обряды религии, изгоните из вашего ума эту безумную и слепую веру в ложные тайны»⁵⁴. Нужно «следовать только голосу разума... Это дает людям больше благ, больше удовлетворения и спокойствия телесного и душевного, чем все ложные правила и вздорные обряды их суеверных религий»⁵⁵. На протяжении всего «Завещания» Мелье называет хриstopоклонников «самыми наглыми и гнусными обманщиками народа», «слугами суеверий», «шарлатанами» и т. д. С негодованием он

⁵³ La Mettrie. L'Homme machine, p. 68—70.

⁵⁴ J. Meslier. Le Testament, vol. 3, p. 377.

⁵⁵ Там же, т. 1, стр. 27.

писал о священниках, «которые в своем кругу насмеваются над таинствами и обрядами своей религии»⁵⁶.

Нам могут, однако, возразить, что это случайное совпадение мыслей Мелье и Ламеттри, что рассказ об «ужасном» французском атеисте — всего лишь литературный прием Ламеттри, что в образе своего друга — атеиста с «большими заслугами» он выводил самого себя. В самом деле, если Ламеттри имел в виду Мелье, почему он просто не назвал его имя, а прибег к упомянутому литературному образу? Напомним, что «Человек-машина» был издан в конце 1747 г. в Голландии анонимно. Несмотря на все предосторожности, Ламеттри был вынужден эмигрировать в Германию и поселиться в Берлине при дворе прусского короля Фридриха II, которой покровительствовал философам. Можно предполагать, что Ламеттри, проживая в Голландии в качестве эмигранта и подготавливая издание «Человека-машины», по цензурным соображениям и соображениям личной безопасности не называет Мелье, а для изложения его атеистических воззрений прибегает к упомянутому выше литературному приему. Известно, что уже к 1747 г. имя Мелье было хорошо известно полицейским властям и что распространение его произведения являлось достаточным основанием для уголовного разбирательства⁵⁷.

Мог ли в 1747 г. эмигрант Ламеттри идти на дополнительный риск и открыто солидаризироваться с решительным и бескомпромиссным атеизмом Жана Мелье? В 1748 г. Ламеттри (в то время член немецкой Академии наук, тец, личный врач и друг Фридриха II), работая в условиях относительной личной безопасности и находясь в меньшей зависимости от цензурных требований, прямо заявил о своем знакомстве с атеизмом Мелье. В памфлете «L'Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en médecine» Ламеттри писал: «Спиноза никогда не говорил того, что он думал. Изложение его подлинных мыслей обнаружили в его бумагах после смерти, как и у того священника из Шампани, человека большой добродетели (историю его знают многие люди), у которого нашли три копии его атеизма»⁵⁸. Это свидетельство Ламеттри важно не только само по себе, оно подкрепляет все наши предыдущие соображения о том, что философские произведения Ламеттри свидетельствуют о влиянии Жана Мелье. Как Ламеттри узнал о Мелье?

Известные факты о том, что вскоре после смерти Мелье Ламеттри в течение двух лет учился в Реймсе, что в 40-е годы он одно

⁵⁶ J. Meslier. Le Testament, vol. 3, p. 22.

⁵⁷ См. Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 45, 48—49.

⁵⁸ La Mettrie. L'Ouvrage de Pénélope.— «Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie», vol. II, p. 105.

время был главным врачом военного госпиталя в Генте (Gand) (одна из рукописей полного текста «Завещания» до сих пор хранится в библиотеке этого города)⁵⁹, сообщение ученого из ГДР М. Фонтюса о рукописи «Завещания», циркулировавшей при дворе Фридриха II⁶⁰, намечают пути решения этого вопроса. «Берлинская» копия — лишь часть полного «Завещания», а именно: «Седьмое доказательство обманчивости и ложности религий, выводимое из ложности самого представления людей о мнимом существовании богов» и «Восьмое доказательство ложности религий, вытекающее из ложности представлений о духе и о бессмертии души». Дальнейшие исследования «берлинской» копии и творчества Ламеттри покажут, имел ли он отношение к составлению этого материалистического «Извлечения». Соображения Фонтюса о Вольтере, как возможном авторе этой рукописи, не представляются нам убедительными. Отметим попутно, что «берлинская» копия выдвигает задачу изучения влияния идей Мелье на философствующего монарха и его ближайшее окружение (в частности, на Д'Аржанса де Дирака), подводит реальное основание — вернее, одно из них — под исследование проблемы о международном резонансе идей кюре из прихода Этрепиньи.

В центре своих философских размышлений Ламеттри поставил антропологическую проблему. По его мнению, природа души человека составляет коренной вопрос философии. Ламеттри вслед за Мелье дает материалистическое решение этого вопроса, и именно поэтому его сочинения вызвали шумное одобрение одних и негодование других современников⁶¹. Материалистическое учение Ламеттри о человеке, природе его души и единстве человека с животным миром сходно с соответствующими идеями Мелье, которые последний излагает в «Восьмом доказательстве ложности религий, вытекающем из ложности представлений о духе и бессмертии души»⁶². В нашей книге это положение доказывается на основе сравнительного анализа философских сочинений Ламеттри, в том числе «Человека-машинны», и «Завещания»⁶³.

Показывая сходство идей Мелье и Ламеттри, мы отмечали также и их различия. Эти различия, сколь бы существенными они ни были сами по себе, не противоречат главным, исходным положениям материализма и атеизма Ламеттри и Мелье. Следует также

⁵⁹ См. M. Tisserand. Op. cit., p. 7, 9.

⁶⁰ «Etudes sur le curé Meslier». Paris, 1966, p. 27—32.

⁶¹ M. Tisserand. Op. cit., p. 15.

⁶² См. J. Meslier. Le Testament, vol. 3, p. 275—368.

⁶³ Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 89—96.

подчеркнуть, что если материалистическое учение о человеке составляет основное ядро философии Ламеттри, то у Мелье это учение — лишь восьмое доказательство ложности религии, лишь составная часть целостного мировоззрения последовательного материалиста и атеиста, революционера и утопического социалиста.

Из специальных исследований и статей о Гольбахе⁶⁴ нам известно, что памфлет «Здравый смысл», опубликованный в 1772 г. в нескольких изданиях, завершает цикл антирелигиозных работ знаменитого философа-материалиста.

Произведения Гольбаха 60—70-х годов занимают выдающееся место в атеистической пропаганде, которая, разоблачая религию, показывая несостоятельность идеи бога и материалистически объясняя мир, имела огромное значение в идеологической подготовке Великой французской революции. Какова роль Мелье в формировании мировоззрения Гольбаха? Было ли для него «Завещание» юре из Шампани одним из идейных истоков творчества и арсеналом антиклерикальных и атеистических идей и аргументов?

Убежденные противники атеизма и материализма давно отмечали сходство мировоззрений Мелье и Гольбаха. Так, еще в 1829 г. Ш. Нодье подчеркивал, что «грубый, многословный, невнятный материализм Мелье» ни в чем не отличается от материализма, вышедшего из кружка Гольбаха⁶⁵. Дамирон утверждал, что Гольбах, подобно Мелье, «упрекает бога... священников и королей. Атеизм — высшее требование, которое он со всей откровенностью признает, провозглашает и подчас проповедует с известной долей энтузиазма. Следствием этого явилось разрушение алтарей и тронов»⁶⁶. Ф. Лашевр считал Гольбаха, Дидро, Гельвеция и других материалистов последователями Мелье, хотя полагал, будто связь с творческим наследием Мелье может как-то опорочить французский материализм XVIII в.⁶⁷

Быть может, речь идет о простом совпадении во взглядах Мелье и Гольбаха? Большинство исследователей творческого наследия последнего единодушны в том, что «Завещание» Мелье ока-

⁶⁴ См., например: P. Naville. D'Holbach. Paris, 1943; М. Т. Кочарьян. Атеизм Гольбаха. М., 1957 (рукопись диссертации); Ю. Я. Коган. Атеизм Гольбаха. — В кн.: Гольбах. Письма к Евгению. Здравый смысл. М., 1956.

⁶⁵ Ch. Nodier. Du curé Meslier, de ses manuscrits et de leurs authenticité relative. Mélanges tirés d'une petite bibliothèque. Paris, 1829.

⁶⁶ Ph. Damiron. Mémoires pour servir à l'histoire de la philosophie au XVIII siècle, vol. III. Paris, 1858, p. 94.

⁶⁷ F. Lachèvre. Voltaire et le curé Meslier. Mélanges sur le libertinage au XVIII siècle, vol. V. Paris, 1920.

зало влияние на формирование атеистических воззрений Гольбаха и его ближайшего окружения. Изучая различные идейные влияния на Гольбаха, Пьер Навиль на первое место ставил влияние Мелье⁶⁸. К сожалению, доказательству этого важного положения Навиль не уделял должного внимания, ограничившись ссылкой на труды Лансона, Птифиса, Хаара и Вейда и изложением некоторых фактов о распространении рукописей «Завещания» в XVIII в.⁶⁹ Советские специалисты придерживаются подобной же точки зрения. Ю. Я. Коган называет Николая Фрере и Жана Мелье ближайшими французскими предшественниками атеизма Гольбаха⁷⁰. По мнению Когана, «Гольбах, как и другие энциклопедисты, был чужд коммунистических устремлений Мелье, но известное влияние противорелигиозных идей «Завещания» он все же испытывал»⁷¹. Или еще более категорично: «Гольбах, несомненно, был знаком с рукописной копией «Завещания» и испытал влияние этого произведения»⁷².

Весьма высоко оценивает значение идей Мелье в формировании атеизма Гольбаха М. Т. Кочарьян: «Значительное влияние на антирелигиозные взгляды Гольбаха оказало мировоззрение Жана Мелье (1664—1724). Если Вольтер способствовал распространению антиклерикальных идей Мелье, то Гольбах, не ограничиваясь этим, проявил исключительный интерес к материализму и в особенности к атеизму Мелье... Критика религии Гольбахом, его атеизм как по содержанию, так и по форме, методу очень сходны с атеистическими взглядами Жана Мелье»⁷³. Как утверждает Кочарьян, Гольбах «использует, а часто и текстуально повторяет те доводы против религии, которые выдвигал Мелье в «Завещании»⁷⁴.

О влиянии идей Мелье на Гольбаха можно судить и по памфлету «Здравый смысл», ибо известно, что в некоторых изданиях этот памфлет называется «Здравый смысл кюре Мелье». Все исследователи творчества Гольбаха почти единодушно подчеркивают, что это самостоятельное произведение Гольбаха и Мелье в заголовке указано ошибочно, что Гольбах в этой книге дальше развивает материализм и атеизм Жана Мелье и т. д.⁷⁵ С другой сто-

⁶⁸ P. Naville. Op. cit., p. 134; ср. V. Torazio. D'Holbach moral philosophy its background and development. Genève, 1956, p. 47.

⁶⁹ P. Naville. Op. cit., p. 135—137.

⁷⁰ Ю. Я. Коган. Указ. соч., стр. 14.

⁷¹ Там же, стр. 15.

⁷² Там же, стр. 448.

⁷³ М. Т. Кочарьян. Указ. соч., стр. IX.

⁷⁴ Там же, стр. X.

⁷⁵ А. М. Деборин. Воинствующий атеизм.— В кн.: А. Гольбах. Здравый смысл. М., 1924, стр. XVI; И. М. Альбер. Философия Гольбаха. М., 1925, стр. 261; P. Naville. Op. cit., p. 141; Ю. А. Коган. Указ. соч., стр. 447—448. М. Т. Кочарьян. Указ. соч., стр. 49—50.

роны, автор одной из наиболее удачных диссертаций об атеизме Гольбаха М. Т. Кочарьян утверждает, что «почти все идеи этой книги (речь идет о «Здравом смысле». — Г. К.) можно без труда связать с «Завещанием» Мелье. Гольбах пользуется в основном аргументацией и доводами Мелье и точно так же, как Мелье, приводит к самым резким атеистическим выводам»⁷⁶.

Очень интересные наблюдения, выводы и предположения можно сделать, сравнивая различные издания «Здравого смысла». По некоторым сведениям «Здравый смысл» впервые был издан в 1772 г. одновременно в Амстердаме и Лондоне (дважды)⁷⁷. Амстердамское издание называлось «Здравый смысл кюре Мелье»⁷⁸. «Лондонское» издание содержит указание, позволяющее сделать вывод, что автор «Системы природы» и «Здравого смысла» — одно и то же лицо, т. е. Гольбах. Чем объясняется разница в названии одного и того же произведения? Нам думается, что «лондонское» (на деле парижское) издание не упоминает имя Мелье по цензурным соображениям. Можно даже изменить первоначального названия («Bon-sens du curé Meslier...») приписывать не осторожности Гольбаха или его ближайших сотрудников, а требованиям парижских издателей. Вплоть до 1791 г. имя Мелье не упоминалось ни в одном из изданий «Здравого смысла» (1773, 1774, 1782, 1784, 1786). После Великой французской революции в 1791 и 1792 гг. имя Мелье снова появляется в заголовках «Здравого смысла», причем названия этих изданий представляют комбинацию из заголовков «амстердамского» и «лондонского» изданий⁷⁹.

⁷⁶ Там же, стр. 49.

⁷⁷ Вот полные заголовки этих изданий: «Bon-sens du curé Meslier et publié pour la première fois en 1772 chez M. Bey à Amsterdam»; «Le bon-sens ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles par l'auteur du Système de la Nature», Londres, 1772; H. Röck. Kritische Verzeichnis der philosophischen Schriften Holbachs. — «Archiv für Geschichte der Philosophie», Bd. 30, Hf. 4, vol. 1, Juli 1917, S. 270; J. Haas. Jean Meslier und die Beziehungen von Voltaire und Holbach zu ihm. Hamburg, 1928, S. 51. Одно «лондонское» издание насчитывает 12 страниц введения и 315 страниц основного текста, другое — 10 страниц введения и 266 страниц основного текста (см. «Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale», vol. 72, p. 114).

⁷⁸ Ср. Ю. Я. Коган. Указ. соч., стр. 448; M. Dommanget. Op. cit., p. 523—524. Оба автора утверждают, что имя Мелье появилось в заголовке «Здравого смысла» только с 90-х годов XVIII в.

⁷⁹ «Le bon-sens ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Par feu M. Meslier, curé d'Étrepigny». Rome, 1791; «Le bon-sens puisé dans la Nature ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Par feu J. Meslier. Curé d'Étrepigny. A Rome et se trouve à Paris. l'an I-er de la raison», 1792.

В 1802 г. появился сборник, содержащий помимо краткого предисловия издателя часть переписки Вольтера по поводу Мелье, «Краткое жизнеописание Жана Мелье», «Здравый смысл», «Извлечение» Вольтера и Декрет Национального конвента о сооружении памятника Мелье⁸⁰. Этот сборник назывался «Здравый смысл Кюре Мелье, сопровождаемый его «Завещанием». Итак, первое издание «Здравого смысла» было опубликовано с именем Мелье, парижские издания этой книги до 1791 г. имени Мелье не упоминали по цензурным, как нам кажется, соображениям. После 1791 г. все издания содержат имя Мелье. Причем, с 1802 г. под именем Мелье выходят сборники, которые включают наряду с другими материалами и «Здравый смысл».

Кому мы обязаны вторичным изменением заглавия «Здравого смысла»? Кто был человек, способствовавший оживлению интереса к Мелье и появлению посвященного ему сборника? Наиболее логично, по нашему мнению, предположить, что это был Жак Андре Нэжон⁸¹, который в данном случае восстанавливал историческую правду и подчеркивал значение идей Мелье в формировании материализма и атеизма Гольбаха. В самом деле, именно в эти годы (1791—1792) Нэжон составил и опубликовал трехтомную энциклопедию⁸², где сообщались сведения о жизни древних и современных философов и давалось краткое содержание их трудов. Часть статей являлась перепечаткой из «Энциклопедии» Дидро, другая часть принадлежала перу самого Нэжона. В введении Нэжон ополчается против «самых губительных для рода человеческого несчастий — против попов и королей» и в связи с этим вспоминает о Жане Мелье. «Кюре Мелье, — писал Нэжон, — выносит попам и королям почти-что приговор. По этому вопросу он выражает очень патристичное пожелание, которое можно найти во всех точных копиях его «Завещания». Энергичность выражений этого пожелания не имеет себе равных ни в одном из известных языков. Если бы большинство священников, которые являются депутатами Национального собрания, думали так же, как этот доб-

⁸⁰ «Le bon-sens du curé Meslier suivi de son Testament. Paris. Au palais de Thermes de Julien», 1802. Впоследствии этот сборник неоднократно переиздавался: в 1829, 1830, 1834, 1835, 1905, 1930 гг. Начиная с 1834 г., сборник выходил с предполагаемым портретом Ж. Мелье.

⁸¹ О Нэжоне см., например: Ph. D a m i r o n. Mémoire pour servir à l'histoire de la philosophie de XVIII siècle, vol. 2. Paris, 1858, p. 376—480; R. B r u m m e r. Studien zur französischen Aufklärungsliteratur in Anschluss an J. A. Naigeon. Breslau, 1932; И. Л у п п о л. Жак Нэжон. — В кн.: Ж. Нэжон. Солдат-безбожник. Пер. О. Румера. М., 1925.

⁸² J. A. N a i g e o n. Encyclopédie méthodique. Philosophie Ancienne et moderne, vols. 1—3. Paris, 1791—1792.

рый кюре, они бы не предпринимали усилий, направленных на развязывание во Франции религиозной войны»⁸³.

В третьем томе на страницах 218—239 помещена статья «Мелье», которая содержит полный текст вольтеровского «Извлечения» и его критику на основе второй части «Завещания». «Вольтер, — писал Нэжон, — не говорит о второй части, в которой наш добрый кюре детально исследует и обоснованно опровергает самые правдоподобные доказательства хриstopоклонников о существовании бога... Если судить о построениях Мелье на основании резюме Вольтера, можно увидеть в мудром священнике лишь теиста и дейста..., но Мелье... был атеистом и именно это попытался скрыть Вольтер»⁸⁴. Что же привлекло внимание Нэжона во второй части «Завещания», несмотря на «слабый, некорректный, многословный стиль», который «нужно исправить»⁸⁵. Наибольшее значение, по словам Нэжона, имеют строчки, где Мелье проявляет себя как «философ, который хорошо знает единственно возможное средство прекратить немедленно источники многочисленных бед, которые издавна удручают человечество». «Я хочу, — говорит Мелье, — и это мое самое последнее и самое горячее желание: я хочу, чтобы последний из королей был повешен на кишках последнего священника»⁸⁶. Таким образом, Нэжон цитирует в своей «Энциклопедии» в первую очередь призывы Мелье революционным путем избавиться от дворянства, королей, служителей церкви. В этом Нэжон солидарен с Мелье. Он считает, что «никогда не высказывали еще мысли столь глубокой, столь сильно выраженной, поданной столь живо, определенно и энергично...»⁸⁷. Критика Мелье частной собственности, призывы после уничтожения дворянства, духовенства и королей построить общество, основанное на общности имущества, Нэжоном из «Завещания» не извлекаются.

В свете этого факта появление имени Мелье в заголовке одного из самых ярких и популярных атеистических памфлетов и сборник 1802 г. представляются ответвлением и развитием замысла статьи Нэжона, который писал о Мелье как об атеисте и материалисте.

Сравнение различных изданий «Здравого смысла» дает нам основание для некоторых выводов. Гольбах знал полный текст «Завещания», ибо если бы источником его сведений о Мелье было

⁸³ J. A. Naigeon. Op. cit., vol. I, p. XXII.

⁸⁴ J. A. Naigeon. Op. cit., vol. 3, p. 238.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Там же, стр. 239.

⁸⁷ Там же.

бы только «Извлечение» Вольтера, то кюре из Этрёпины был бы для него дейстом, «здравый смысл» которого противоречил бы атеистическим воззрениям Гольбаха. Мелье в глазах Гольбаха — атеист и материалист, а это можно было уяснить, только ознакомившись с рукописью «Завещания». Назвав одно из своих главных обобщающих произведений «Здравый смысл кюре Мелье», Гольбах указал на «Завещание» кюре из Шампани как на один из важнейших источников своего атеизма. Гольбах в данном случае был только справедлив по отношению к своему предшественнику и учителю, так как «Здравый смысл» представляет собой изложение материалистических идей «Завещания»⁸⁸. Если Вольтер в «Извлечении» следовал за текстом и доказательствами «Завещания», то Гольбах в «Здравом смысле» более свободно, чем Вольтер, оперировал идеями кюре из Шампани для доказательства собственных мыслей. «Здравый смысл» Гольбаха внешне меньше сходен с «Завещанием» Мелье, чем «Извлечение» Вольтера.

Имеются и другие факты, свидетельствующие о знакомстве Гольбаха и его ближайшего окружения с рукописью «Завещания». Самое раннее упоминание об этом мы находим в «Литературной корреспонденции» Гримма, который благодаря личным дружеским связям с Дидро был своим человеком в салоне барона Гольбаха⁸⁹. 15 октября 1763 г. Гримм писал: «...кюре из Этрёпины, в Шампани, Жан Мелье умер примерно 30 лет тому назад. Среди его бумаг нашли адресованное прихожанам завещание, в котором он просил у них прощения в том, что обманывал их всю жизнь. Он горько упрекал себя в том, что проповедовал прихожанам абсурдную религию, противоречащую здравому смыслу, принципы которого он позаботился обсудить. Не сумев победить свою трусость, — говорит Мелье, — и пренебречь опасностями, которые подстерегают всякого правдолюбца, он пытался в своих проповедях не касаться догмы и внушать своим прихожанам только чистую мораль (!). Завещание, построенное на этих принципах, уже долгое время в рукописном виде находилось в портфеле любопытных людей. Более года назад в Женеве было напечатано извлечение из этого завещания. Это издание содержит 63 страницы... Набожные люди утверждают, что появлением этого извлечения мы обязаны г. Вольтеру»⁹⁰.

⁸⁸ Ср. В. П. Волгин. Мелье и его «Завещание». — В кн.: Ж. Мелье. Завещание, т. I, стр. 43.

⁸⁹ О Гримме см., например: A. Cazes. Grimm et Encyclopédistes. Paris, 1933; J. R. Smiley. Diderot's Relations with Grimm. Urbana, 1950.

⁹⁰ Grimm. Correspondance littéraire, t. V. Paris, 1878, p. 178.

Таким образом, Гримм знает, что «Завещание» Мелье и «Извлечение» Вольтера — разные произведения. Даже первые строчки его заметки весьма отличаются по содержанию от характеристики Мелье, данной в эпитафии Вольтера. У Гримма Мелье «просит прощения у прихожан» и «горько упрекает себя в том, что всю свою жизнь обманывал людей», проповедуя «абсурдную и противоречащую здравому смыслу религию». У Вольтера Мелье просит прощения у бога в том, что проповедовал христианство. Таким образом, у Вольтера Мелье — деист, у Гримма кюре из Этрепиньи — атеист, если иметь в виду, что здравый смысл, «принципы которого Мелье позаботился обсудить», для Гримма и многих других завсегдатаев салона Гольбаха был аутентичен атеизму и материализму.

Итак, к 15 октября 1763 г. в салоне Гольбаха были известны «принципы здравого смысла» «Завещания» Мелье. Причем Гримм сообщал, что это произведение «уже давно находилось в портфеле любопытных людей». Кого имел в виду Гримм? Известно, что Гольбах тщательно скрывал свою литературную деятельность: все прижизненные издания его атеистических произведений выходили анонимно или под вымышленными именами. По вполне понятным причинам не менее тщательно скрывалось также содержание «крамольных», в том числе антирелигиозных, бесед и дискуссий, происходивших в салоне барона Гольбаха. Это дает некоторое основание предполагать, что, говоря о «любопытных людях», Гримм имел в виду, в частности, и Гольбаха. Мы не можем установить, в каком году «Завещание» впервые попало в «портфель любопытных людей», но к 15 октября 1763 г. оно уже было известно в салоне Гольбаха. Причем, по словам Гримма, «уже давно «Завещание» Мелье находилось в портфеле любопытных людей». Отметим также, что Лакондамен и Мальзерб, знакомые с Гольбахом, знали о «многословной рукописи о религии священника из Этрепиньи», которую «сократил сеньор Ферне», опубликовав свое «Извлечение»⁹¹.

Однако имеются ли в распоряжении исследователей какие-нибудь свидетельства самого Гольбаха о знакомстве его с рукописью «Завещания»?

В основных антирелигиозных произведениях Гольбаха, начиная с 1761 г., обнаруживается не только поразительное сходство главных идей и аргументов, но и встречаются прямые текстологи-

⁹¹ См.: J. Jacquart. La correspondance de l'Abbé Trublet. Paris, 1926; J. Allisson. Malesherbes Defender and Reformer of the French Monarchy 1721—1794. New Haven, 1938.

ческие совпадения с «Завещанием» Мелье. Приведем некоторые примеры. В «Разоблаченном христианстве» (1761) Гольбах, подобно Мелье, отмечал: «Суеверие и деспотизм заключили друг с другом вечный союз и соединили свои усилия, чтобы обречь народы на рабство и нищету. Священник поработил подданных религиозным страхом и предоставил государю высасывать из них соки, в награду за это государь предоставил священникам вольную жизнь, роскошь, блеск и взял на себя истребление их врагов»⁹².

В «Галерее святых» Гольбах, разоблачая миф богопочитателей о Христе, по существу повторил Мелье, который писал, что Иисус «был человеком ничтожным, низким и презренным, лишенным ума, талантов, знаний, наконец, что он был сумасшедшим безумцем, жалким фанатиком и висельником»⁹³. В «Системе природы» Гольбах подчеркивал, что Христос не совершил самого великого чуда, ради которого бог-отец обрек на смерть своего божественного сына,— Христос не избавил род человеческий от грехов и пороков, не примирил людей с богом, своим всемогущим отцом, не вернул им его милости и не доставил им счастья. Вместе с тем «учение» об искупительной жертве является главным основанием христианской религии⁹⁴.

Таким образом, произведения и высказывания Гольбаха, свидетельствуют о том, что уже к началу 60-х годов XVIII в. в его распоряжении была рукопись «Завещания», из которой он черпал свои атеистические идеи и аргументы. Связь с «Завещанием» Мелье легко прослеживается во всех произведениях Гольбаха, начиная с «Разоблаченного христианства» (1761) и кончая обобщающим антирелигиозным памфлетом «Здравый смысл», который является цельным изложением материализма Мелье.

Недостаточно, однако, установить факт и приблизительное время знакомства энциклопедистов с рукописью «Завещания». На примере анализа произведений Гольбаха нами сделана попытка проследить связь главных направлений атеистической пропаганды 60—70-х годов с творческим наследием Жана Мелье и показать, что благодаря Гольбаху некоторые идеи и аргументы «Завещания» сыграли выдающуюся роль в формировании основ материалисти-

⁹² D' Holbach. Le christianisme dévoilé. Londres, 1767, p. 220—224; J. Meslier. Le Testament, t. 1, p. 14—15.

⁹³ D' Holbach. Tableau des saints. Londres, 1770, p. 94—111; J. Meslier. Le Testament, t. 2, p. 66—67.

⁹⁴ D' Holbach. Système de la Nature. Londres, 1774, p. 324, J. Meslier. Le Testament, t. 1, p. 175—177. О других совпадениях такого рода см.: M. Dommanget. Op. cit., p. 423—428.

ческого мировоззрения, в идеологической подготовке Великой французской революции⁹⁵.

Гольбах воспринял и развил материалистические и атеистические воззрения Мелье. Революционные и социалистические мысли «Завещания» в произведениях Гольбаха, в том числе и в памфлете «Здравый смысл», не изложены, хотя они и оказали некоторое влияние на социально-политические взгляды Гольбаха и других просветителей, в частности Гельвеция и Дидро. По нашему мнению, противоречивость социально-политических идей названных философов-материалистов, их «выходы» за рамки буржуазного мировоззрения в вопросах о частной собственности, о характере королевской власти, о допустимости революции против несправедливого правления — все это свидетельствует, в частности, о влиянии на них Жана Мелье. Это положение мы проиллюстрируем на примере Гельвеция, который, как известно, наибольшее внимание уделял разработке социологических проблем⁹⁶, а также на примере Дидро, который больше всех других энциклопедистов испытал влияние социалистических идей и дал описание очень своеобразной социальной утопии⁹⁷.

Клод Адриан Гельвеций был одним из наиболее близких друзей Вольтера и Гольбаха⁹⁸. Переписка Вольтера и Гельвеция показывает, что их дружба возникла в середине 30-х годов XVIII в. и продолжалась до смерти Гельвеция. Гельвеций не раз называл Вольтера учителем. В свою очередь Вольтер относился к своему младшему другу как заботливый наставник к талантливому, подающему большие надежды ученику. В этой дружбе было, однако, больше личной приязни двух очень одаренных людей, чем идейной близости единомышленников. Влияние Вольтера сказывалось скорее на умственном развитии Гельвеция, нежели на формирова-

⁹⁵ Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 106—115.

⁹⁶ См., например: Х. Н. Момджян. Философия Гельвеция. М., 1955, стр. 127.

⁹⁷ В. П. Волгин. Дидро и Энциклопедия. — В кн.: В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. М., 1958, стр. 102—130; Х. Н. Момджян. Мировоззрение Дидро и современность. — «Вопросы философии», 1963, № 12, стр. 68—80; J. Proust. Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1963.

⁹⁸ О Гельвеции см., например: А. Keim. Helvetius, sa vie, son oeuvre. Paris, 1917; W. H. Wickwar. Baron d'Holbach, a Prelude to the French Revolution. London, 1933 (в данной монографии содержится, в частности, богатый фактический материал о взаимоотношениях Гельвеция и Гольбаха); Х. Н. Момджян. Философия Гельвеция. М., 1955; В. П. Волгин. Гельвеций. — В кн.: В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958.

нии его мировоззрения. Можно не сомневаться, что Гельвеций с должным пониманием отнесся, например, к менторскому внушению Вольтера о том, что «...гений познается в порыве к труду» и что «лентяи суть всегда посредственны во всех областях». Бесспорно, однако, и то, что тесная дружба с одним из наиболее выдающихся деятелей XVIII в. не помешала Гельвецию, который в начале 30-х годов стоял на позициях деизма, прийти в конце 30 — начале 40-х годов к материализму и атеизму⁹⁹. И все-таки деистические концепции Вольтера, по-видимому, способствовали тому, что разработке собственно атеистических идей, отрицанию бытия богов Гельвеций уделил меньшее внимание, чем, скажем, Гольбах или Дидро.

Жан Мелье в переписке Гельвеция и Вольтера появляется впервые лишь в 1763 г., т. е. пять лет спустя после выхода в свет произведения «Об уме», в котором материалистическая философия и социально-политические воззрения Гельвеция выступают как вполне сложившиеся. В сочинении «О человеке», изданном после смерти автора, в 1773 г., мы не встретим принципиально новых теоретических положений, хотя свои социально-политические взгляды Гельвеций здесь излагает более развернуто, чем в произведении «Об уме»¹⁰⁰. Значит ли это, что Мелье никакого влияния на формирование мировоззрения Гельвеция не оказал? Приведем некоторые данные, которые не позволяют ответить на этот вопрос утвердительно.

Как уже отмечалось, дружеские отношения Вольтера и Гельвеция возникли в середине 30-х годов XVIII в., т. е. в то время, когда в распоряжении Вольтера была рукопись «Завещания». Вполне возможно, что Вольтер познакомил с ней и Гельвеция, не исключено также, что, заботясь о сохранении деистического целомудрия своего юного друга и подготавливая деистическую переделку «Завещания», Вольтер предпочел скрыть от Гельвеция «ужасное сочинение» атеиста, революционера и утопического социалиста Мелье. Бесспорно, однако, что антиклерикализм «Завещания» опосредованно, через Вольтера, оказал значительное влияние на формирование материализма и атеизма Гельвеция. Мы уже говорили, что антиклерикализм Вольтера, питавшийся, в частности, антирелигиозной критикой «Завещания», является одним из идейных истоков французского материализма и атеизма восемнадцатого века. Гельвеций, благодаря личным дружеским связям с Воль-

⁹⁹ Х. Н. Момджян. Философия Гельвеция, стр. 98.

¹⁰⁰ Ср. В. П. Волгин. Гельвеций.— В кн.: В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в., стр. 172.

тером, имел возможности чаще, чем другие, обращаться к этому источнику, испытывая его благотворное влияние.

Как видим, если косвенное влияние «Завещания» Мелье на Гельвеция несомненно, то о его прямом знакомстве с этим произведением мы можем говорить только предположительно. Однако размышления над письмами Вольтера Гельвецию от 1 мая и 26 августа 1763 г. делают такое предположение достаточно правдоподобным. «Мне прислали, — писал Вольтер, — два извлечения из Жана Мелье. Правда, это написано стилем извозчицъей лошади, хотя и ловко лягается! И какое же это свидетельство священника, который перед смертью просит прощения в том, что учил людей нелепым и ужасным вещам! Какой ответ на трюизмы фанатиков, имеющих наглость утверждать, что философия есть лишь плод либертинства»¹⁰¹. Во втором письме Вольтер упоминает «извлечение из завещания» несчастного священника Жана Мелье в числе антирелигиозных книг, «появляющихся одна за другой», которые «не продаются», а из рук в руки передаются «надежным людям»¹⁰². В обоих письмах Вольтер не объясняет Гельвецию, кто такой Мелье, он просто сообщает своему другу об «извлечении из Жана Мелье», об «извлечении из завещания» «несчастного священника Жана Мелье». Создается впечатление, что и имя Мелье и его «Завещание» было известно Гельвецию до 1763 г. От кого и когда он узнал об этом впервые? Возможно, от самого Вольтера еще в конце 1735 — начале 1736 гг.

Связь Гельвеция с творческим наследием Мелье можно проследить и по другой линии. Известно, что кроме рукописи «Завещания» Жан Мелье оставил свои рукописные заметки на полях принадлежавшей ему книги Фенелона «Трактат о существовании бога». Во Франции в XVIII в. распространились не только рукописные книги «Завещания» и «Извлечения». Изготавливались и циркулировали своеобразные «копии популярной книги Фенелона» «Трактат о существовании бога» с заметками Жана Мелье¹⁰³. В этих заметках Мелье выступает как материалист, идентифицирующий природу и материю, внутренним свойством которой он считает движение. Одной из таких «копий» владел Гельвеций. На экземпляре книги Фенелона, хранящейся в Национальной библиотеке¹⁰⁴, имеется следующая надпись: «Эта книга была мне пере-

¹⁰¹ J. Meslier. Le Testament. vol. 1, p. LXI.

¹⁰² Там же, vol. 1, p. LXII.

¹⁰³ Об этих заметках см., например: Ch. Nodier. Op cit.

¹⁰⁴ Библиотечный номер: Д34, 916.

дана г. Делароком, который взял ее у Гельвеция»¹⁰⁵. Никто из специалистов не оспаривает эту надпись.

Еще одна линия связывает Гельвеция и Мелье. Гельвеций был одним из самых близких друзей Гольбаха. По своим исходным положениям их материалистическая философия и социально-политические взгляды очень близки¹⁰⁶. Гельвеций принадлежал к числу тех немногих лиц, от которых у барона Гольбаха не было тайн, от которых он не скрывал свои атеистические взгляды и литературную деятельность¹⁰⁷. Как уже отмечалось, Гольбах познакомился с рукописью «Завещания» в конце 50-х — начале 60-х годов. У него не было никаких оснований скрывать ее от своего друга и единомышленника Гельвеция. Нет никаких сомнений, что Гельвеций читал заметку о Мелье, опубликованную Гриммом в «Литературной корреспонденции» в октябре 1763 г. Домманже обращает наше внимание и на то, что Гельвеций в качестве генерального откупщика налогов совершил путешествие по Шампани и мог там впервые услышать о Жане Мелье¹⁰⁸.

Подведем некоторые итоги. Гельвеций знал о Мелье и о его рукописном «Завещании». Он владел экземпляром книги Фенелона «Трактат о существовании бога» с пометками Мелье, в которых кюре из Шампани кратко излагал свои материалистические воззрения. То, что Гельвеций познакомился с рукописью «Завещания» в начале 60-х годов XVIII в., не может вызвать серьезных сомнений. Не исключено, однако, что сочинение Мелье стало известно Гельвецию еще в 30—40-х годах, когда оно впервые попало в руки Вольтера.

Во всяком случае в то время, когда Гельвеций работал над своим вторым основным произведением («О человеке»), ему было известно о «Завещании» Жана Мелье. Как говорит сам автор, принципы труда «О человеке» расширены и углублены... по сравнению с «Книгой об уме»¹⁰⁹. Это замечание особенно справедливо в отношении его социально-политических воззрений. Мы и воспользовались этим произведением, чтобы на примере Гельвеция показать воздействие идей «Завещания» Жана Мелье на некоторые высказывания энциклопедистов о частной собственности, о королевской

¹⁰⁵ «Le livre m'a été donné par M. de la Roch qui le tenait d'Helvetius».

¹⁰⁶ В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке, стр. 171.

¹⁰⁷ Ю. Я. Коган. Атеизм Гольбаха.— В кн.: П. Гольбах. Письма к Евгению. Здравый смысл. М., 1956, стр. 27.

¹⁰⁸ M. Dommanget. Op. cit., p. 420.

¹⁰⁹ К. А. Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и воспитании. М., 1935, стр. 1.

власти, о допустимости народной революции против деспотического несправедливого правления. Эти высказывания содержат некоторые элементы, противоречащие буржуазному в целом мировоззрению энциклопедистов и являются важным связующим звеном между французским материализмом и утопическим социализмом XVIII в.¹¹⁰

Если мы сравним атеистические и некоторые социально-политические взгляды Дидро¹¹¹ и Мелье, то мы обнаружим в них значительные черты сходства¹¹², подобно сходству атеистических идей Мелье и Гольбаха, а также некоторых черт социально-политических воззрений Мелье и Гельвеция. Кроме этого, Дидро и Мелье роднит сочувствие главы энциклопедистов к строю общности, наличие в его мировоззрении элементов, посягающих на священный для буржуазии принцип частной собственности.

Каковы идейные истоки этого сочувствия Дидро к строю общности? В. П. Волгин отметил, что «в конце 60-х годов Дидро имел возможность познакомиться с коммунистическими и анархическими идеями ... Дешана. Не только общее настроение, но и некоторые детали в «Добавлении к путешествию Бугенвиля» Дидро напоминают о соответственных описаниях в «Базилиаде» Морелли...»¹¹³.

Х. Н. Момджян, касаясь этого вопроса, подчеркнул, что «Дидро был знаком с историей социалистических идей. Он не мог не знать об утопическом коммунизме Жана Мелье»¹¹⁴. Все факты знакомства с рукописью «Завещания» других представителей французского Просвещения подкрепляют это важное положение. О рукописи «Завещания» Жана Мелье знали Вольтер, который в 40—50-х

¹¹⁰ Подробней см.: Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 119—124.

¹¹¹ О Дидро см., например: В. П. Волгин. Дидро и Энциклопедия.— В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958; И. К. Луппол. Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения. М., 1958; Х. Н. Момджян. Атеизм Дидро.— Д. Дидро. Избранные атеистические произведения. М., 1956; его же. Мировоззрение Дидро и современность.— «Вопросы философии», 1963, № 12; C. Avezac-Lavigne. Diderot et la société du baron d'Holbach. Paris, 1875; A. Billy. Vie de Diderot. Paris, 1948; H. Diecman n. The abbe Meslier and Diderot's Eleuthéromanes.— «Harvard Library Bulletin», 1953, p. 231—235; H. Diecman n. Cinq leçons sur Diderot. Genève—Paris, 1959; J. Proust. Diderot et l'Encyclopédie, Paris, 1962.

¹¹² Этот вопрос разработан в монографии Жака Пруста.— См.: J. Proust. Op. cit., p. 276—279, 282, 285—288, 298, 300, 305, 314, 318, 483—486.

¹¹³ В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке, стр. 110. Проблему об отношении Дидро к Дешану выделяет в своей монографии и Домманже (см. M. Dommanget. Op. cit., p. 421).

¹¹⁴ Х. Н. Момджян. Мировоззрение Дидро и современность.— «Вопросы философии», 1963, № 12, стр. 77.

годах был еще в близких отношениях с Дидро, Гельвецием и Гольбахом; Даламбер — коллега Дидро по редактированию «Энциклопедии» и один из завсегдатаев салона Гольбаха; Лакондамен — один из сотрудников «Энциклопедии»; Мальзерб — покровитель Дидро и всех просветителей; Grimm — личный друг Дидро; наконец, Гольбах и Гельвеций. Можно ли представить, что все эти люди предпочли скрыть от Дидро произведение кюре из Шампани? Не исключено, что Вольтер и, возможно, Даламбер имели для этого основания. Оба они были сторонниками деизма и считали «Завещание» Мелье опасным произведением. Вольтер не остановился перед тем, чтобы с помощью литературной подделки «заставить» Мелье проповедовать деистические взгляды, а Даламбер даже «Извлечение» Вольтера считал слишком опасным сочинением, «могущим ослепить невежд»¹¹⁵.

Подобных оснований не было ни у Гольбаха, ни у Гельвеция — друзей и единомышленников Дидро. Как мог Дидро не читать заметки о Мелье, помещенной Гриммом в «Литературной корреспонденции» в октябре 1763 г.? Дидро был связан с Гриммом не только узами личной дружбы, но и сотрудничеством в «Литературной корреспонденции». Выше уже отмечалось, что с рукописью «Завещания» был знаком Жак Андре Нэжон, который с 1765 г. тесно связал свою жизнь с Дидро и Гольбахом. С этого времени он их секретарь, соавтор, организатор изданий их произведений, преданный товарищ, первый биограф и библиограф.

Все эти факты свидетельствуют, что Дидро действительно не мог не знать о рукописи «Завещания». Это знакомство произошло не позднее начала 60-х годов XVIII в., когда рукопись «Завещания» стала известна в салоне барона Гольбаха. Вопрос о времени знакомства Дидро с «Завещанием» Мелье требует дальнейших исследований. Следует, однако, отметить, что в произведениях и письмах Дидро, опубликованных к настоящему времени, Мелье прямо не упоминается. Прав Домманже, который указывает, что надо ждать полного издания переписки Дидро, чтобы узнать, было ли им когда-либо написано это имя. Итак, весьма вероятно, что сочувствие Дидро строю общности и его отрицательное отношение к принципу частной собственности берут свое начало среди многих других возможных источников, и в знакомстве с «Завещанием» Мелье. Эти высказывания Дидро содержатся в «Добавлении к путешествиям Бугенвиля»¹¹⁶, в письме Дидро Софи Волан¹¹⁷, в статье Дидро

¹¹⁵ См. Г. С. Кучеренко. Указ. соч., стр. 49—77.

¹¹⁶ Д. Дидро. Сочинения и письма в 10-ти томах. М., 1937—1947, т. II.

¹¹⁷ Там же, т. X, стр. 164.

«Законодатель», помещенной в XVI томе «Энциклопедии». Их изложение и анализ содержатся в уже упомянутых статьях В. П. Волгина и Х. Н. Момджяна.

Еще в XVIII в. творческое наследие Жана Мелье вызвало ненависть феодально-клерикальных кругов. Один из самых дерзких вольнодумцев середины XVIII в. Дюлоран был привлечен к суду священной инквизиции, в частности, за то, что его заподозрили в авторстве анонимной брошюры «Избранные мнения Жана Мелье»¹¹⁸.

В 1779 г. анонимно был издан «ученый» труд, направленный против Гольбаха и косвенно против Мелье. Эта книга называлась «Нездравый смысл, или автор «Здравого смысла», изболоченный на всех страницах в оскорблении здравого смысла и нормального рассудка»¹¹⁹. Автор заданя неблагодарной целью опровергнуть строка за строкой сочинение Гольбаха, апеллируя то к авторитету священного писания, то к вере добронорядных католиков. Книга изболучает злыми ругательствами по адресу материалистической философии XVIII в., так как ее автор ничего, кроме брани, не мог противопоставить неуязвимой логике «Здравого смысла», а тем самым — и «Завещания» Мелье.

Прямая враждебная критика «Завещания» исходит от известного деятеля клерикальной реакции Делиль де Салья, который в 1789 г. опубликовал девяти томную «Философию природы»¹²⁰. Этот обширный труд представляет собой попытку развенчать французский атеизм и материализм XVIII в., опорочить его наиболее выдающихся представителей, укрепить авторитет христианской религии и церкви. «Философия природы» Делиль де Салья является, на наш взгляд, наиболее значительным литературным памятником клерикальной реакции на французское Просвещение. Один из разделов шестого тома этого произведения называется «Об атеизме». Четвертая глава раздела посвящена характеристике «самых знаменитых атеистов». Среди них из французов Делиль де Саль упоминает Мелье, Ламеттри, Булаше, Мирабо (последнего на том основании, что под его именем Гольбах опубликовал свою «Систему природы»).

Заметки Делиль де Салья о Мелье — своеобразный прообраз и кладезь мудрости всех клерикально-реакционных выпадов против

¹¹⁸ Б. Ф. Поршнев. Указ. соч., стр. 14.

¹¹⁹ L'Anti-bon-sens ou l'auteur de l'ouvrage intitulé le Bon sens, convaincu d'offenser le Bon sens et la saine raison à toutes les pages». A Liege, 1779.

¹²⁰ Delisle de Sale. De la philosophie de la Nature, ou traité de morale pour le genre humain, tiré de la philosophie et fondé sur la Nature. 9 vols. Londres, 1789.

«Завещания» и его автора. Делиль де Саль предстает здесь достойным духовным отцом Лашевра и Маршала¹²¹. Эта заметка невелика по объему, никогда, по нашим данным, не воспроизводилась в литературе о Мелье, поэтому мы приведем ее лишь с незначительными сокращениями.

«В Шампани жил священник безупречных нравов, он был стойким и каждый год отдавал беднякам излишки своих доходов; неверующим на него указывали как на образец священнослужителя; он умер в 1733 г., стали искать его завещание и нашли очень большую рукопись, на обертке которой было следующее обращение к прихожанам: «Я видел и познал ошибки, заблуждения и преступления людские. Я возненавидел их. Я не осмелился сказать об этом при жизни, но я скажу об этом умирая. Пусть этот мой труд служит свидетельством истины». Найденную рукопись раскрыли и с удивлением прочитали в ней наивную и грубую критику всех догм, которые он проповедовал в течение двадцати лет: его цель состояла в том, чтобы сокрушать всякую религию, в том числе религию природы...

Жан Мелье никогда не был моим героем, хотя некоторые и похвально отзываются о его личной жизни. Благородный человек, который сомневается в своем культе, никогда не станет священником и не будет в течение 20 лет проповедовать догмы, которые ему кажутся абсурдными. Благородный человек не будет всю жизнь лицемерить, чтобы после смерти называться философом (если только исходить из предположения, будто философами являются лишь те люди, которые лишают человека его бога и его морали)»¹²².

Итак, в глазах Делиль де Салья Жан Мелье — один из «самых знаменитых французских атеистов», который ставил своей целью «сокрушить все религии», в том числе «религию природы», и стремился лишить людей «их бога и их морали».

Уже одно это доказывает, что автору «Философии природы» был известен полный текст «Завещания» Жана Мелье. И еще доказательство: Делиль де Салью известна «очень большая рукопись» завещания и даже надпись на бумаге, в которую был завернут один из экземпляров этой рукописи. Важно еще раз подчеркнуть, что ярый враг материализма и атеизма Делиль де Саль ставил Жана Мелье в один ряд с Ламеттри, Буланже, Фрере, Гольбахом — наиболее знаменитыми антирелигиозными писателями своего времени.

¹²¹ F. Lachevre. Op. cit.; J. Marchal. L'étrange figure du curé Meslier. 1664—1729. Essai de profil psychologique. Charleville, 1957.

¹²² Delisle de Sale. Op. cit., vol. 6, p. 168—169.

Заметка о Мелье в «Философии природы» свидетельствует, что к 1789 г. «Завещание» уже широко известно и что моральный авторитет Жана Мелье был чрезвычайно высок. Против этого авторитета и направил свой главный удар Делиль де Саль, противопоставляя Мелье абстрактному «благородному человеку», обвиняя его в лицемерии, клеветнически утверждая, что труд Мелье «лишает людей морали».

Итак, «Завещание» Жана Мелье еще в XVIII в. подвергалось прямым и косвенным атакам со стороны защитников церковной идеологии, которые противопоставляли атеистическим идеям и аргументам «Завещания» цитаты из священного писания, злобную ругань и попытки представить кюре из Шампани лицемером, неблагородным и аморальным человеком.

К сожалению, нам не удалось отыскать иных свидетельств критики Мелье из лагеря клерикалов и реакционеров¹²³. Однако приведенные данные показывают, что дальнейшие изыскания в этом направлении могут быть весьма многообещающими и еще более полно вскроют роль Мелье в истории французского материализма XVIII в.

¹²³ О критике идей просвещения реакционерами см.: K. Schnelle. *Aufklärung und klerikale Reaktion*. Berlin, 1963.

УЧЕНЫЙ И ЕГО БИБЛИОТЕКА В XVIII ВЕКЕ

(Книги неперменного секретаря Академии наук,
члена Академии г. Безье
Жана Жака Дорту де Мэрана)



Д. Рош

Является ли библиотека отражением личности ее владельца? На этот вопрос зачастую можно ответить утвердительно. Индивидуальный характер, сообщенный библиотеке ее хозяином, может быть обнаружен историком, так как любое собрание книг раскрывает вкусы, интересы, увлечения и даже причуды. Историк в состоянии чутко уловить то внутреннее побуждение, которое некогда заставило владельца библиотеки не только прочесть ту или иную книгу, но и сохранить ее в своем собрании¹. Перечисленные в тщательно составленном торговом каталоге или в беглой и неумелой описи имущества, классифицированные опытным книжным экспертом или слабо разбирающимся в книгах клерком, эти давно прочитанные книги рассказывают сегодня об очень многом. Конечно, они потеряли часть той жизни, которой они, казалось, жили в упорядоченной коллекции своих прежних владельцев, но взамен они обрели другую жизнь, совершенно непохожую, но интересную и еще до конца не изученную.

Книги старых библиотек рассказывают о большой и сложной судьбе идей в обществе. Они характеризуют не только индивидуальные, но и общественные взгляды и вкусы. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность в выводах. Следует помнить, что изучение старинных книг имеет скорее относительное, чем абсолютное значение. Оно дает не столько точные сведения, сколько возможности для сравнения. Результаты такого исследования ценны скорее в сопоставлении с данными о других библиотеках,

¹ См.: «Livre et Société dans la France du XVIII-e siècle». Paris, 1965 (A. Dupront. Postface).

чем сами по себе. Недостаточно подсчитывать книги, необходимо еще поразмыслить об их удивительной или, наоборот, обычной судьбе².

Напрашивается следующее соображение. Обращаясь к чисто количественной описи какой-либо библиотеки, мы имеем дело с перечнем книг, которыми владел ее хозяин, но не можем судить, какие из этих книг он действительно прочел. Однако не следует забывать, что само по себе обладание книгой уже свидетельствует о вкусах ее владельца, ибо «прежде, чем приобрести книгу, надо было выбрать ее из множества других»³. Найти в собрании то или иное сочинение — значит обнаружить какой-то этап его истории.

Бросается в глаза и другое обстоятельство. Любая библиотека имеет свою историю, всякое собрание подвержено неприятностям, смерть собственника может обречь книги на безразличное к ним отношение или сделать их жертвой жадности наследников и торговцев. Ценность некоторого числа книжных сокровищ может затмить остальные книги, представляющие меньший интерес, и печально отразиться на их судьбе.

В нотариальных описях мы находим много примеров такого корыстного или равнодушного отношения к культурному наследию. Инвентаризованные оптом дешевые романы, широко распространенные молитвенные книги, брошюры и тексты, не имеющие рыночной стоимости, красноречивы только своим количеством. Вкусы наследников или невежество человека, производящего инвентаризацию, могут оказаться непреодолимым препятствием на пути исследователя.

Однако иногда ученым помогает случай.

20 февраля 1771 г. умер в Лувре бывший непрременный секретарь Академии наук Жан Жак Дорту де Мэран⁴. 19 июля 1771 г. его наследница по завещанию г-жа Жоффрен пустила в продажу 3400 томов его библиотеки. Так как других наследников у Дорту де Мэрана не было, библиотека, каталог которой был составлен книжным магазином «Вдова Барруа и сын», была продана оптом за 18 тысяч ливров⁵. Почему знаменитая хозяйка философского

² См.: A. Dupront. Op. cit., p. 213—215.

³ Там же, стр. 213.

⁴ «Mémoire de Bachaumont», t. V, p. 24. «Этот академик, известный во всем научном мире Европы, в возрасте 91 года почувствовал боли в желудке... Это вызвало серьезные опасения за жизнь старика, но все обошлось... Вечером 20 февраля 1771 г. де Мэран скончался в возрасте 94 лет. Он всегда вел размеренный образ жизни...»

⁵ Каталог библиотеки Дорту де Мэрана, изданный в 1771 г. в Париже, насчитывает 198 стр. Секретарь Академии г. Безье г-н Рос любезно одолжил мне его, и я пользуюсь случаем поблагодарить его.

салона решила продать библиотеку? Быть может, ей показалось обременительным это громоздкое наследство или библиотека не заинтересовала ее в силу своей научной специализации? Во всяком случае благодаря этому обстоятельству до нас дошли полные сведения о составе библиотеки Дорту де Мэрана.

Из мемуаров Башомона мы узнаем, что Дорту де Мэран был достаточно знаменитой личностью, для того чтобы его книги привлекли внимание на аукционе. Сам факт, что покупатель пожелал приобрести все собрание целиком, достаточно говорит о ее ценности. Это была библиотека одного из самых выдающихся людей мира науки и литературы, известного в национальном масштабе, а также в масштабе всей Европы, и современники не хотели, чтобы такая библиотека перестала существовать как единое целое. Поэтому ее исследование приобретает особое значение.

Библиотека является образцом коллекции, собранной в течение трех четвертей века — с тех самых пор, когда молодой провинциальный ученый приезжает в Париж, до момента его смерти. Бодрый и жизнерадостный старец, каким рисуют его мемуары Башомона, ведущий размеренный образ жизни, но всегда активный и общительный, он приобретал книги всю свою жизнь и прекратил читать их только тогда, когда пришла смерть. В 1771 г. он еще успел приобрести только что появившуюся работу аббата Нолле об искусстве опытов.

Первый шаг к изучению библиотеки напрашивается сам собой: надо проследить, как хронологически формируется библиотека, восстанавливая если не основные этапы ее создания, то по крайней мере основные слои ее состава в зависимости от дат издания, указанных на 97% работ⁶. В результате мы получим кривую, которая покажет нам не только в общих чертах, но и с достаточно мелкими подробностями типичную для того времени культурную эволюцию ученого — ее объем, место, которое занимают в ней знания, унаследованные от предшествующих поколений и, наконец, имеющиеся в ней пробелы.

Книги, полученные в наследство от родителей, не должны занимать в его библиотеке значительное место. В самом деле, если у молодого Дорту де Мэрана и была семейная библиотека (а у нас нет об этом никаких сведений), то, переезжая в Париж, он, конечно, взял с собой только интересующие его книги. Хотя Мэран и

⁶ Из 3367 работ только для 85 (т. е. 2,9%) дата издания не установлена. Для книг на латинском языке этот процент несколько выше — 3,5%.

был очень долго, практически до конца жизни, связан с Безье⁷, он стал настоящим парижанином, и его библиотека говорит более о влиянии столицы, чем о влиянии провинции. Если библиотека и свидетельствует о каких-то семейных традициях, то только о тех, которые отвечали его личным интересам и склонностям.

Итак, мы можем разделить книги, входящие в состав библиотеки, на несколько категорий. Мы в состоянии также определить, какое место занимают в каждой из этих категорий книги, изданные в том или ином крупном книгоиздательском центре. Если нанести эти данные на карту, мы получим своеобразную «индивидуальную географию» каждой книги, причем, их перемещения покажут нам культурные связи в мире Просвещения. Место издания установлено для 86% всех книг, вероятность ошибок минимальна.

Деление на большие категории⁸ и обычные рубрики не мешает провести, кроме того, и дополнительный раздел между книгами на латинском языке и на разговорных языках. У Дорту де Мэрана было 1200 книг на латинском языке и некоторое количество на греческом. Активное участие в научной жизни своего времени совершенно не означает отказа от традиций. Надо лишь уточнить, о каких традициях идет речь. Необходимо также учитывать книги на иностранных языках. Задачей данного исследования как раз и является попытка определить культурные вкусы и научную ориентацию Дорту де Мэрана, а также установить соотношение между книгами, содержащими старые, традиционные знания, и произведениями, находящимися на уровне последних достижений века. Может быть, это исследование основано на несколько более точных данных, чем это обычно бывает. Хотя мы и не можем установить, было ли некоторое число книг расхищено до продажи, все же положительным фактором в этом отношении является относительно короткий срок, прошедший с момента смерти Дорту де Мэрана до продажи его библиотеки: около 3400 работ были тщательно каталогизированы, а каталог отпечатан и пущен в продажу — и все это менее, чем за 4 месяца. Отсутствие прямых наследников, а также каких бы то ни было следов чисто любительской классификации также говорит за то, что коллекция сохранила свою целостность. Торговая стоимость собрания должна была возрасти пропорционально гарантии сохранности, вероятно, известной до продажи.

⁷ См.: «Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers. Deuxième série», t. II. Béziers. 1860 (далее — «Bulletin...»). *Lettres inédites de Mairan à Bouillet. Notice de M. Camp*, p. 8, 9.

⁸ В данной статье мы пользуемся категориями, разработанными для книг XVIII в. в уже упоминавшемся сборнике «*Livre et société dans la France du XVIII-e siècle*».

Соблюдая осторожность в выводах, мы тем не менее можем считать, что сведения, которые дает нам изучение этого собрания, позволяют судить об интересах данного человека, а через него — в какой-то мере и общества. Дать описание книг Дорту де Мэрана — это, возможно, означает также «обнаружить» часть той «идеальной библиотеки», о которой мечтали ученые и писатели XVIII в.

Кем был Дорту де Мэран? Почти полное его забвение сегодня контрастирует с той популярностью, которой он пользовался в свое время⁹. Достаточно хорошо известна его карьера, но намного меньше — он сам и его мысли¹⁰. А между тем его интеллектуальный и общественный путь заслуживает внимания¹¹. Интересно также посмотреть, каким было его материальное положение, позволившее ему приобретать книги и на протяжении 60 лет создать такую библиотеку.

Прежде всего Мэран — провинциал, уроженец Лангедока, а его судьба — это судьба многих провинциалов. Он родился в 1678 г., и в те времена ничто не предвещало его парижской карьеры. Он принадлежит к одной из тех буржуазных семей, которые медленно, но неуклонно поднимались по социальной лестнице. Его семья является одной из самых старинных в г. Безье, а это означает, что, согласно традиции, начиная с XVI в. из нее выходит большое число нотариусов, прокуроров, адвокатов и советников в гражданском и уголовном судах. В конце XVII в. отец Жана Жака Дорту был адвокатом, владельцем дворянских земель — сеньории и фьефа; в силу этого, возможно, он получил дворянство¹². Д'Озье во всяком случае отмечает, что он претендовал на дворянские привилегии. Правда, нам неизвестно, как сам Дорту де Мэран относился к этому вопросу. Мы знаем только, что он дорожит «дворянским добавлением» к своему имени; вынужденный продать имение Пюи де Мэран, он делает требуемые обычаем оговорки, позволяющие ему по-прежнему называться «де Мэран»¹³. Следовательно, в социаль-

⁹ Библиографические сведения о Дорту де Мэране см.: «Biographie Universelle Michaud», t. 26; «Dictionnaire des Lettres Françaises». Paris, 1951; «Le XVIII-e siècle», t. 2; «Grande Encyclopédie», t. 22.

¹⁰ См.: Abbé Sabatier. Eloge de Dortous de Mairan. Montpellier, 1868; E. Camp. Eloge de Dortous de Mairan. Béziers, 1860; B. J. Duboul. Dortous de Mairan. Mémoires de l'Académie de Bordeaux. Bordeaux, 1862.

¹¹ См.: A. Ros. Communication à la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers (рукопись, любезно предоставленная мне автором).

¹² A. Ros. Op. cit., p. II—III.

¹³ Письмо Буйе от 16 июня 1730 г.: «Я забыл вчера поговорить с вами об имени Пюи де Мэран, которое я пишу и под которым известен. Само собой разумеется, что я не собираюсь от него отказываться после продажи земель, носящих то же название...» («Bulletin...», p. 189).

ном плане этот человек занимает промежуточное положение между «служилой» буржуазией и мелким дворянством. Эти факты заслуживают упоминания, однако не надо преувеличивать их значение. В 16 лет, оставшись круглым сиротой, он покидает Безье, чтобы отправиться в Тулузу и Париж. В столице Лангедока он получает гуманитарное образование, в столице королевства, приблизительно в 1698 г., начинает изучать математику и естественные науки. Мы ничего не знаем об условиях его учебы. Но, может быть, здесь уместно напомнить, что его семья была протестантско-го вероисповедания, что в конце XVII в. она перешла в католичество и что поэтому он пользуется покровительством монсеньера Руссо, епископа Безье¹⁴, который видел в нем не только молодого прилежного сироту, но и сына гугенотской семьи, вернувшейся в лоно церкви.

К Безье его привязывают не только семейные и дружеские связи, но и необходимость управлять своим имуществом. Семья Мэрана имеет дом в городе, небольшой участок земли под названием Трезорьер, часть которого называлась Пюи де Мэран, и ферму в Сесеноне¹⁵. Дорту де Мэран никогда не будет выглядеть бедняком. У него есть имущество, незначительное конечно, но достаточное, чтобы обеспечить ему после смерти его матери регулярные доходы. Это мелкий собственник, который аккуратно платит налоги¹⁶, заботится о своих «рантье» и беспокоится о судьбе своих оливковых деревьев¹⁷. Но вместе с тем чувствуется, что он не слишком стремится к приумножению своего состояния. Он вовсе не гордится тем, что владеет землей, и не испытывает особой привязанности к своим владениям, в которых никогда не живет и от которых избавится как только сможет. «В этих делах я ничего не понимаю... Я предпочитаю десять раз сходить на улицу Сен Жак за книгами для Вас, чем два раза — к приказчикам и банкирам»¹⁸. Мэран — это ученый, интеллигент, для него денежные вопросы не имеют особого значения. «200 ливров больше или меньше не составят большой разницы для моего состояния, как бы невелико оно ни было»¹⁹.

Конечно, Мэран отнюдь не сорит деньгами. Наоборот, он, кажется, чудесно соединяет практицизм, унаследованный от буржу-

¹⁴ См.: A. Ros. Op. cit., p. III—IV.

¹⁵ См.: E. Camp. Op. cit.; A. Ros. Op. cit., p. IV—V.

¹⁶ Lettre de Mairan à Bouillet, 17.II 1737.— «Bulletin...», p. 171.

¹⁷ Lettre de Mairan à Bouillet, 20.V 1734 et 17.II 1737.— «Bulletin...», p. 140, 171.

¹⁸ Lettre de Mairan à Bouillet, 4.VI 1726.— «Bulletin...», p. 73.

¹⁹ Lettre de Mairan à Bouillet, 17.II 1737.— «Bulletin...», p. 171.

азной семейной традиции, с несомненным великодушием и своего рода сознательным стремлением к скромности в быту. Неудобно владеть имуществом, находящимся в двухстах лье от хозяина, и Мэран не хочет, чтобы арендаторы, пользуясь этим, его обманывали. Но он не алчный человек и не желает также слишком сильно притеснять своих должников. Когда ему не хватает денег, он пишет Буйе ²⁰: «Я прошу Вас ни с чем не торопиться и никого не затруднять, чтобы прислать мне то, что мне причитается. Какую бы нужду в деньгах я ни испытывал, я, может быть, легче смогу выйти из положения, чем те, на кого Вы будете давить...» Известны и его многочисленные акты милосердия ²¹.

Любопытно, что при этом несомненно бескорыстии финансовые дела в его переписке с Буйе занимают значительную часть: более чем в восьмидесяти письмах из ста говорится о деньгах. Однако в большинстве случаев речь идет не о его собственных интересах, а об интересах его друга ²².

Дорту де Мэран — человек скромного достатка. Совершенно невозможно подсчитать его доход и определить точную сумму его состояния, но можно попытаться все-таки составить об этом какое-то представление. Он получает пенсию академика порядка 1000 ливров и пособие от казначейства, приблизительно в 900 ливров ²³, унаследовал ренту в 90 ливров с налогов и пошлин Монпелье, которую получал довольно нерегулярно ²⁴. Из письма Буйе от 20 мая 1734 г. явствует, что у него была рента с городской ратуши Парижа ²⁵. Таким образом, начиная с 1720 г. он получал в общей сложности доход по крайней мере в 2000 ливров. К этому прибавляется около 800 или 1000 ливров, получаемых от земельных рент, которые служили обычно для уплаты налогов и повинностей ²⁶. В 1729 г. он продает свое имущество в Сесеноне, а в 1739 г. — Трезорьер. Совершенно несомненно, что Мэран твердо

²⁰ Цит. по: E. Camp. Op. cit., p. 13.

²¹ Lettres de Mairan à Bouillet, 5.I 1764 et 28.IV 1765.— «Bulletin...», p. 212—213, 220.

²² В Париже Мэран получал для Буйе пособие, которого последний добился от королевской казны, и на эту сумму он ему покупал интересующие его книги. В Безье Буйе вел дела Мэрана, собирал ренту, контролировал «рантье», фермеров, и когда Мэран продавал свою собственность, то Буйе осведомлялся о возможных покупателях (см., например, письмо от 30.IV 1729 г.— «Bulletin...», p. 108).

²³ Lettre de Mairan à Bouillet, 20.II 1727.— «Bulletin...», p. 74.

²⁴ Lettre de Mairan à Bouillet, 3.VIII 1730.— «Bulletin...», p. 13.

²⁵ Lettre de Mairan à Bouillet, 20.V 1734.— «Bulletin...», p. 140.

²⁶ Lettres de Mairan à Bouillet, 3.VIII 1730, 20.V 1734, 30.IV 1729, 17.II 1737.— «Bulletin...», p. 108, 171.

намерен избавиться от всех хозяйственных дел, требующих от него постоянных трудов и забот. «Мое намерение — освободиться, насколько это для меня возможно, от всякого бремени и затруднений»²⁷, — пишет он Буйе в связи с процессом, который начиная с 1725 г. ведут против него жители общины Сесенона. Отказавшись от своих прав на получение пошлины, из-за которой велся этот процесс, он с удовлетворением напишет: «Я освобожусь от *тяжкого бремени*, хотя одновременно *очень большого богатства...*»²⁸ Продавая свои ренты и земельные владения, Мэран заботится главным образом о том, чтобы приобрести как можно большую свободу, хотя и проявляет при этом определенный практицизм²⁹. Но вместе с тем не сказывается ли здесь смутное понимание того факта, что богатство земельного собственника и жизнь ученого несовместимы? В этом смысле очень показательны, что в цитированном выше письме от 1730 г. понятия «тяжкое бремя» и «большое богатство» поставлены рядом.

Необходимо также напомнить, что в доходах Дорту де Мэрана значительное место занимают побочные заработки. Известно, что ему покровительствуют регент и принц де Конти, которые поручали ему официальные миссии; в частности, в 1721—1722 гг. он должен был посетить западные порты и определить, какой метод измерения емкости является наилучшим. Наконец, канцлер Агессо назначил его одним из руководителей «Газеты ученых» (*Journal des Savants*)³⁰. Если прибавить к этому доходы, получаемые от его произведений, то видно, что его материальное положение было совсем неплохим.

Что означало это жизненное благополучие? Несомненно, в данном случае речь идет не столько о финансовом процветании, сколько о свободе от материальных трудностей, об интеллектуальной независимости. Социально-экономическая позиция Дорту де Мэрана весьма характерна для ученых Франции в XVIII в. Мэран — это не Бюффон, не Лавуазье и не какой-либо другой выдающийся ученый. Положение Мэрана — это средний случай иллюстрирую-

²⁷ Lettre de Mairan à Bouillet, 30.IV 1729. — «Bulletin...», p. 108; A. Ros. Op. cit., p. IV.

²⁸ Lettre de Mairan à Bouillet, 3.VIII 1730. — E. Camp. Op. cit., p. 13.

²⁹ Lettre de Mairan à Bouillet, 30.IV 1729. — «Bulletin...», p. 108.

³⁰ Довольно трудно определить, какое жалованье получал он на этом посту. Чтобы составить об этом некоторое представление, можно вспомнить, что аббат Арно и Сорель, возглавлявшие «Gazette de France», получали на этом посту 3000 ливров (см. «Mémoires de Bachaumont», t. 1, p. 143). Вопрос о доходах деятелей культуры — один из наиболее сложных и важных для социальной истории XVIII в.

щий зависимость ученых от сильных мира сего. Это «полубогатство» сопровождается безразличием к материальным мелочам и несомненной филантропией, возможной, может быть, только потому, что он унаследовал от своих родителей средний достаток. Но то, что достаточно для провинции, недостаточно для Парижа, и разницу приходится получать от правительства или от меценатов из аристократии³¹.

В конечном счете именно разрыв с первоначальной средой позволил Мэрану утолить свой «книжный голод» эрудита и ученого. Продав недвижимое имущество, этот «необычный» парижанин не вложил полученные деньги снова в землю или тем более в ренту. Деньги нужны Дорту де Мэрану только для того, чтобы жить ни в чем не нуждаясь и чтобы покупать книги и научное оборудование, составляющие часть его жизни. Постоянная переписка, которую он поддерживает более пятидесяти лет со своим другом Буйе, в этом плане очень показательна.

Буйе поручает ему покупать за его счет в парижских магазинах книги, которых нельзя найти в Безье. Письма Мэрана — прекрасное свидетельство циркуляции книг между столицей и научными кругами провинции. Как видно при сравнении этой переписки с каталогом библиотеки Мэрана, парижанин обычно посылает провинциалу те произведения, которые он уже приобрел для себя. По этим письмам мы можем восстановить картину повседневного быта парижской книжной торговли того времени и ее роли в обществе. Мы можем также проследить по ним изо дня в день интеллектуальную связь между двумя учеными. «Я был у Кавелье, который является единственным книгопродавцом, получившим из Англии «Оптику» г-на Ньютона и продавшим много экземпляров этой книги в Париже. Сейчас у него ее больше нет. Он мне сказал только, что должен получить эту книгу, и она уже в дороге. Я куплю ее, как только она появится, и направлю Вам путем, который сочту наиболее быстрым, так как я вижу, что Вы хотите получить ее как можно скорее. Я имею в виду второе издание этой книги, в котором дополнительно рассматриваются несколько проблем, в том числе делаются предположения о силе тяготения. Я полагаю, что Вы не захотите иметь первое издание. Впрочем, они не слишком сильно отличаются друг от друга, и я могу Вам обо всем подробно рассказать, так как 4 или 5 месяцев тому назад г-н Ньютон прислал эту работу в Академию наук, и именно мне

³¹ Такое покровительство могло быть в какой-то степени косвенным. Например, Мэран продает свой Сесенон принцу Конти, а не жителю Безье. Возможно, Конти хотел тем самым оказать ему услугу.

поручено изучить ее и сделать о ней доклад»³². Этот выразительный и во многих отношениях интересный текст показывает особое отношение к книгам: их ждут, разыскивают, за ними охотятся, испытывают постоянную страсть к книгам, и в то же время они являются рабочим инструментом и проводником знаний. Некоторое время спустя Мэран преподносит Буйе экземпляр долгожданной книги. Даже спустя 45 лет «то же самое нетерпение» охватывает двух друзей, теперь уже в ожидании астрономии Лаланда. «Думаю, что первый том уже издан и что второй, который в настоящее время подготавливается, вскоре выйдет. Я предполагаю, что это будет прекрасная книга, я сегодня же буду говорить с ним об этом, а пока, по обыкновению, посылаю это письмо»³³.

Каждый год Дорту де Мэран покупает для Буйе на 100—300 ливров книг или научного оборудования у книгопродавцов и парижских торговцев³⁴. Это относится в первую очередь к 1720—1740 гг., времени наиболее оживленной перелиски³⁵. Особенно интересно отметить, что в некоторые годы вся пенсия Буйе идет на книги и оборудование. Логично предположить, что Дорту де Мэран мог затрачивать на покупку книг и инструментов более значительную часть своих доходов. Если он начиная с 1700 г. ежегодно тратил на них не менее 300 ливров, то его библиотеку и его коллекции следует оценить в 21 тыс. ливров. А продажа одной только библиотеки без коллекций и научного оборудования дала 18 тыс. ливров. Традиционное «похвальное слово», произнесенное его преемником по Академии, гласило: «Он унаследовал небольшое состояние и смог полностью посвятить себя науке». Быть может, в данном случае это утверждение ближе к истине, чем обычно думают.

Среди ученых и писателей того времени (в так называемой «литературной республике») существует круг профессионалов, положение которых приближается к положению Мэрана. Это труженики литературы и науки, заполняющие парижские высшие научные учреждения, особенно Академию наук и Академию надписей, которые работают в исследовательских коллективных учреждениях, например Королевской библиотеке, Королевском ботаническом саду, позднее — хранилище хартий. Иногда они руководят научны-

³² Lettres de Mairan à Bouillet, 26.XII 1719 et 12.IV 1729.— «Bulletin...», p. 29, 30.

³³ Lettre de Mairan à Bouillet, 6.VI 1764.— «Bulletin...», p. 215.

³⁴ «Следовательно, я Вам должен 500 ливров, которые будут возмещены теми покупками, которые я для Вас здесь сделал...» Lettres de Mairan à Bouillet. 18.IX 1732, 20.V 1734, 10.II 1728.— «Bulletin...», p. 88, 127, 140.

³⁵ 76 писем из 98 написаны в 1720—1740 гг.

ми журналами и литературными газетами. Некоторые преподают в коллежах, на факультетах или в семьях знати. Все они рассчитывают на пенсии и пособия от правительства. Для них наука и литература — профессии. Лично их мало кто знает, известны только их работы. Эти рядовые армии знаний заслуживают того, чтобы социология проявила к ним интерес. Показательно в этом отношении замечание, сделанное Мопгтескье в письме к президенту Барбо от 1742 г.: «Для Реомюров и Мэранов естественные науки примерно то же, что для субарендатора — земельный участок»³⁶. Богатые дилетанты из дворянства, знаменитости парижской и провинциальной литературы смотрят не без высокомерия на каждодневных тружеников науки. Вопрос о том, какое социально-экономическое положение занимают те, кто называет себя людьми умственного труда, является одним из наиболее важных для изучения среды, в которой находят распространение идеи Просвещения³⁷.

Наука, образование, литература являются зачастую не столько профессией, сколько способом заработать на жизнь или средством сделать карьеру. С их помощью скорее добиваются более высокого социального положения, чем больших заработков³⁸. Ученому не подобает вести жизнь бедняка, но большие доходы тоже имеют положительные и отрицательные стороны. Положительные — это несомненная свобода, ибо доходы ученого позволяют ему улучшать условия своей работы. Отрицательные заключаются в том, что свобода мыслить и работать сопряжена с подлинной зависимостью³⁹ от правительства и сильных мира сего и влечет за собой жадность к постам и пенсиям, которая проглядывает, например, в мемуарах Башомона.

Таким образом, парижская карьера провинциала Мэрана довольно типична. Продвижению в Париже способствуют его успехи в провинциальных академиях. Он трижды награжден академией г. Бордо — в 1715, 1716, 1717 гг. В 1718 г. он вступает в научное общество г. Бордо, с которым поддерживает постоянные связи⁴⁰. Немного спустя, он становится членом Академии наук⁴¹. В 1719 г. Мэран назначен геометром, получающим жалованье. В 1740 г. он соглашается заменить Фонтенеля на посту секретаря академии, по

³⁶ Цит. по: P. Barrière. L'Académie de Bordeaux. Bordeaux, 1951, p. 38.

³⁷ См.: A. Dupront. Op. cit., p. 223.

³⁸ См.: J. Proust. Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1964.

³⁹ «Удовольствие, которое мне доставила последняя милость г-на Регента...» (см. Lettre de Mairan à Bouillet, 21.IX 1722.— «Bulletin...», p. 50).

⁴⁰ Там же, стр. 56—110; 225—350.

⁴¹ См.: P. Dorveaux. Les membres et correspondants de l'Académie Royale des Sciences 1666—1773. Paris, 1934.

в 1743 г. подает в отставку, потому что эти ответственные обязанности его обременяли. Высокая научная репутация позволяет Мэрану в том же году стать членом Французской Академии. Императорская академия Санкт-Петербурга, Королевские общества Лондона и Эдинбурга, Королевское общество г. Упсалы, Институт Болоньи и Руанская Академия заносят его в свои списки. Он завоевывает международную известность⁴². Для Вольтера он — «любезный философ»⁴³. Он посещает лучшее парижское общество. Г-жа Жоффрен, граф Кейлюс дорожат его мнением⁴⁴. Мэран встречается с г-ном Мальзербом и «несколько раз имеет честь обедать у принца Конти»⁴⁵. Корреспондент Мальбранша, друг Монтескье (несмотря на разногласия), соперник Бернулли — он пользуется неоспоримой известностью⁴⁶. Переписка, которую он ведет с Буйе, а также с просвещенными кругами г. Безье, представляет большую ценность для раскрытия глубоких привязанностей Мэрана и проблем, вставших перед ним в связи с его успехом в Париже.

Буйе, бесспорно, мечтает пойти по стопам своего старшего друга⁴⁷. Он просит Мэрана выяснить, можно ли устроиться в Париже, и Мэран сразу же берет на себя роль его советника и покровителя. Мэран никогда не будет стыдиться своей родины и своего происхождения. Обещание дружески помогать Буйе, как и научным кругам г. Безье, он дает в 1718 г. в одном из своих первых писем и никогда ему не изменит⁴⁸.

Тому есть много примеров. В 1721 г. Мэран дает советы Буйе относительно его книги о чуме в Марселе. В течение 40 с лишним лет он следит за его работами, исследованиями, успехами⁴⁹. Он ознакомит с работами своего друга парижские круги⁵⁰ и добьется

⁴² См.: A. Dupront. *Art et Société dans l'Europe du XVIII siècle*. Cours multigraphie. Paris, 1965—1966, p. 33 et suiv.

⁴³ «Voltaire's Correspondence» («Correspondance Générale de Voltaire»). Ed. Besterman. Genève, 1954... (Lettres N 208, 216, 556, 686, 1146, 1162, 1514, 1542, 1692, 2287, 2294, 2300, 2307, 2325, 2428, 3223, 3352, 3516, 3565, 8370, 9138, 11496). Всего 17 писем Вольтера Мэрану и 5 писем Мэрана Вольтеру. Мнение Вольтера о Мэране выражено в известной фразе: «...я не знаю никого, кто умел бы глубже изучить вопрос и лучше его изложить...»

⁴⁴ См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 19.XII 1764.— «Bulletin...», p. 219.

⁴⁵ См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 13.II 1764.— «Bulletin...», p. 214.

⁴⁶ J. Moreau. *Malesbranche correspondance avec Dortous de Mairan*. Paris, 1947.

⁴⁷ См.: Azaïs. *Op. cit.*, p. 5. Буйе родился в 1698 г.

⁴⁸ См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 5.IX 1718.— «Bulletin...», p. 23.

⁴⁹ Там же, стр. 23, 25, 34, 35.

⁵⁰ См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 6.VII 1722.— «Bulletin...», p. 48.

для него звания члена-корреспондента Академии наук⁵¹. Для Буйе и просвещенных кругов г. Безье он — живое воплощение их представлений об успехе в столпце. Мэран принял на себя роль вдохновителя, советника и покровителя. Для этого круга людей он в некотором роде олицетворяет далекие парижские инстанции. В области литературы и науки он также хлопочет по делам, связанным с интересами жителей Безье, как это делает епископ в сфере религиозных, а иногда и светских дел, и как делают это некоторые представители дворянства и администрации в юридических или гражданских вопросах.

Так, в 1722 г. Мэран вместе с Буйе и каноником Порталоном⁵² участвует в создании Академии в г. Безье. В Париже он старается получить необходимые патенты. В письмах к Буйе он так пишет о роли Академии⁵³: «Но, скажу Вам честно, я не думаю, чтобы было необходимо публиковать все эти мелочи⁵⁴, и я хотел бы, по крайней мере для начала, чтобы вновь основанная Академия г. Безье публиковала бы только все наиболее интересное и хорошо разработанное, так как репутация складывается из этих первых работ. Именно поэтому я не слишком тороплюсь с получением для вас патентов, ибо мне кажется, что их и так дают больше, чем следует. Что даст вам название «академия»? Сегодня все вокруг носит это название, и оно способно скорее навлечь на Вас насмешки, чем вызвать уважение, если только оно не основано на каком-либо серьезном открытии или работе, действительно достойной уважения. Зарекомендуйте себя в обществе и вы увидите, что вслед за этим и почетные звания и способные люди придут к вам сами собой, и принесут вам столько же уважения, сколько и пользы. Одним словом, я считаю, что надо отличаться от всех других академий, не делающих ничего или почти ничего и превращающих свою работу в пустую забаву, которую не следовало бы выставлять на обозрение широкой публики».

Внимательно наблюдая за возникновением множества провинциальных академий, Дорту де Мэран видит, в чем их назначение. Противопоставляя «пустые забавы» узкого мирка провинциальной элиты тому ожиданию научных открытий, с каким относилась к их работам «широкая публика» в самой Франции, а также во всей Европе, он указывает провинциальным академикам на их задачи.

⁵¹ См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 23.V 1722.— «Bulletin...», p. 43—46.

⁵² См.: Lettre de Mairan à Bouillet, 1.IX 1727.— «Bulletin...», p. 79—80.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Речь идет об астрономических и метеорологических наблюдениях, сделанных Буйе и членами Академии г. Безье.

Отказаться от прежних, слабых и часто неуклюжих, научных поползновений, прекратить поток пустых речей, выработать новый язык в науке, который будет иметь вес в глазах парижской научной элиты и правительства,— таковы условия успеха. Мэран не может дать своим друзьям из Безье гарантированного метода к достижению успеха, он может только указать на трудности, возникающие в связи с расширением сети академий и сложными отношениями между столицей и провинцией.

Дорту де Мэран знает, что для завоевания научной репутации недостаточно труда и способностей. Важнее всего поразить общественное мнение и отличиться, а для этого надо быть «полезным»; термин, который надо понимать не в узком смысле слова, а в смысле «сделать нечто для подлинного прогресса науки или искусства»... Неудача Академии Безье (которую официально признали только в 1766 г.), отказ правительства предоставить слишком молодому обществу право на существование хорошо вписывается в рамки поистине диалектических отношений между Парижем и провинцией. Окончательно преуспеть можно только в Париже, но сначала надо отличиться в провинции. Позиция Мэрана позволяет понять, как парижские научные круги и правительство стремились в какой-то степени использовать и направить в нужную сторону деятельность провинциальных ученых. Политические планы и возникновение новых идей идут здесь рука об руку. История Академии Безье является как бы «коллективным вариантом» истории Мэрана и Буйе.

В течение тридцати с лишним лет врач из Безье не отказывается от своих надежд на успех в Париже⁵⁵. Мэран терпеливо указывает ему на трудности, связанные с таким переездом, на невозможность получить без неоспоримого авторитета или очень сильной поддержки место в Академии, на то, что не следует менять определенное (выгодная медицинская практика в Безье) на неопределенное (завоевание парижской медицинской клиентуры или весьма проблематичное получение места в знатной семье или в официальном учреждении). Переписка Мэрана и Буйе показывает, насколько тяжелым был путь провинциальных талантов в Париже, каким зависимым и неопределенным является положение людей литературы и науки, выходцев из мелкой провинциальной буржуазии.

Социологическая картина всей этой среды ярко выступает под холодным и спокойным пером Мэрана, бесстрастно обрисовываю-

⁵⁵ См.: *Lettres de Mairan à Bouillet*, 2.X 1735, 25.II 1736, 20.IX, 19.XII 1764, 30.IV 1765.— «Bulletin...», p. 154, 159—160, 199, 219, 221.

щего постоянную борьбу, в которой складываются и рушатся репутации, где завоевывают и теряют места и покровительство. Одновременно свидетель и действующее лицо этой борьбы, Дорту де Мэран освещает в своих письмах каждодневную жизнь «литературной республики». Что же говорят его книги о нем, как об одном из представителей этой «республики»?

Библиотека Дорту де Мэрана дает возможность ответить на вопрос, имеющий большое значение: к каким источникам обращался представитель научного мира, чтобы приобрести нужные ему книги? По переписке с Буйе видно, что он почти ежедневно посещал книгопродавцов с улицы Сен-Жак, а по каталогу его книг можно установить имена не только книгопродавцов, но и издателей, как парижских, так и провинциальных, и тем самым — географию основных центров книгопечатания.

Очень долго принимали на веру утверждения судейских и полицейских чиновников того времени, а вслед за ними и историков что книги, изданные за границей, были все более и более многочисленными. Руссо так резюмирует впечатления современников в письме к Мальзербу: «Таким образом, можно сказать, что в каком-то отношении потребление происходит во Франции, а производство в Голландии...»⁵⁶. Это влечение к иностранным изданиям, которому благоприятствует практика французского таможенного контроля, так сильно, что французские издатели и торговцы в Париже, Руане, Лионе часто маскируют свой собственный товар, указывая на титульном листе фальшивое место издания — Голландию или Швейцарию⁵⁷. Известно также, что крупные амстердамские издатели Крамер и Рей составили состояние на французских книгах⁵⁸. Таким образом историк Ж. П. Белэн мог говорить, основываясь как на литературных сведениях, так и на свидетельствах частных лиц, о сокращении числа парижских изданий. Поль Азар и Даниэль Морнэ блестяще показали, как с конца XVII в. возрастает значение иностранных книг в интеллектуальной жизни Франции⁵⁹.

Изучение библиотеки Мэрана рисует в значительной степени иную, можно сказать, противоположную картину. Можно ли говорить о том, что подавляющее большинство книг было издано за границей, когда из 3400 томов приблизительно 1800, т. е. 62%, издано во Франции и 85% из этого числа — в Париже? Нам могут

⁵⁶ Correspondance Générale de J. J. Rousseau, ed. Dufour, Plan, t. V, p. 248 (5.XI 1760).

⁵⁷ J. P. Belin. Le commerce des livres prohibés à Paris. Paris, 1913, p. 38—39.

⁵⁸ См. там же, стр. 40—41.

⁵⁹ См.: Paul Hazard. La crise de la conscience européenne. Paris, 1935, p. 77.

возразить, что эти средние процентные данные характеризуют слишком большой период — с конца XV в. до третьей четверти XVIII в., и если сгруппировать изданные за это время работы по хронологическому и по тематическому принципам, то данные по этим группам могут сильно отличаться от только что приведенных.

Однако проверка по хронологическому принципу показывает, что речь идет о почти постоянной величине, так как указанное выше соотношение сохраняется, с незначительными изменениями, для всего периода 1500—1770 гг. (около 59% — до 1650 г., от 60 до 65% — с 1650 по 1770 г.). Библиотека Мэрана представляет собой в большей своей части собрание французских книг, иностранные же книги никогда не превышают 40% от общего количества. Среди этих последних более систематическое исследование дополнительно обнаружило бы «замаскированные» французские издания, особенно многочисленные в XVII—XVIII вв., и тем самым еще более подчеркнуло бы численный перевес книг, изданных в пределах французского королевства. Если мы учтем, что данная библиотека — это научная библиотека среднего масштаба (известны более богатые собрания, не говоря уже о каталогах книгопродавцов или библиотеках некоторых монастырей, похожих на современные публичные библиотеки), а данный человек, не являясь особенно крупной фигурой, был тем не менее типичным представителем «литературной республики», этот факт приобретает особое значение. Он вносит значительные поправки в гипотезу о наводнении французского книжного рынка иностранными книгами и о сокращении числа французских изданий.

Посмотрим теперь, подтверждаются ли эти сведения при группировке книг по тематическому принципу, ибо если в таких областях, как религия, история и юриспруденция, преобладание французских изданий над иностранными является вполне естественным, то философские и естественно-научные труды, а также периодика могут дать нам совершенно иную картину.

В самом деле, процент французских изданий является наиболее низким в области прессы — 52%: на 12 французских газет приходится 11 газет, изданных за границей, главным образом в Голландии. В этом Дорту де Мэран является подлинным сыном своего века. Новости «литературной республики», газеты, которые издает Леклерк в Амстердаме, де ля Рош — в Гааге, лейденский исторический журнал и т. д. — короче, все основные европейские периодические издания, так же как и крупные французские газеты — 93 тома «Журналь де Саван» («Газеты ученых») за 1665—1770 гг., «Меркюр», «Франс Литерер» — можно найти в его библиотеке. Мэран обильно черпал сведения из внушительного количества ев-

ропейских периодических изданий; интересно отметить, что из тридцати наименований газет и журналов, вошедших в его библиотеку, 74% было издано после 1700 г., и среди них нет ни одного неизвестного. Кругозор Мэрана обогащается лучшими источниками информации и поэтому целесообразно рассмотреть, есть ли какое-либо соотношение между составом его библиотеки и местом, отводимым каждой категории работ на страницах «Журналь де Саван», который, если и не публикует их, то дает по крайней мере их краткое резюме⁶⁰. В высшей степени любопытно отметить, что средний процент иностранных работ в его библиотеке более высок, чем среди книг, прорецензированных «Журналь де Саван» в 1715—1719 и 1750—1754 гг.: 48% к 44% и 20%⁶¹. Заслуживает упоминания также тот факт, что Дорту де Мэран покупал иностранные книги решительно по всем разделам науки, искусства и литературы того времени.

Процент книг, изданных во Франции, опускается ниже 50 только для книг по астрономии, среди которых примерно 14% издано в Германии, а на другие страны в среднем приходится 6%. Что касается всех других категорий, то доля французских изданий колеблется между 81% для книг по естественным и прикладным наукам и 54% — для книг по астрологии. Французские книги по истории достигают почти 70%, по праву и юриспруденции составляют 71%, по теологии — 52%, по политической экономии — 58%, по философии — 72%, по художественной литературе — 67%. В общем интересно заметить, что в библиотеке Мэрана иностранные названия занимают более значительное место в специализированных научных областях, имеющих старинные традиции, как математика, где они составляют 48%, в астрономии — 50%, чем в областях общей культуры или недавно появившихся разделах науки, как физика и химия, — 42%, или в естественных науках — 37%. Французский ученый Дорту де Мэран за весь период 1700—1770 гг. никоим образом не пренебрегает иностранными книгами, но более общие его интересы удовлетворяют главным образом национальные издания. Здесь появляется необходимость очень тонкого анализа содержания каждой категории. При рассмотрении такой важной категории, как естественные науки и искусства, занимающие первое место и среди книг и среди периодических изданий, средние цифровые данные имеют гораздо меньшее значение, чем детальные сведения, раскрывающие характерные склонности и конкретные

⁶⁰ J. Ehrhard et J. Roger. Deux périodiques français du XVIII-e siècle.— «Livres et société...», p. 33—59.

⁶¹ Там же, стр. 38—39.

интересы Мэрана. Ученый является, может быть, бóльшим космополитом, чем рядовой человек.

Французская и европейская карта изданий, содержащихся в библиотеке Мэрана, раскрывает также другие связи. Среди французских книг внушительное количество изданий утверждает несомненное первенство Парижа, как интеллектуальной столицы. Гораздо меньше книг издано в провинциальных городах, из которых одни имеют старинные издательские традиции (как Лион, Руан, Тулуза и Страсбург), а в других книжное дело играет роль если не вспомогательную, то по крайней мере маловажную. Среди них такие академические города, как Ла Рошель, Бордо, Дижон, Нанси, Оксер, Орлеан, Кан, Безье, Монпелье, Марсель, явно преобладают над другими. Поразительно, что «значительное» место — среди 260-ти провинциальных изданий — занимают книги из приатлантических районов Франции. Именно интерес Мэрана к математике, гидрографии, проблемам, связанным с морской техникой, заставляет его приобретать работы, издаваемые в Гавре, Бресте, Рошфоре и Бордо. Он также внимательно следит за научной литературой, выпускаемой на юге Франции. Издательская география — это география если не увлечений, то по крайней мере серьезных интересов. В пей находят место гуманитарные науки Лиона, медицина и естественные науки г. Монпелье, так же как математика и теология Страсбурга или атлантическое судоходство.

Что касается европейских изданий, то библиотека Мэрана (отражающая не только его личные интересы, но и традиционные научные связи) позволяет нам установить, где находились основные центры книгопечатания. На первом месте стоит Голландия (370 работ, т. е. 13% от общего числа книг), Амстердам занимает здесь господствующее положение (203 работы), затем следует Лейден (78), Гаага (75) и Роттердам (14). Преобладание книг, изданных в Объединенных провинциях, обнаруживается во всех областях, но главным образом в области теологии (18%), права (16%), философии (15%), истории (13%), в меньшей степени — в области естественных наук и искусства, где цифры колеблются между 5% для астрономии и 17% для специализированных видов искусств. Голландия — страна крупных юристов и крупных теологов, страна мореплавателей, конструкторов и гидрографов, инженеров и техников. Это также страна, широко издающая философские труды, написанные за границей. Естественные науки, физика, химия или астрономия здесь менее популярны. Расцвет голландского печатного дела затмевает небольшое количество книг, изданных в католических странах.

Остальные книги, изданные на европейском континенте, распределяются между тремя крупными географическими районами. Итальянские города дают 6%, сеть университетских и интеллектуальных центров Империи — 6%, Швейцарии — 5%. Города Северной и Восточной Европы составляют 0,4%, Испании — 0,1%.

Немецкие книги — это на три четверти естественно-научные труды (125 из 175). Таким образом, в отличие от того, что утверждают Фонтенель и Вольтер, Мэран вовсе не относится отрицательно к германской науке. Впрочем, итальянские книги в большинстве своем также научные (152 из 188). То же можно сказать и о швейцарских изданиях (из 139 книг 85 научных). Европейская библиотека Мэрана является научной библиотекой более чем на три пятых. К английским книгам, представленным изданиями Лондона, Оксфорда и Кэмбриджа, и к шотландским (Эдинбург и Глазго) он подходит с теми же требованиями. Ни одной английской книги по теологии, ни одной работы по юриспруденции, 10 книг по философии, 4 — по политическим наукам и 11 книг по истории — на 128 трудов по естественным и точным наукам из 153-х английских книг (5,3% всех изданий). Более половины естественно-научных трудов касается математики и физики. Таким образом, британская наука серьезно конкурирует с германской.

Исследуя в рамках данной библиотеки то, что можно условно назвать географией книг, мы обнаруживаем и ряд дополнительных сведений. Поражает тот факт, что мы встречаем здесь названия отдаленных городов, откуда книги получать не так легко. Это практически все крупные академические, университетские или издательские центры: Венеция, Рим, Болонья, Неаполь, Флоренция, Кёльн, Франкфурт, Вена, Нюрнберг, Берлин, а также Парма, Модена, Лукка, Тревиза, Реджжо, Писаро, Палермо и Марбург, Йена, Магдебург и, конечно, Гейдельберг, Тюбинген, Лейпциг и даже Санкт-Петербург и Прага. Будь то старые или современные книги, одно только перечисление городов, в которых они изданы, говорит о том, что широкий обмен книгами между отдаленными географическими пунктами был стойкой и постоянной традицией. Возможно, оно свидетельствует также о непрестанных усилиях Мэрана быть в курсе всех событий, происходящих в мире литературы и особенно науки. Наличие иностранных книг в библиотеке академика Мэрана в сочетании с французскими изданиями иностранных работ говорит об интернациональном единстве литераторов и ученых. Но этот интернационализм менее значителен в области права, теологии, истории и литературы. География же более «молодых» и современных естественных наук, гораздо шире, чем география старых отраслей знания.

О чем говорят все эти сведения — о личных склонностях или о влиянии среды? Известные исследования «Журналь де Саван» наводят на мысль, что речь идет скорее о вкусах данного человека, чем общества⁶². Но не сталкиваемся ли мы здесь в действительности с явлением совершенно иного характера? В 1703 г. Мэрану было 25 лет, его крепкое здоровье и долголетие позволяют ему пережить великий умственный переворот 50—60-х годов XVIII в. Таким образом, его библиотека свидетельствует в одинаковой мере как о его старых вкусах, так и о новых привязанностях. Это — человек XVII в. перед лицом эволюции XVIII в. Он обладает книгами своего времени, но ему присущи также интеллектуальные рефлексы и привычки прошлого, которые после 1750—1760 гг. в глазах «философов» новых поколений в гораздо большей степени являются историей, чем живой действительностью. Библиотека Цорту де Мэрана — прекрасный пример удивительного и волнующего явления: перехода от одной эпохи к другой.

Если распределить оставшиеся после его смерти 3400 книг по годам издания, можно легко увидеть, какое место занимало среди них культурное наследие прошлых времен, а какие — современные ему издания. Книги XVIII в., изданные в период 1700—1770 гг., составляют незначительное большинство — 53%, и 47% изданий, предшествующих 1700 г. Среди этих последних 9% было издано до 1600 г., 12% — до 1650 г., 22% — между 1650 и 1700 гг. Эти поиски старых книг показывают нам человека века Людовика XIV и наследника гуманистов. Хотя у Мэрана имеются редкие издания, редко встречающиеся у книгопродавцов с улицы Сен-Жак, он все же не является крупным библиофилом. Он не любит «книгу ради книги»; роскошных изданий в пышных переплетах и с великолепными иллюстрациями, которые высоко ценятся во все времена и за которыми охотились коллекционеры его эпохи, в его библиотеке нет.

Наличие среди книг по философии большого издания Сенеки, выпущенного в Базеле в 1515 г., в то время, когда уже появились четыре более поздних издания тех же самых произведений, означает, несомненно, нечто большее, чем простое любопытство библиофила; видимо, Мэран хотел иметь для работы один из больших текстов Эразма. Поставить на свои полки «*Harmonia Mundi*» Кеплера издания 1619 г., «*Dialogus systemate mundi*» Галилея издания 1641 г., «*Discours*» Амбруаза Паре издания 1581 г., большие базельские публикации Птолемея — все это нечто большее, чем любовь к редким книгам. Это — определенная интеллектуальная позиция, в которой ясно видно стремление постоянно обращаться к

⁶² J. Ehrard et J. Roger. *Op. cit.*, p. 39.

оригинальным текстам, к первоисточникам и вера в необходимость терпеливого сопоставления науки прошлого с открытиями настоящего. Книги, собранные Дорту де Мэраном, должны быть исследованы и в этом ракурсе, а для этого необходимо сравнить общее содержание его библиотеки с содержанием каждого из крупных хронологических разделов.

Здесь возникает новая проблема. В то время как «Журналь де Саван» показывает явное охлаждение читателей к латыни, поскольку процент работ на латинском языке, прорецензированных его редакторами, падает с 36% в период 1715—1719 гг. до 10% в 1750—1754 гг.⁶³ Мэран остается верным старинному «проводнику знаний»: 38% принадлежащих ему книг написано по-латыни; напомним, что большинство их было приобретено в период 1700—1770 гг. Расхождение между частным случаем и общей эволюцией очень четкое. Между прочим, речь идет не о посредственных работах, это подтверждают названия. Здесь — наиболее известные памятники литературы, а также науки XVI и XVII вв. Мэран, который пользовался репутацией эллиниста, в то время как в его библиотеке можно обнаружить очень небольшое количество книг на греческом языке⁶⁴, является во всяком случае латинистом в своей повседневной практике.

Для истории культуры важно отметить тот факт, что из 1300 книг на латинском языке 70% издано до 1700 г., а среди этих 900 работ 19% выпущено до 1600 г. Это самый высокий процент для книг XVI в., так как книги на разговорном языке едва достигают за тот же период 4%. Только 23% книг на латинском языке было издано в период 1700—1750 гг. и приблизительно 5% — в 1750—1770 гг. Эти данные свидетельствуют о том, что преданность Дорту де Мэрана латыни является выражением привязанности к старинным знаниям. Однако он вовсе не консерватор, он не восстает против культурной эволюции своего времени, в которую входит и мас-

⁶³ J. Ehrhard et J. Roger. Op. cit., p. 38. Можно задать себе вопрос, чью позицию отражает этот факт — читателей или издателей.

⁶⁴ У него есть «Альмагест» Птолемея на греческом языке, в издании 1538 г. Есть также одно издание на греческом языке Аристотеля, одно издание на греческом языке Плутарха. Можно предполагать, что более тщательное исследование названий и изданий позволит обнаружить среди книг, обозначенных в каталоге как латинские, несколько изданий на греческом языке. Мэран, несомненно, хорошо знает многих греческих авторов, особенно тех, чьи интересы в науке совпадали с его собственными, например Лукиана (три издания, одно из которых на греческом и латинском языках). Наконец, в области художественной литературы мы обнаружили около 20 греческих изданий. В целом, латинский язык преобладает над греческим (в библиотеке насчитывается не более 50 работ на греческом языке).

зовое сокращение латинских изданий, сменяемых изданиями на разговорном языке. Это человек, воспитанный в период, когда господству латыни не был еще нанесен удар, по-своему приспосабливается к новым условиям. В то время как издатели и французские и европейские ученые отходят от латыни, Мэран продолжает приобретать латинские книги, как старинные, так и новые, необходимые для его работы и расширения культурного кругозора. 27% его книг издано после 1700 г. и среди них находятся толстые книги немецких ученых, долго остававшихся верными латинскому языку, а также латинские издания, вышущие в Италии, Англии и Голландии.

Если, судя по газетным отчетам, одновременно с уменьшением числа латинских изданий возрастала роль литературы на разговорных языках, то в библиотеке Мэрана мы такой картины не наблюдаем. Это — французская библиотека. Не более 60-ти работ на итальянском языке, около 20-ти — на английском, единственная работа на испанском подтверждают, что ни один из иностранных языков не конкурирует с французским. Опять-таки не потому, что Мэран относится враждебно к распространению знаний при помощи других языков. Просто у него нет в этом деле практики. Как и все ученые первой половины XVIII в., он сталкивается с тем, что значение национальных языков как средства передачи знаний возрастает, и, чтобы быть в курсе всех событий мировой науки, он старается прибегать к французским переводам, если не может найти того или иного труда на латинском языке. В одном из писем, адресованном Буйе, мы находим следующую фразу: «Вы очень хорошо сделали, что выучили английский, принимая во внимание обилие книг на этом языке. Я тоже взял несколько уроков английского языка, но весьма неприятно в преклонном возрасте лишать словарь. Тем не менее я могу пользоваться книгами по физике и математике»⁶⁵.

Вот почему в его распоряжении имеются шесть изданий «Оптики» Ньютона, одно из которых — на английском языке, три издания — на латинском и два — на французском. К ним присоединяются «Уроки по оптике», изданные на французском языке в Лондоне. Весьма часто по интересующим его вопросам он покупает издание на национальном языке и его перевод на французском. Физика Ньютона представлена в его библиотеке семью изданиями, два из которых женеvские и одно — французское. Он присоединил к этому «*Il newtonism per le dame*», выпущенный Альгаратти в Неаполе, а также «*Il saggio della filosofia d'Isaac Newton*», переведен-

⁶⁵ Lettre de Mairan à Bouillet, 11.IX 1737.— «Bulletin...», p. 178.

ную с английского в 1733 г. в Венеции. Распространение разговорных языков приводит к расширению культурного горизонта и кладет конец одиночеству, в котором, казалось, пребывали работы на латинском языке. Отныне книги сопровождаются переводами, среди которых французские занимают первое место. Именно они обеспечивают распространение современной книги. Парадоксальным образом устранение удобного некогда международного средства распространения идей не повлекло за собой ограничения культурных горизонтов каждой страны национальными рамками. Напротив, в результате этой эволюции смогло произойти более правильное и более глубокое знакомство с каждой культурой и каждой страной. Постепенно эпоха переводчиков приходит к смене эпохе латинистов, и библиотека Мэрана показывает нам самое начало этого процесса. При внимательном ее исследовании представляется даже, что резкое уменьшение роли латыни в повседневной практике ученых шло медленнее, чем в практике книгопечатания. Быть может, это изменение в значительной степени обусловлено превращением французского языка в универсальный язык литературы и дипломатии.

Для подтверждения данного факта необходимо, конечно, задать вопрос, являлись ли латинский и французский языки носителями одной и той же культуры. Тотчас же захочется ответить отрицательно, опираясь на обычное доказательство, связывающее латынь с интеллектуальными интересами прошлого, с грузом традиций, тяготеющих над теологией, правом и юриспруденцией, а также отчасти некоторыми другими отраслями знания, например медициной. Но в действительности эта схема не совсем верна. Для Мэрана, в частности, имеет мало значения, написана книга на французском или на латинском языке, главное, чтобы она отвечала его интересам. Именно это основное направление его библиотеки показывает ее количественный анализ.

Из 3400 книг приблизительно 65% составляют труды по естественным наукам и искусству. К этой категории относятся 72% книг на латинском языке и 62% — на разговорных языках. Книги по теологии, праву, художественной литературе и по истории составляют только 35% библиотеки (соответственно 5, 1, 13, 7%), а периодические издания — всего 1,3%. В этом важном вопросе библиотека Мэрана отражает и даже опережает основную тенденцию XVIII в. В самом деле, исследования Ф. Фюре, а также Ж. Эрара и Ж. Роже⁶⁶ показали, что на всем протяжении XVIII в.

⁶⁶ См.: F. Furet. La librairie du Royaume de France au XVIII-e siècle.— «Livre et société», p. 18—19, 23—24; J. Ehrard et J. Roger. Op. cit., p. 51, 54.

доля естественных наук и прикладных знаний во французской книжной продукции неуклонно возрастала, не превышая, однако, вплоть до 1784 г. 40%. Таким образом, данный раздел библиотеки Мэрана заслуживает особенно тщательного изучения. Это позволит нам проследить сложную взаимосвязь между культурным уровнем человека, занятого повседневной научной работой, и культурным уровнем эпохи.

Прежде всего необходимо отметить два важных факта. Первый — это то, что культурные интересы Мэрана не зависят от лингвистических средств. Процент работ на латинском языке почти тот же, между 38 и 43%, идет ли речь о книгах по праву, художественной литературе, о философии или естественных науках. Он опускается до 30% только тогда, когда речь идет о теологии, и до 27% — для книг по истории. Личные вкусы и, может быть, современный характер культуры пренебрегают языковыми условностями.

С другой стороны, процент книг по естественным наукам и искусству одинаков, независимо от времени издания. 66% составляют работы, изданные в период 1600—1650 гг., 71% — работы, опубликованные в период 1650—1700 г., 70% — книги пятидесяти первых лет XVIII в. и 72% — труды, появившиеся в 1750—1770 гг. Этот процент не опускается ниже 54% в период 1500—1600 гг. Незначительное уменьшение компенсируется увеличением числа книг в области художественной литературы. Таким образом, в библиотеке Дорту де Мэрана вся длительная история естественных наук и искусства и их огромный подъем в эпоху Просвещения объединены в единое целое. Культура человека науки формируется в процессе изучения достижений прошлого в избранной им сфере. При этом в глазах ученого, осваивающего культурное наследство, первоначальное значение той или иной работы может сильно измениться. Книга XVI-го, гуманитарного века, труд XVII-го, картезианского века в одно и то же время могли быть для Мэрана носителями старых научных представлений, отправным пунктом критических размышлений и орудием пересмотра научной проблемы. Однако необходимо не забывать также о том, что восприятие такой значительной части культурного наследия свидетельствует о несомненной широте взглядов. Член сообщества ученых и писателей своего времени, Дорту де Мэран стремится быть и наследником длительной истории человеческой культуры; он — воспитанник прошедшей эпохи и одновременно наблюдатель и участник событий настоящего. Поэтому его библиотека, в которой перекрещиваются многочисленные темы и разные эпохи, показывает нам различные, но связанные между собой стороны его личности. Мэран

предстает перед нами как ученый, просто как добросовестный и любознательный человек, как философ и как христианин.

Большое количество принадлежащих ему научных книг (1541 — почти половина, а в действительности даже больше, если принять во внимание академические сборники и научные журналы) говорит о том, что самым главным для него была его деятельность как ученого. Его интересы группируются вокруг четырех основных полюсов: астрономия, физика, математика и науки о природе. Эти разделы охватывают 68% книг по естественным наукам и искусству. Книги по астрологии и алхимии, традиционно подсчитываемые вместе с научными книгами, составляют меньше 1% (около пятнадцати работ). Почти полное отсутствие работ по химии, хотя основные труды в этой области и представлены в библиотеке⁶⁷, выражает несколько недоверчивое и осторожное отношение к той отрасли знания, которая полностью преобразуется только после 1770 г. Все говорит в пользу рационализма Мэрана. За некоторыми исключениями граница между рациональным и иррациональным мышлением ясно видна в выборе его работ. Несомненное преобладание трудов, постоянно применяющих математику, со всей очевидностью доказывает, что он придавал большое значение точности научного метода⁶⁸. Такого рода детали показывают, что эта рационалистическая позиция, опирающаяся на чрезвычайно разнообразную и глубокую культуру, приводит к постоянному стремлению применить данные науки к практической деятельности.

Многие считали, что в мире, заново осмысленном Ньютоном, Мэран придерживался устаревших картезианских воззрений. Его библиотека показывает необходимость если не полного пересмотра данного суждения, то по крайней мере нового прочтения его произведений и во всяком случае более тщательного анализа его интересов как ученого-физика⁶⁹. Все, что имеет отношение к физике, не ускользает от его внимания. Он, если и не все прочел, то по крайней мере собрал и просмотрел основное в этой литературе — от античной космогонии до сборников, дающих результаты по-

⁶⁷ В общей сложности около тридцати книг. Сюда входят работы Лемюа, Барона, Бюхнера, трактаты Малуена, Боме, Крю. Но нет сочинений Шталаля, Кирвана.

⁶⁸ См.: R. Lenoble. La représentation du monde physique à l'époque classique.— «XVII-e siècle». Paris, 1956, p. 5.

⁶⁹ Работы по физике распределяются следующим образом. Общие труды — 113, трактаты о Вселенной — 50, элементы небесной механики, работы о движении, метеоритах, вакууме — 63, трактаты о движении Земли — 28, об электричестве — 22, оптике — 73, динамике и статике — 83, акустике — 15.

вейших экспериментов. Да, он читал Декарта и, конечно, читал со страстным увлечением, так же, как и других философов-картезианцев, ибо картезианство в дни его молодости было еще широко распространенным философским течением⁷⁰. У него есть главные произведения Гюйгенса и работы Рюо в оригинальном издании 1671 г. и в издании, прокомментированном Мак Лореном. Но наряду с трудами видных картезианцев и их эпигонов у него имеются все значительные произведения Ньютона, причем во многих изданиях. Еще более показателен тот факт, что в его библиотеке есть все материалы, касающиеся тех споров, которые вели друг против друга в течение всей первой половины XVIII в. сторонники и противники обеих систем. Тут и опровержение Ньютона Банньером, и опровержение опровержения, написанное Лантене, и «Основы философии Ньютона» Вольтера, и трактаты Фонтенеля, и «Основы физики» мадам дю Шатле. Есть даже символический «Мирный договор» между Декартом и Ньютоном, опубликованный в Авиньоне в 1752 г. Одним словом, он не упускает буквально ничего из этой области. Физика аббата Молле, книги по электричеству, размышления о происхождении Вселенной, Декарт и Ньютон, теория и опыты, большие трактаты и мелкие произведения — все входит в состав его библиотеки. Если он защищает Декарта (по крайней мере, в своих первых работах)⁷¹, то не для того, чтобы отгородиться от своей эпохи устаревшими идеями и книгами. Библиотека Мэрана неопровержимо свидетельствует о распространении самых разнообразных идейных течений в кругах Академии наук.

Как математик и астроном он ничего не изобрел, но и в этих областях он собрал все основные работы. Нет ни одной важной проблемы в математике, которая не была бы представлена несколькими трудами. В своей работе Мэран прежде всего использует математику, поэтому у него есть не только необходимые труды общего характера, но сверх того и все, что касается математики прошлого. К справочникам по математике и истории математики⁷² он присоединяет философские работы, касающиеся математических проблем⁷³, а также все старые и новые трактаты. Как и в физике,

⁷⁰ См.: R. A. Watson. The downfall of Cartesianism. La Haye, 1966.

⁷¹ Чтобы иметь суждение о более позднем периоде его деятельности, необходимо изучить труды Мэрана, написанные в то время, когда он был уже членом Академии наук.

⁷² Например: Ozanam. Dictionnaire de Mathématique. Paris, 1691, Savarien, 1753; C. Beughe m. Bibliographia Mathematica. Amsterdam, 1688; Montucla. Histoire des Mathématiques. Paris, 1758.

⁷³ De Crousaz. Réflexions sur l'utilité des Mathématiques. Amsterdam, 1715; Hagen. Méditations sur la méthode mathématique. Nuremberg (en latin), 1734.

значительное место отведено науке эпохи Возрождения. Здесь представлены все крупные труды математиков XVI и начала XVII в. — О. Фине, Раме, Тартальи, Виета, Пеллетье, Виатора, Анриона, Кардано. Представлена также и античность — трудами Аристотеля, шестью изданиями Архимеда, восемью изданиями элементов Эвклида, одно из которых переведено на английский язык, пятью изданиями «Commentaires sur les côniques» Аполлония Пергамского. Как видим, Мэран проявлял интерес к истории развития математических знаний. Кроме того, создается впечатление, что он считал необходимым постоянно обновлять свои знания во всех отраслях математики⁷⁴. Он внимательно следит за развитием геометрии, математического анализа, теории вероятностей. Только по проблемам дифференциального и интегрального исчисления в его библиотеке более пятидесяти работ: трактаты Саверьяна, Ньютона⁷⁵, чья теория флюксий представлена дважды, Меувентига, Крэга, Эйлера, Крузаса, Вивиани, Бугенвилля. О конических телах он собрал более пятидесяти основных работ. Наконец, его интересует широкая область практического применения математики — планиметрия, практическая геометрия, финансовые расчеты. В частности, у Мэрана имеется шесть работ по расчетам процентов и тарифов, а также рассуждение о применении теории вероятностей к расчетам страхования⁷⁶. Учебники для землемеров, трактаты о методах измерения объемов (вспрос, в котором он был специалистом), исследования в области нивелировки несомненно свидетельствуют о его тесной связи с практикой. Здесь также четко проявляется мечта об обществе, в котором наука играла бы первостепенную роль. Известно, что члены Академии наук нередко брали на себя ответственность за выполнение ряда официальных миссий, так же как и за некоторые консультации по общественно важным вопросам⁷⁷. Неудивительно, таким образом, что среди книг по физике находятся сборники, сообщающие сведения об устройстве различных машин, о технических приспособлениях мастера-флейтиста из

⁷⁴ Работы по математике подразделяются следующим образом: общие труды, словари и т. д. — 14, старинная математика — 19, современная математика, общие положения — 70, арифметика и алгебра — 56, дифференциальное и интегральное исчисление — 54, геометрия, общие положения — 47, трактаты о линии и круге — 38, тригонометрия и логарифмы — 37, конические сечения и кривые — 44, прикладная математика — 30.

⁷⁵ Newton — *Analyses par quantum*. Londres, 1711; *Méthode des fluxions* (non traduit). Paris, 1736; *Méthode des fluxions* (traduit). Paris, 1749.

⁷⁶ D e r a r s i e u x. *Essai sur les probabilités de la vie humaine*. Paris, 1746.

⁷⁷ В 1721 г. он вместе с Вариньоном рекомендовал новый метод измерения объемов, который и был принят, несмотря на сопротивление комиссара Морского флота Деланда.

Вокозона, об опытах барометрических и термометрических измерений, о гидравлических приспособлениях в Италии и Голландии.

С этой точки зрения очень показателен анализ книг по астрономии. Их — 292 работы. Половина из них освещает проблемы теории, а другая половина посвящена применению теоретических знаний на практике⁷⁸. Мэрану-астроному, наблюдающему Вселенную, необходимы не только специальные инструменты, но и таблицы, записи наблюдений, небесные атласы, статьи по астрономии. Книги показывают нам человека терпеливых и точных наблюдений, расчетов и раздумий. Несомненно, Мэран — один из тех постоянных наблюдателей за ночным небом, которых было немало в век Просвещения и кому эти ночные бдения давали пищу для серьезных научных размышлений. Он интересовался всеми проблемами — планетами, кометами, солнцем, луной, звездами, по каждому вопросу у него были подобраны и старые книги и лучшие из современных⁷⁹. Можно сказать, что в его библиотеке представлена вся история развития астрономии: здесь и книги Птолемея — астрономические афоризмы, географические произведения, книга о сфере; здесь и выдающиеся памятники астрономической революции XVI и XVII вв. — Тихо Браге («*Astronomiae instauratae mechanica*» в Нюрнбергском издании 1602 г., а также в издании Ураниборга 1610 г.), Коперник («*De Revolutionibus Orbium Coelestium*» в Базельском издании 1566 г.), Кеплер (три издания его фундаментальной работы о движении планет — «*L'Astronomia nova*»), Галилей (полное собрание сочинений в издании г. Болоньи, появившееся в 1656 г., и оригинальное издание Саджиаторе на итальянском языке)⁸⁰, Гассенди (два издания «*Institutio Astronomica*»); здесь, наконец, основные труды по современной астрономии — Эйлера, Клеро, Даламбера, Монниси, Лаланда. Все эти книги свидетельствуют о стремлении Мэрана осмыслить Вселенную. Но чрезвычайно любопытно, что такого рода теоретические труды перемешаны с работами о практическом применении астрономии, знаменующими крупные этапы в развитии мореплавания или производства часов. Отдаленный отзвук концепции Платона о микро- и

⁷⁸ Труды по астрономии распределяются следующим образом: общие работы (учебники, пролегомены, трактаты о сферах) — 88, трактаты о планетах — 24, о солнце и луне — 26, о кометах — 20, о звездах — 18, отчеты о наблюдениях, небесные атласы, памятные записки — 56, работы по применению астрономических сведений к навигации — 34, к часовому делу — 28.

⁷⁹ Например, о кометах у него были труды Кеплера, Декарта, Бернулли, Пти, Клеро и др.

⁸⁰ У Мэрана имеются также два издания «*Dissertatio cum galilali*» Кеплера (Прага, 1620, и Франкфурт, 1611).

Макрокосме, это взаимопроникновение теории и практики, несомненно, прекрасно соответствует социальным функциям ученого эпохи Просвещения. Речь идет не только о том, чтобы создавать астрономические теории, но и о том, чтобы лучше вооружить человека для покорения мира... Измерение времени, умение делать квадраты и часы, искусство мореплавания, морская астрономия, умение определять долготу⁸¹ — все свидетельствует об этом.

Вера в науку, желание добраться до сути вещей и иметь в своей библиотеке основные работы по каждой специальности видны и при исследовании книг по естествознанию и медицине: 171 работа по естественной истории, зоологии и ботанике, по геологии и минералогии и около 200 работ по медицине⁸². Среди них — издания и переиздания древних авторов — Плиния, Галека, Гипократа, Авиценны. Труды современников⁸³ — Линней, Бюффон, Мальпиги, Жоффруа, Реомюр, Бонне, Гаруси, Спаланзани, Мопертюи, трактаты Боерхаава, Астриюка, Ширака, Бартеса, «Элементы физиологии» Галлера, Гельвеций, Лиото — составляют собрание, от которого не отказался бы настоящий специалист в этой области⁸⁴. Некоторые работы, например, работы Гельвеция, Мопертюи, Уортона и Виллиса, показывают, что Мэран интересовался этими вопросами не как любитель. Исключительное место, отведенное этим трудам, соответствует одной из основных тенденций века⁸⁵.

Когда Мэран начал составлять научную библиотеку, у него были, по-видимому, три побудительных мотива: иметь представление о научных достижениях прошлого (процент научных книг, изданных до 1650 г., колеблется между 11% — для естественных наук и 28% для математики), быть на уровне науки своего времени (т. е. периода 1650—1771 гг.) и собрать воедино описание разного рода технических приемов и методов, которые могут найти непосредственное применение на практике (в результате этого стремления чисто теоретические труды окружены в его библиотеке внушительной «свитой» из работ утилитарного характера). Книги Дорту де Мэрна в какой-то степени отражают настоящий исторический гуманизм естественных наук, глубокая связь которых со

⁸¹ Только по одной этой проблеме в библиотеке Мэрана есть десяток работ.

⁸² Естественная история и общие трактаты — 23, ботаника — 23, геология и минералогия — 76, зоология — 49, медицина — 145, анатомия — 30, фармацевтика — 20.

⁸³ Книгопродавцы обычно объединяли в своих каталогах книги по анатомии и физиологии с книгами по медицине. Подробное исследование показывает, что Мэран проявлял интерес к вопросам, особо волновавшим научные круги того времени (как, например, вопрос о магнетизме и др.).

⁸⁴ Сюда входят и труды верного друга Буйе: учебник медицины и книга о чуме.

⁸⁵ J. Ehrhard et J. Roger. Op. cit., p. 44.

всей историей человеческой культуры не мешает их применению в практических целях. Библиотека Мэрана говорит одновременно языком традиций и языком современности, объединенных оптимистической верой в общественную роль, которую призваны играть ученые. Здесь представлена вся научная культура века, и этот факт ясно показывает несомненное желание Дорту де Мэрана идти в ногу со своим временем. Другие разделы его библиотеки подтверждают это.

8% всего количества книг составляют работы по философии⁸⁶. Начиная с античности, представлены все основные имена: Платон (два издания, в их числе переизданное в Лионе издание Марсиля Фисина и некоторые отдельные работы, например «Республика»), Аристотель (три издания), все моралисты — Сенека, Эпикур, Теофраст, Эпиктет, Марк Аврелий и Плутарх (восемь изданий). На первый взгляд нет ничего более конформистского, но следует отметить, что некоторые из этих текстов выбраны среди тех изданий, дающих часто и комментарии, которые выходили в свет как раз в эпоху критического отношения к традициям. Если он покупает Платона, то Платона, изданного Фисином, если — Сенеку, то в издании Гассенди. Особый характер этого выбора подчеркнут наличием многочисленных полемических книг, являющихся как бы вехами на пути развития этого критического направления. У него есть крупные произведения Эразма, полное собрание сочинений Бэкона, все, что только можно было получить из написанного Декартом, основные труды Лейбница, полное собрание сочинений Мальбранша и множество других полемических работ, а также книг комментаторов и эпигонов⁸⁷, которые здесь просто невозможно перечислить. Можно ли пойти еще дальше в оценке его идей? Как надо понимать наличие в его библиотеке основных произведений «либертипов» XVII в.? Ибо разве не находятся здесь одновременно Помпонацци, Шарон («Мудрость» и «Соображение»), Ноде («Апология великих людей»), «Symbalum Mundi», ля Мотэ ле Вейер, Гассенди и даже переписка братьев Дюпой. Что должны мы думать об этом довольно примечательном собрании литературы эпохи «кризиса сознания» и в то же время о значительном месте, занимаемом философией Просвещения? В самом деле, мы видим здесь, конечно, Бэйли, Сен-Эвремона, Фонтенеля, но также Локка, Попа, Беркли, Кондильяка, Даламбера, Руссо, как и Вольфа и

⁸⁶ Они распределяются следующим образом: история философии — 11, древняя философия — 49, современная — 72, логика — 15, мораль (включая древних моралистов) — 48, метафизика (только современные работы) — 94.

⁸⁷ Только одни «картезианские» тексты составляют 35 работ.

Сведенборга. Означает ли это, что Мэран — эклектик, или подобный круг чтения действительно отвечает его основным интересам? Не будем торопиться с выводами, но в самой этой его позиции нет ли черт, которые глубоко роднят Мэрана с его предшественниками времен «просвещенного либертинства»? Во всяком случае такое собрание книг говорит об отсутствии умственного застоя и о широте кругозора. Неудивительно найти в нем Монтэня (три издания). Гораздо более удивительно (хотя, возможно, здесь проходит граница, которую Мэран не хочет перейти), что в нем нет Спинозы (представлено только опровержение Спинозы отцом Лами), Гельвеция (хотя его трактат «О духе» пользовался огромной известностью), Гольбаха (может быть, только под псевдонимом). Не возраст ли ученого тому виной? Это возможно, хотя он не играет почти никакой роли для других дисциплин. Что остается несомненным, так это верность Дорту де Мэрана великой традиции европейской интеллигенции, зародившейся еще в XVI в: рационалистическому и критическому подходу ко всем вопросам. Опыт ученого питает здесь опыт философа.

Все сказанное выше позволяет нам лучше понять, какое место занимают в его библиотеке книги по теологии и религии. Их у него 173, около 5% от общего числа, из них только три молитвенника⁸⁸. Все остальное состоит из произведений теологов и главным образом из священных текстов. В этом контрасте между необычайным изобилием библейской литературы⁸⁹, произведений отцов церкви⁹⁰, справочников и работ по истории и философии религии⁹¹ и крайне малым числом банальных благочестивых сочинений и молитвенников, сведенных здесь почти до минимума, виден если не теолог, то своего рода «христианский философ». Выбор изданий⁹², наличие полемических текстов Боссюэ, Фенелона, работ видных кальвинистов, Христианского института, дю Мулена, Амира, Жюрьена, Дюплеси Морнэ и дю Перрона, Гроция и Арминия говорят о стремлении к сравнительному изучению. Познания Дорту де Мэрана в

⁸⁸ Le trésor des prières de Ferriere. Paris, 1686; Les exercices de piété de Grisset. Paris, 1748; Un bréviaire Romsin. Paris, 1727.

⁸⁹ Религиозные книги подразделяются следующим образом: святое писание — 89 (из которых 20 полных библий), отцы церкви — 28 (в это число входят произведения теологов и пророков), полемические сочинения — 53.

⁹⁰ Филон, святой Василий, святой Фома, Николай Кузанский, Боссюэ, Фенелон, Массион, Паскаль. Сочинений святого Августина нет.

⁹¹ Ришара Симона, отца Лами, д'Анвиля, Асфельда, Астриюка, всевозможные словари и справочники.

⁹² Из 20 библий — 14 французских изданий (из них одно — 1545 г.), шесть голландских, женеvских и английских изданий.

области теологии чрезвычайно широки и основаны на полемических трудах и сопоставлении различных точек зрения. Опыт философа присоединяется к опыту религиозного человека. Его интеллектуальная жизнь, его культура и даже сама вера питаются непосредственно текстами первоисточников, а также столкновением мнений ортодоксов и инакомыслящих.

Насколько можно судить по цифровым данным об организации библиотеки Дорту де Мэрана, ему был свойствен научный оптимизм, вера в человека и приятие культуры своего века. Как у всякого культурного человека XVIII в., у него был определенный минимум юридической литературы⁹³. Но книги о правах галликанской церкви более многочисленны, чем собственно юридические сочинения. Право, кажется, интересует его лишь в той степени, в какой оно затрагивает религиозные или философские вопросы. Тогда в добавление к книгам Монтескье и Мабли он покупает труды Питу и Дю Марсе. Любознательность Мэрана — это не любознательность юриста, а любознательность философа и критика. Его отношение к «политике» (а под этим термином следует понимать широкий круг наук об обществе и даже агрономию) носит в значительной степени иной характер⁹⁴.

Мэран не является знатоком агрономии, несмотря на то что у него, как у всякого любителя, есть «*Rei Rustical scriptores*», «*Maisons rustiques*», «*Théâtre d'agriculture*» и «*Le moyen de devenir riche*» Палисси. Мелкий земельный собственник, которого это имущество скорее обременяло, чем вызывало желание производить агротехнические опыты, он прочел из современных ему работ только Тюрбии и главным образом работы Дюамеля дю Монсо. В области экономики он собирает два типа работ: книги информационного характера, например экономический словарь Савари, справочник по финансам, статистические данные о количестве бракосочетаний, крещений и смертей; и, с другой стороны, разного рода очерки и «Рассуждения» — Вобана (три издания Дима), Мелона, Пегги, Дюто, Деланда, Дюпре де Сен-Мора, историю торговли шевалье д'Арка и книгу Юэ (Huet) на ту же тему. Круг его чтения по вопросам экономики составляют книги, написанные еще до эпохи физиократов. Все эти труды пропитаны идеями меркантилизма и посвящены главным образом проблемам финансов, денежного об-

⁹³ 35 книг, из которых 10 — по церковному праву, 6 — по древнему праву, 10 — по современному гражданскому праву (Гроций, Монтескье, Мабли, Форме, Бекария и др.), 9 учебников и справочников.

⁹⁴ Книги этой категории подразделяются следующим образом: агрономия — 13, экономика — 15, политика — 21, общественные связи и воспитание — 35.

ращения и торговли — одним словом, это книги современника «системы» Джона Ло⁹⁵.

В области собственно политики Мэран остается верен своему гуманистическому складу ума. XVI век представлен в его библиотеке прежде всего сочинениями Эразма, утопией Мора, работами Липсе. Но он читает также Маккиавели: у него есть полное собрание его сочинений⁹⁶, «Государь» на латыни, «Речи» на французском языке и вольтеровский анализ «Государя». XVII век представлен только шестью работами, среди которых — Бальзак и Локк⁹⁷. Наконец, из книг своего времени Мэран выбрал работы аббата де Сен-Пьера, Юма, Рамсея, Мабли, он читал «Общественный договор» и сохранил несколько работ об отечестве, народе и духе патриотизма. Его библиотека объединяет идеи реформаторов, английскую политическую мысль, старые гуманистические идеалы и реализм Маккиавели. Не следует смешивать этот эклектизм источников с эклектизмом мысли, так как Мэран почти никогда не прибегал к своеобразному «книжному остракизму», характерному для слишком рьяных сторонников какой-либо определенной системы взглядов. Стремление определить, каким должен быть «идеальный» человек, интерес к проблемам морали естественно приводят его и к проблемам воспитания. Наряду с другими произведениями Руссо у него есть «Эмиль» и опровержение «Эмиля» отцом Жердилем, а также проекты аббата Сен-Пьера, трактат Локка о воспитании, трактат Крузаса на ту же тему и план Шалота. В общем в этой области «политики» библиотека Мэрана составлена как из классических произведений, так и из современных. Он внимательно следит за появлением новых книг, но при этом сознательно сохраняет гуманистический характер своей библиотеки. Дорту де Мэран был, вероятно, скорее наблюдателем, чем реформатором; если он и верил в переустройство человеческого общества, то при этом тесно связывал социальные, политические и моральные изменения с силами, которые формируют целые цивилизации.

Заметное место, которое занимает в библиотеке раздел «искусство», отражает интерес академических кругов к этим проблемам. Из двухсот книг данного раздела четверть составляют академические сборники, представляющие разносторонний интерес. Значительная литература, которую Мэран собирал до последних минут своей жизни, дает нам представление о нем как о человеке, занимавшемся не только наукой, но и искусствами. Это нечто большее,

⁹⁵ У него есть книга «Secret du Système de Law» (s. l.), 1721.

⁹⁶ Machiavelli. Opere. Bâle, 1550.

⁹⁷ Locke. Du gouvernement civil. Genève, 1724.

чем простое следование за модой, это определенный интеллектуальный выбор. Не случайно в его библиотеке академический «Словарь искусств и ремесел» стоит рядом со своим «тезкой» — знаменитым созданием Дидро. Склонности и интересы Мэрана — это интересы той среды, в которой сформировался дух Энциклопедии⁹⁸. Они носят всеобъемлющий характер⁹⁹.

Не следует забывать, что Мэран был членом не только Академии наук, но и Французской Академии (т. е. занимался не только естественными и точными науками, но и проблемами языка и литературы). Его интерес к проблемам языка не случаен — ведь он сам был человеком пишущим, хотя и не «законодателем вкусов» в этой области. Его эстетика и его литературная культура — это культура классиков и гуманистов, но он был способен считаться и с духом времени. Мэран, кажется, довольно далеко продвинул свои исследования всеобщей истории литературы, истории форм и языка. У него есть свои рабочие инструменты — 50 больших словарей¹⁰⁰ и лексических справочников, 60 грамматик и около 50 критических работ¹⁰¹. Французский язык для него тоже необходимое орудие работы; он любит и защищает его. Он хорошо знает изучаемых им авторов: крупных ораторов¹⁰², греческих и латинских писателей¹⁰³, классиков французской и зарубежной литературы¹⁰⁴.

⁹⁸ См.: J. Proust. L'Encyclopédie. Paris, 1965, p. 7—46.

⁹⁹ Распределение книг этой категории следующее: сборники — 50, общие трактаты о естественных науках и искусстве — 13, о музыке — 23 (Мэран, по высказываниям биографов, был музыкантом), живопись и скульптура — 25, архитектура — 42, специализированные виды искусств — 85.

¹⁰⁰ 50 словарей, из которых примерно 20 латинских и греческих и около десяти иностранных (итальяно-французский, немецкий, немецко-латинский, итальянский, испанский, фламандский, два английских), остальные французские.

¹⁰¹ 60 грамматик, среди которых грамматика Пор Руаяль (2 издания), латинская, греческая, древнееврейская, грамматика Демосфена, Бугура, Буарегара и т. д., грамматика итальянская, немецкая, фламандская, испанская, английская. По критике и эстетике — работы Дольве, Дюбо, Перро, Бартоли. Отметим также очерк об иероглифах Варбуртона, изданный в Париже в 1744 г.

¹⁰² Аристотель, Демосфен, Квинтиллиан и Цицерон (двенадцать работ).

¹⁰³ Гомер (8 изданий), Пиндара (4), Гесиод, Феокрит, Вергилий (7 изданий, среди которых издание аббата Делиля), Катулл, Овидий, Тибулл, Проперций, Марциал, Ювенал. Именно здесь мы видим Мэрана-эллиниста, обладателя греческих и латинских книг. Назовем Гомера (4 издания с греческим текстом), Гесиода (2 издания), Пиндара (2 издания), Демосфена, Эсхила, Эврипида и Софокла, Феокрита и антологию эпиграмм, изданную Анри Этьеном в 1566 г. Разумеется, здесь есть также Плавт и Теренций.

¹⁰⁴ Мольер, Корнель, Расин, Лафонтен, Буало, Малерб, Ренье, Пибрак, Маро, Гарнье, Ронсар, Реми Белло и Вийон, а из иностранных авторов — Данте, Ариосто, Тассо, Гварини, Галлер, Лессинг и Геснер.

Преобладание старых книг здесь бесспорно: только 48% художественной литературы издано после 1700 г. и среди них огромное количество книг-одподневок, не представляющих сейчас никакого интереса. Но это соотношение меняется от одного литературного жанра к другому. Для речей знаменитых ораторов, а также произведений поэтов и драматургов оно меньше, чем для романов и критических трудов¹⁰⁵. Говоря об иностранной художественной литературе, следует отметить, что здесь на первом месте стоит Италия (примерно десяток книг) — она представлена Гольдони, Данте и крупными поэтами XVI в.; Германия представлена современными поэтами, Испания — «Дон Кихотом», Англия полностью отсутствует. По-видимому, этот выбор также свидетельствует о любви к классической культуре. По-другому обстоит дело с историей, где книг примерно столько же, но группируются они совершенно иначе.

Это прежде всего светская история; книг по церковной истории менее чем 4%. Это история, опирающаяся на изучение документов: оригинальных текстов, хронологии, надписей, монет (16%). Наконец, это скорее история современности, чем древних времен, и в ее состав сознательно включаются не только близкие, но и дальние страны, благодаря введению в этот раздел темы путешествий и географических открытий. Весьма значительное место занимает здесь современная история великих европейских наций. Большая часть исторических работ — это новые издания: 62% книг вышло в свет после 1700 г. Но это вовсе не значит, что история в библиотеке Мэрана смешивается с текущей политической. История тут — вспомогательная отрасль науки, приспособленная к основным занятиям Мэрана. К работам Вольтера присоединяются здесь сочинения Жака де Ту и Паскье.

Соединение количественного метода с более тонким и более точным исследованием вкусов владельца библиотеки позволяет вскрыть общие тенденции. Несомненно Жан Жак Дорту де Мэран — подлинный представитель века Просвещения. Это подтверждает и то место, которое занимают среди его книг естественные науки и искусство, а также широкий круг его интересов. В его библиотеке — библиотеке ученого, философа и человека большого вкуса — широко представлена современная ему эпоха. Она отражает веру ученых в практическую пользу наук. В ней видны тер-

¹⁰⁵ Среди них фенелоновский «Телемак», аббат Прево, Мариво, «Персидские письма» Монтескье, а также «Перуанские письма» и «Галантные письма», Сервантес, — но в то же время и Скаррон, «Сон Полифила», «Золотой осел». Наконец, у Мэрана имеется первое издание «Новой Элоизы».

пимость и рационализм, свойственные тому времени. Стоит протянуть руку к книжным полкам, и эти книги предоставят людям всевозможные аргументы, сведения, свидетельства, уроки и методы. Собирая воедино опыт прошлого и стремления настоящего, библиотека Мэрана дает нам представление об общественном престиже и социальной роли ученого и литератора того времени. Но этому человеку, терпеливо коллекционирующему книги, составляющие его жизнь и жизнь его друзей, на заре века было двадцать лет. Со временем ценности и представления его эпохи сильно менялись и варьировались, и он лучше, чем кто-либо другой, мог участвовать в этих изменениях. Не отсюда ли берет начало увлечение самыми разнообразными культурными традициями? Мэран — ученик иезуитов и воспитанник университетов, один из сорока защитников чистоты языка, является наследником греко-латинских гуманитарных наук и взглядов классиков. Картезианец по образованию, этот академик внимательно читает Ньютона. Деятель современных ему обновленных наук и искусств, он в то же время внимательно изучает наследие первых гуманистов. Его библиотека великолепно иллюстрирует проблему смены поколений в интеллектуальной жизни общества, так же как и проблему синтеза различных точек зрения, причем эти данные относятся не только к Мэрану, а характерны для всей эпохи. Столкновение различных мнений, которое мы видим в этой библиотеке, не может быть случайным. В собрании книг, которому в большей части придан светский характер, не случай сводит «либертинов» XVII в. с протестантскими писателями и философами. Не случайно апологеты стоят рядом с критиками, отцы церкви — с «еретиками». Здесь могла сказаться и семейная традиция, невзирая на обращение в католичество. Стремление все постоянно подвергать сомнению перешло из области естественных наук в другие отрасли знания. Дорту де Мэран, представляющий парижские интеллектуальные круги, но всю свою жизнь внимательно наблюдающий за культурной жизнью провинции, почти в такой же степени выражает беспокойство и сомнения мира Просвещения, как и его достижения и победы.

ДИАЛЕКТИКА В МИРОВОЗЗРЕНИИ ДИДРО



Х. Н. Момджян

Вопрос о диалектике в творчестве домарксистских философов-материалистов все еще остается недописанной страницей историко-философской мысли. Утвердилось мнение, что материализм XVII—XVIII вв. не выходил за пределы метафизического мышления и не представляет серьезного интереса для истории диалектики. Для оправдания такого взгляда обычно ссылаются на Ф. Энгельса, на его оценки истории диалектики и метафизики, данные на страницах «*Анти-Дюринга*». Многократно цитировались слова Энгельса о том, что материализм XVII—XVIII вв., а также философия Фейербаха носили метафизический характер. Вместе с тем оставалась нераскрытой мысль Энгельса, утверждающего, что среди представителей старого материализма есть блестящие диалектики. В качестве примера Энгельс ссылается на Спинозу и Декарта. Вслед за этим (опять-таки в качестве примера) автор «*Анти-Дюринга*» упоминал наряду с Руссо великого корифея французского материализма XVIII в. Дени Дидро, которые в своих социально-политических и эстетических трудах оставили «нам высокие образцы диалектики»¹.

Таким образом, считая вторую историческую форму материализма метафизической по своей сущности, Энгельс одновременно подчеркивал, что в лоне этого материализма и находились яркие представители диалектической мысли. Забвение этой стороны вопроса приводило к ошибочной попытке превратить домарксист-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 20, стр. 20.

скую идеалистическую мысль и, в частности, классический немецкий идеализм в единственного посетителя диалектики. Становилось непонятным, почему, в силу каких принципов вторая историческая форма диалектики оказывалась монопольным достоянием идеалистических систем. Этот вопрос особо уместен, если учесть, что идеализм, будучи искаженным, превратным отражением бытия, органически несовместим с диалектикой и неизбежно деформирует ее.

Не вызывает сомнения, что представители материализма нового времени не уделили и не могли уделить специального внимания разработке диалектического *метода*, созданию понятийного аппарата диалектики, выявлению ее законов, категорий и общих понятий. Больше того, очень часто отождествляя диалектику с софистикой, они считали необходимым в борьбе против идеализма и религии твердо придерживаться строгих правил абсолютизированной формальной логики. Рассматривая противоречия в их разорванности, делая их достоянием заблуждающегося сознания, представители домарксистского материализма, как правило, исключали объективный характер единства противоположностей, не усматривали в них источник движения, развития, оставляли в тени диалектические взаимодействия процессов и явлений. Правильно и то, что старый материализм отказывался возводить в закон скачкообразные переходы от одного качественного состояния к другому, непомерно увлекался поисками вечных и неизменных истин, полагал, что изолированное рассмотрение того или иного явления есть необходимое условие глубокого и исчерпывающего его познания. Можно привести ряд других исторически обусловленных заблуждений старого материализма, которые вполне оправдывают мысль Энгельса о метафизической направленности материализма XVII—XVIII вв.

Все сказанное не вызывает сомнения, но не должна вызывать сомнения и та истина, что в недрах домарксистского метафизического материализма, в произведениях его наиболее ярких представителей стихийно вызревали диалектические мысли, в особенности связанные с объяснением природных явлений. Без изучения этого наследия едва ли можно рассчитывать на полное и всестороннее освещение истории и теории диалектики.

Скажем предварительно, что если ряд социально-исторических обстоятельств помешал старому материализму обогатиться диалектическим *методом*, то это не дает основания забывать, что материалистическая философия стихийно тяготеет к диалектическому восприятию мира. И действительно, в меру конкретно-исторических возможностей воспроизводя правду об объективной действи-

тельности, освобожденную от схоластики, мистики, иррационализма, стремясь увидеть мир таким, каков он есть, материалистическая философия не могла не схватить ряд существенных диалектических моментов. Невозможно было правдиво, адекватно отразить объективно существующее бытие, не заметив хотя бы некоторые существенные черты диалектической картины его развития.

Важно и другое обстоятельство: материалистическая философия XVII—XVIII вв., все лучшие ее представители выступали, как правило, выразителями мировоззрения прогрессивных общественных классов, заинтересованных в социальном прогрессе, в преодолении отживших свой век социальных порядков и идей, в революционном утверждении новых общественно-политических отношений, социальных институтов, новых экономических, политических, философских, этических и эстетических учений. Было бы неправомерным полагать, что идеологии революционных классов были принципиально невосприимчивы к диалектическим идеям, к философскому обоснованию развития, восхождения от старого к новому, к обоснованию динамической картины мира. Изучение философского материализма Бэкона, Декарта, Дидро и других полностью подтверждает сказанное. Общеметафизическая концепция не помешала им в разных аспектах констатировать важные стихийно диалектические истины, близко подойти к идее самодвижения, попытаться в гетерогенности материи видеть возможный источник самодвижения, качественных переходов и т. п. Эти идеи, бесспорно, заслуживают специального изучения.

Следует особо подчеркнуть, что диалектические констатации представителей старого материализма встречаются преимущественно в работах, посвященных пониманию природы, ее общих законов и сравнительно меньше — в социологических, а еще реже — в логических и гносеологических исследованиях. Характерно, что если с позиций идеалистической диалектики Гегель полагал, что природа не имеет развития во времени, то диалектические размышления представителей материализма XVII—XVIII вв. главным образом связаны именно с природой, с ее законами развития и изменения.

С этой точки зрения нужно было в первую очередь осмыслить связи, существующие между материей и движением. Сообщено ли движение материи извне или она немыслима без движения? Исчерпывается ли движение пространственным перемещением или оно обозначает изменение материи вообще? Эти исходные вопросы заняли прочное место в материалистических системах XVII—XVIII вв.

Общепринятым в среде материалистов было положение, согласно которому нельзя представить материю без движения так же, как немислимо движение без материи. Конечно, признание единства материи и движения доступно и метафизическому материализму и необходимым образом не связано с диалектикой. Если движение сводится к пространственному перемещению тел, к простому механическому, количественному изменению, как, например, у Гоббса, то здесь нет еще диалектического взгляда на вещи.

Но все дело в том, что некоторые представители материализма XVII—XVIII вв. близко подошли к пониманию движения как количественно-качественному изменению вообще, рассматривали материю как активное, творческое начало.

I

В настоящей статье мы попытаемся в основных чертах охарактеризовать элементы диалектики в мировоззрении Дидро. Представляется, что эта задача может быть успешно разрешена, если диалектические мысли Дидро будут сопоставлены с диалектическими мыслями предшественников великого французского философа из среды английского и голландского материализма XVII в., а также и единомышленников Дидро—Ламеттри, Гельвеция и Гольбаха.

Остановимся первоначально на творчестве Бэкона.

В новых исторических условиях Френсис Бэкон восстанавливал и развивал некоторые стороны античной стихийной диалектики, солидаризировался с ее представителями, которые полагали, что материя обладает формой и качеством и не есть нечто абстрактное, возможное и бесформенное². Первичную материю, писал Бэкон, следует вообще рассматривать как неразрывно связанную с первичной формой и с первичным принципом движения.

Если отбросить неизбежные в ту эпоху теологические отступления и оговорки, философский материализм Бэкона достаточно отчетливо отстаивает мысль о внутренне активной, созидательной материи, которая в своем бесконечном развитии порождает все качественное разнообразие мира. В силу имманентной активности вещи, явления, переступая свою количественную меру, переходят в новое качество. Бэкон сочувственно цитирует слова Лукреция:

Ибо меняясь в чем-либо, границы свои преступая,
Всякая вещь прекращает быть тем, чем была она раньше³.

² Ф. Бэкон. О принципах и началах. М., 1937, стр. 20.

³ Там же, стр. 37.

Известные слова Маркса о том, что у Бэкона материализм таит в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития⁴, есть признание диалектических достоинств бэконовского материализма. Определение Маркса находит свое подтверждение в атомистике английского мыслителя. Атомы у Бэкона не являются однородными, всегда себе равными, бескачественными «кирпичиками мироздания». Они как бы одухотворены, полны силы, имеют специфическую характеристику. Обобщая свои представления об атоме, Бэкон писал: «Человеческая мысль (если она желает быть последовательной) приходит к атому, который является реальным существом, обладающим материей, формой, измерением, местом, силой сопротивления, стремлением, движением и эманациями и который также при разрушении всех естественных тел остается непоколебимым и вечным»⁵. Думается, что представления английского философа об атоме свидетельствуют о наличии существенных диалектических моментов в его восприятии картины мира.

Заслуживает внимания также живой интерес Бэкона к диалектике Гераклита. Если автор «Нового органа» не скрывает свое резко отрицательное отношение к метафизической философии, то Гераклит, его идеи о борьбе противоположностей как внутреннего стимула развития, источника самодвижения привлекают к себе внимание Бэкона. Он вникает в суть разрозненных фрагментов, которые фиксируют роль единства и борьбы противоположностей, расценивают мир как вечный, живой огонь, закономерно воспламеняющийся и закономерно угасающий. Продолжая свои рассуждения о Гераклите, задумываясь над ролью сталкивающихся противоположностей, Бэкон пишет: «В самом деле, мы наблюдаем в мире огромную массу противоположностей, как противоположность плотного и редкого, горячего и холодного, света и тьмы, одушевленного и неодушевленного, противоположности, которые враждебно сталкиваются и попеременно разрушают друг друга»⁶.

Очень часто у Бэкона, как и у других материалистов рассматриваемой эпохи, больше фиксируется внимание на наличии противоположностей и значительно меньше улавливается их единство, взаимопроникновение, взаимопереходы. При желании это обстоятельство могло бы быть использовано для констатации у Бэкона не диалектики, а метафизического взгляда на вещи. Но все дело в том, что и диалектику нужно рассматривать исторически. Если в XX в. забвение единства противоположностей есть отступление к

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 242.

⁵ Ф. Бэкон. О принципах и началах, стр. 65.

⁶ Там же, стр. 35.

метафизике, то во времена Бэкона одна уже констатация борьбы противоположностей была ступенью к диалектическому восприятию мира. Точно так же в XVII—XVIII вв., не беря более ранний исторический период, утверждение мысли о непрерывном развитии материи есть диалектическая идея, если даже не раскрыт источник самодвижения — единство и борьба противоположностей. В современных же условиях научного развития сознательное отрицание этого источника приводит лишь к защите метафизической концепции развития.

Диалектическая идея вечно развивающейся природы заняла значительное место в естественнонаучных взглядах Декарта. Попытки строго механического толкования движущейся материи сочетались у Декарта с глубоко диалектическим подходом к объяснению природных явлений.

Нужно полагать, что высокая оценка, данная Энгельсом в «Анти-Дюринге» диалектике Декарта, обусловлена в первую очередь той ролью, которую французский мыслитель сыграл в защите эволюционистского взгляда на природу. Это и понятно, если учесть, что эволюционизм в ту историческую эпоху даже в зачаточном своем виде заострялся против метафизическо-религиозного взгляда на мир как на нечто сотворенное, лишённое истории, не знающее изменения и развития во времени. Вступая в противоречие с этим средневековым феодально-клерикальным мировоззрением, космогония Декарта закладывала основы исторического взгляда на вселенную.

Диалектический подход к явлениям природы обнаружился во всех крупных научных открытиях Декарта в области математики, механики, оптики. Достаточно отметить, что открытие переменной величины — основа аналитической геометрии, где пространственно-количественные отношения рассматриваются в их динамике.

Понимание Декартом покоя как частного случая движения касалось исключительно механистического движения. Но не трудно угадать, какие исключительно важные диалектические выводы таились в этом классическом определении ученого.

Элементы диалектики можно найти и в декартовском учении о методе. Автор «Рассуждения о методе» переносил принцип развития и в сферу теории познания и логики. Он требовал рассматривать все явления не в статике, а в их развитии и изменении. Декарт правильно указывал, что сущность явлений «гораздо легче познается, когда мы видим их постепенное развитие, чем когда рассматриваем их как вполне уже образовавшиеся»⁷.

⁷ Р. Декарт. Рассуждение о методе. М., 1953, стр. 42.

Нам представляется, что сам методологический принцип сомнения, из которого Декарт неправоммерно вывел идеалистическую формулу «*cogito, ergo sum*», при правильном его понимании и применении выступал сильным оружием борьбы против закостенелых, канонизированных «истин», против догматического мышления. Принцип сомнения, бесспорно, сохранял внутреннее родство с диалектически понятым отрицанием.

Таким образом, материалистическая философия Декарта, его физика, будучи тесно связанной с метафизикой и механицизмом, содержали в себе ряд важнейших диалектических положений.

То же самое можно сказать и о материализме Спинозы. В условиях XVII в., когда многие науки были еще в зачаточном состоянии, естественно, механическое, количественно-математическое восприятие картины мира оставалось преобладающим и в мировоззрении великого голландского материалиста. Но это не должно нам помешать увидеть важные положения в системе Спинозы, которые или прокладывали путь к диалектической философии, или же являлись уже ее составными элементами.

Делая шаг вперед по сравнению с Декартом, Спиноза углубляет представления о движущейся материи. Субстанция — природа выступает как активное материальное начало, несотворенное, бесконечное во времени и пространстве, подчиненное своим собственным законам.

Ряд соображений мог не позволить Спинозе считать движение атрибутом субстанции. Немаловажное значение, быть может, имело то обстоятельство, что, рассматривая субстанцию как всезаполняющее целое, Спиноза не мог говорить о ее движении в смысле пространственного передвижения. Столь же бессмысленным должно было показаться мыслителю утверждение о движении субстанции как переходе в новое качественное состояние, т. е. в иную субстанцию. Ведь и диалектический материализм, говоря о непрерывном качественном изменении материи, исключает мысль о выходе за пределы материи.

Не превращая движение в атрибут субстанции, Спиноза поэтому рассматривает движение как бесконечный модус, как неперемное состояние вещей. Таким образом, все вещи, явления находятся в состоянии бесконечного движения. В нашей литературе принято считать, что Спиноза говорил лишь о количественных, но не о качественных изменениях, а под движением подразумевал лишь пространственное перемещение. Взятая в целом, эта оценка соответствует истине. Но идти дальше и исключать мысль о том, что Спиноза видел качественные преобразования в природе и об-

щественной жизни, не следует. Достаточно вспомнить, что сама идея об атрибутах, занимающая такое исключительно важное место в философии Спинозы, раскрывает не что иное, как *качественное* содержание субстанции. Важно вспомнить также, что количество атрибутов бесконечно и без них немислима сама субстанция.

Диалектическое восприятие мира нашло свое самое яркое выражение в учении Спинозы о самопричине, *causa sui*. Положение, согласно которому все имеет свою причину возникновения, распространенное на мир, природу, приводило к обоснованию идеи бога как первопричины, как творца материального мира. При таком религиозно-метафизическом подходе к вопросу источник существования и развития природы выносился за ее пределы. Своим возникновением и развитием мир оказывался обязанным внешней, трансцендентной силе. Философский подвиг, совершенный Спинозой, заключался в том, что он покончил и с этой формой дуализма, провозгласил природу единственной субстанцией, которая является своей собственной причиной, не нуждается в посторонних мистических силах для своего существования и развития. *Causa sui* было своеобразным выражением идеи *самодвижения*, как бы противоречиво ни понималось голландским мыслителем движение. Так или иначе Спиноза создал философскую систему, которая ориентировала на изучение природы без выхода за ее пределы. Вот почему Энгельс, критикуя телеологические концепции в естествознании XVII—XVIII вв., мог с полным основанием писать: «Нужно признать величайшей заслугой тогдашней философии, что, несмотря на ограниченность современных ей естественнонаучных знаний, она не сбилась с толку, что она, начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего»⁸. Чтобы объяснить мир «из него самого», было необходимо стоять не только на позициях материализма, но и в каких-то границах оперировать диалектическими понятиями.

Отождествляя природу и бога, Спиноза как бы соединял неподвижную материю с принципом движения, активности, творчества, сливал воедино *natura naturata* с *natura naturans*. Лишенный мистического смысла спинозовский пантеизм выражал идею одухотворенной, активной, самодетальной материи, не нуждающейся ни в каких потусторонних силах, чтобы породить все богатство вселенной.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 20, стр. 350.

Важно отметить, что с диалектической идеей Спинозы о *causa sui* сливается идея взаимодействия, идея связи и взаимообусловленности явлений. Конечно, взаимодействие может быть истолковано механистически, но это не может умалить роль и значение правильно понятого взаимодействия в формировании диалектического мышления. У самого Спинозы *causa sui* и неразрывно с ним связанная идея взаимодействия оборачиваются достаточно отчетливо против механико-метафизического мировоззрения.

«*Взаимодействие*, — писал Энгельс, — вот первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом с точки зрения теперешнего естествознания... Спинозовское: *субстанция есть causa sui* — прекрасно выражает взаимодействие»⁹.

Значительный вклад в развитие диалектической мысли Спиноза внес своим учением о свободе и необходимости. Конечно, не он первый констатировал единство таких противоположностей, как свобода и необходимость. Но никто из его предшественников не был в состоянии это сделать с такой отчетливостью и глубиной, как для своего времени сделал Спиноза.

Отделив необходимость от принуждения, он показал единство необходимости и свободы. По определению Спинозы, в отличие от принужденного состояния свободной называется такая вещь, «которая существует и действует из одной только необходимости своей природы»¹⁰. Таким образом, исчезает метафизический разрыв и противопоставление, казалось, столь несовместимых понятий, как необходимость и свобода. Свободой обладает не только субстанция, имеющая основание своего существования в самой себе, но и такой модус субстанции, как человек. Спиноза считал, что, познавая необходимость, человек обретает свободу. Иными словами, свобода и есть познанная необходимость. Трудно не заметить явный оттенок созерцательности в приведенном определении, что не ускользнуло от внимания марксистских исследователей философии голландского материалиста.

Диалектическая мысль Спинозы обнаруживается и в рассуждениях великого мыслителя о конечном и бесконечном, о некоторых вопросах теории познания и атеизма. Все это, конечно, не дает основания считать Спинозу диалектическим материалистом XVII в., каким он не был и не мог быть в силу многих исторических условий. Но одновременно приведенные нами высказывания и оценки Спинозы еще раз подтверждают, насколько важно все сделанное

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 20, стр. 546.

¹⁰ Б. Спиноза. Этика. М.—Л., 1933, стр. 1. Определения.

старыми материалистами для раскрытия многих элементов диалектики объективного мира и процесса его отражения в сознании людей.

Изучение проблемы показывает, что развитие материализма, его обогащение на основе философского осмысления научных достижений было вместе с тем и процессом накопления диалектики в недрах старого, в целом метафизического и механистического материализма. Сказанное хорошо подтверждается на опыте материализма XVIII столетия и близких к нему деистических концепций.

II

Французский материализм XVIII в. сложился и развивался в обстановке нарастающей борьбы против феодальной системы и феодально-клерикальной идеологии. Французское просвещение в целом, и французский материализм XVIII в. в частности, отразили нарастающую революционную борьбу против старого режима, его социальных институтов и идей. Больше того, они играли активную роль в развенчании всех сторон жизни обреченного феодального общества.

Сама логика борьбы прогрессивной буржуазии и народных масс против старого порядка предопределяла дух революционного отрицания просветителями-материалистами многих истин, которые были провозглашены вечными и неизменными. К их числу относились и религиозные установления, догмы о естественности и справедливости феодальной собственности, феодальной организации общества, абсолютистской власти. Были канонизированы как вневременные истины представления господствующих феодальных сословий и их идеологов об истине и лжи, о прекрасном и низменном, о добре и зле.

Крушение, казалось, застывшего, неподвижного феодального мира способствовало выработке более динамичных представлений о человеческой истории. Больше чем когда-нибудь раньше идеологи прогрессивной французской буржуазии, пусть в донаучной форме, усваивают исторический взгляд на многие явления, осмысливают антагонистические столкновения противоборствующих социальных сословий как силу, творящую историю, отстаивают идею вечного прогресса и т. д.

Не могли пройти бесследно для диалектического восприятия ряда явлений научные достижения XVII в., когда первые шаги в области химии и биологии раздвигали узкие границы механико-математической картины мира. Первые научные догадки об эволю-

ции органического мира, о процессе вечного изменения облика Земли, хотя и не выводили французский материализм за пределы метафизики и механицизма, но, бесспорно, содействовали постепенной выработке диалектических идей.

Быть может, наиболее отчетливо проблески диалектической мысли у французских материалистов проявились в понимании все той же фундаментальной философской проблемы о материи и движении.

В условиях XVIII в. Дидро и в какой-то степени его единомышленники Ламеттри, Гельвеций и Гольбах возродили и развили некоторые традиции античного стихийно-диалектического материализма, его стремление охватить мир в целом, в единстве, в развитии. Дидро высоко ценил великого диалектика античности Гераклита. В статьях «Энциклопедии», посвященных Гераклиту и его учению, воспроизводились мысли о том, что «вещи претерпевают вечное изменение» и что «они порождены противоречивостью движения и в силу этой же противоречивости уничтожаются»; «вечному огню — первоначалу, творцу, присуще движение и действие; он никогда не находится в состоянии покоя»¹¹.

Если Спиноза не пошел дальше провозглашения движения модусом субстанции, правда модусом бесконечным, то Дидро и другие представители французского материализма XVIII в., употребляя спинозовскую терминологию, были склонны считать движение атрибутом материальной субстанции.

Ламеттри провозглашает идею пассивной материи безжизненной абстракцией. Такое отвлечение возможно сделать, лишь пытаясь представить себе абсолютно невозможное: материю без движения и формы. Со всей категоричностью Ламеттри отбрасывает идею привнесения движения и формы в материю извне. Основные свойства материальной субстанции — протяженность и движение. Последнее понималось философом как присущая материи внутренняя активность. Материя, пишет Ламеттри, имеет постоянную «способность к движению, даже когда не движется»¹². Можно было подумать, что приведенная формулировка ограничивает понимание вопроса границами механического движения. В действительности же многие высказывания Ламеттри дают полное основание полагать, что под движением он подразумевал не только перемещение в пространстве, но изменение вообще. «Материя, — писал Ламеттри, — содержит в себе оживляющую ее движущую силу, которая является непосредственной причиной всех за-

¹¹ Oeuvres complètes de Diderot, t. 15. Paris, 1876, p. 82.

¹² Л а м е т т р и. Избр. соч., М.—Л., 1925, стр. 52.

конов движения»¹³. Мы будем еще иметь возможность отметить, что Ламеттри был одним из предшественников эволюционистской теории, и остановиться на его интересных догадках о переходе от неорганического к органическому.

Вернемся, однако, к идее о единстве материи и движения. Наиболее энергично эту идею в среде французских материалистов после Ламеттри отстаивал Дени Дидро.

Развивая дальше мысли Толанда о единстве материи и движения, Дидро писал: «Тело, по мнению некоторых философов, не одарено само по себе ни действием, ни силой. Это — ужасное заблуждение, стоящее в прямом противоречии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе, по природе присущих ему свойств, тело полно действия и силы, будете ли вы рассматривать его в молекулах или в массе»¹⁴.

Не желая дать повод думать, что он говорит лишь о механическом движении, Дидро специально оговаривается в «Философских принципах о материи и движении», что речь идет о движении как о всеобщем свойстве материи. Молекула есть активная сила, ибо она одарена специфическими свойствами. Точно так же у атома есть собственная внутренняя сила, которая не дает ему возможности остаться в покое. В глыбе мрамора, как и любого вещества, происходят внутренние процессы разложения, приводящие к переходу веществ в новое качественное состояние. Для еще большей ясности Дидро заявляет, что движение присуще как движущимся телам, так и телам, которые находятся в покое. В «Разговоре Даламбера с Дидро» мы читаем: «Перемещение тела с одного места на другое не есть движение, а только действие его. Движение есть как в движущемся теле, так и в неподвижном»¹⁵.

На определенном этапе эволюции своих философских взглядов Дидро распрощался с деизмом, с идеей первого толчка. Он пришел к выводу, что движение не привносится в тело. Движение вечно связано с материей. По логике Спинозовской *causa sui*, движение, как и материя, не имеет своей причины. Оно само есть своя причина (речь идет об универсальном движении). В этом смысле движение есть синоним изменения, превращения в инобытие, в другую качественную определенность. Дидро отвергает формулу «ничто не ново под солнцем» и называет эту мысль предрассудком, основанным на поверхностном познании действительности. Этой мертвой метафизической формуле он противопоставляет

¹³ Л а м е т т р и. Избр. соч., стр. 53.

¹⁴ Д. Дидро. Собр. соч., т. I. М.—Л., 1935, стр. 358.

¹⁵ Там же, стр. 368.

гераклитовское восприятие мира. «Все изменяется, все исчезает, — пишет Дидро, — только целое остается. Мир зарождается и умирает беспрерывно, каждый момент он находится в состоянии зарождения и смерти»¹⁶.

Но, быть может, Дидро ведет речь лишь о количественном изменении вещей? Нет, французский мыслитель говорит о вечном качественном изменении, преобразовании мира. Дидро высказывает мысль, что в этом безмерном океане материи нет ни одной молекулы, похожей на другую. Больше того, в каждый последующий миг одна и та же молекула не похожа на себя самое. *Regum nascitur ordo* — рождается новый порядок вещей. Это и есть, по Дидро, вечный девиз мира.

Мы увидим ниже, что Дидро и его единомышленники пытались этот диалектический взгляд на вещи обосновать естественнонаучными аргументами, фактами и догадками о непрерывном качественном изменении, эволюции неорганического мира.

Теперь же отметим, что идея о единстве материи и движения, о вечно изменяющемся мире отстаивалась также Гельвецием и Гольбахом. Движение провозглашалось «всеобщей душой мира», способом бытия материи. «Мы наблюдаем, — писал Гельвеций, — как все тела непрерывно уничтожаются, воспроизводясь в различных формах... Природа находится в вечном брожении и разложении»¹⁷. Гельвеций утверждает, что «непрестанно движущийся мир представляет в каждое мгновение для каждого из своих обитателей новый, отличный от прежнего феномен»¹⁸. Сходные оценки произывают все содержание «Системы природы» Гольбаха.

Итак, французский материализм XVIII в. считал единство материи и движения аксиомой. Мы видели, что представители этого материализма были далеки от мысли отождествить движение с одной лишь из его форм — механическим движением. Мы попытались показать, что Дидро и его единомышленники, говоря о движении, имели в виду не только количественное, но и качественное изменение.

Возникает вопрос: можно ли считать эти мысли диалектическими, если вспомнить ленинское различие двух концепций развития — диалектической и метафизической? Ленин, как известно, противопоставлял диалектику не по признаку признания или отрицания движения. Метафизика не отрицает движения, но не ставит вопрос о самодвижении, обусловленном единством и борьбой противоположностей.

¹⁶ Там же, стр. 391.

¹⁷ К. А. Гельвеций. О человеке. М., 1938, стр. 125.

¹⁸ К. А. Гельвеций. Об уме. М., 1938, стр. 34.

Как оценить учение французских материалистов XVIII в. о единстве материи и движения, применяя ленинский критерий различения диалектики и метафизики?

Дидро и его единомышленники твердо стояли на позициях признания самодвижения материи, категорически отвергали и теистические и деистические поиски источников движения материи за ее пределами. Если исторически подойти к вопросу, то нетрудно заметить, что в определенных границах учение французского материализма XVIII в. о самодвижущейся материи ближе к диалектике, чем к метафизике, но это — диалектика на ранних ступенях ее развития, становящаяся диалектика, диалектика, которая не осознала свой основной закон, свою суть: закон единства и борьбы противоположностей. Думается, что нет необходимости достаточно развитую диалектику провозглашать метафизикой. Правоммерно допускать существование переходных ступеней от метафизического мышления к диалектическому. Следует при этом учесть, что противоречия между диалектикой и метафизикой иного порядка по сравнению с противоречием между материализмом и идеализмом. На более ранних ступенях грани между диалектикой и метафизикой более относительны и подвижны. В наше время отчетливо выкристаллизовались и противостоят друг другу как непримиримые концепции: диалектика и метафизика. Было бы ошибочно это соотношение механически переносить на философские учения XVII—XVIII вв.

Признав самодвижение материи неоспоримой истиной, подтверждаемой фактом непрерывного развития и изменения вещей, французские материалисты эпохи Просвещения пытались теоретически осмыслить и объяснить эмпирически неоспоримый факт движения, развития всего сущего. Часто в поисках решения проблемы они прибегали к чисто механическим рассуждениям о борьбе внешних противоположных сил, к притяжению и отталкиванию, к действию и противодействию. Видимо, чувствуя неудовлетворительность этих объяснений, Гельвеций приходил к мысли о непостижимости движения, а до него Ламеттри писал: «Было бы напрасной тратой времени доискиваться сущности механизма движения»¹⁹.

Более упорен был в поисках философского объяснения движения Дидро. Он не только констатировал противоречивость движения, но и угадывал, что движение, изменение предметов, явлений следует, очевидно, искать во внутренних их противоречиях.

¹⁹ Ламеттри. Избр. соч., стр. 223.

В поисках этого внутреннего источника движения, стремясь обосновать самодвижение материи, Дидро отбросил идею о ее гомогенности. Он полагал, что материя гетерогенна, качественно разнородна. Эта гетерогенность, по мысли философа, порождает противоположность и борьбу, которыми и должно быть объяснено самодвижение материи.

Можно предполагать, что такое понимание самодвижения материи сформировалось у Дидро под непосредственным влиянием учения Лейбница о монадах, о субстанции, сущность которой — в качественном многообразии, различии и в движении. Дидро одним из первых отбросил идеализм и поповщину в монадологии Лейбница, чтобы вычленил живую диалектическую мысль о качественно неповторимых, содержащих деятельную силу монадах.

Идея о внутренних противоречиях как движущей силе изменения вещей, хотя и не была научно обобщена французскими материалистами, но часто встречается в их рассуждениях о естественных и общественных явлениях. Это особо отчетливо обнаружилось в творчестве Дидро и в особенности в его эстетике. Стремление Дидро рассматривать художественный образ в единстве всех его противоречивых сторон привлекло внимание Гегеля, который в «Феноменологии духа» специально проанализировал гениальное произведение французского мыслителя «Племянник Рамо». Позднее Маркс, считавший Дидро своим наиболее любимым писателем, обратил внимание Энгельса на гегелевский разбор диалектики Дидро.

В противоречивых и взаимоисключающих суждениях и оценках, высказываемых Рамо, Дидро отразил противоречия эпохи перехода от феодализма к капитализму. «Разорванное сознание» Рамо, — внутренне противоречивое сознание, знаменующее падение одних духовных ценностей, взглядов, суждений и переход к ценностям, суждениям и взглядам иного порядка. Аристократическое, некогда «благородное» сознание переходит в свою противоположность — в низкое и презренное сознание — в то время, как сознание, которое раньше третировалось господствующими феодальными сословиями как сознание примитивное и неполноценное, овладевает господствующими позициями и получает высшую оценку.

У Гельвеция также можно обнаружить попытки рассматривать противоположности в их единстве. Так, улавливая единство жизни и смерти, Гельвеций пишет: «Основа жизни, которая, развиваясь в величественном дубе, поднимает его стембель, вытягивает его ветви, утолщает его ствол и делает его царем лесов, является в то

же время основой его гибели»²⁰ Учение о страстях, которое занимает такое важное место в философии Гельвеция, таит в себе глубокие диалектические мысли. Без страстей невозможно развитие познания, но они же одновременно являются источниками заблуждений. Внутренне противоречиво и понятие роскоши. Она укрепляет и одновременно ослабляет государство. Такова и торговля: «Когда торговая нация достигает периода своего расцвета, то самое желание барыша, которое вначале составляло источник ее силы и могущества, становится теперь причиной ее гибели»²¹.

Нередки примеры диалектического понимания противоречия как источника развития в этических взглядах Гельвеция и Гольбаха, в частности, в учении об относительности нравственных понятий, их противоречивости и взаимопереходах. Основа социальной философии Гельвеция, а также Гольбаха — учение об эгоизме — содержит противоречивые начала, взятые в единстве. Достаточно отметить, что стремление к личному благу является и по Гельвецию и по Гольбаху основой как добродетели, так и порока.

Особый интерес для истории диалектики представляет ряд глубоких мыслей французских материалистов о единстве материи и сознания. В решении этой проблемы они вели острую борьбу против учений, превращавших сознание в самостоятельную субстанцию, в нечто, способное обладать независимым от материи бытием. Перед ними стояла важная задача развенчания философских и теологических учений о бессмертии души и основанные на этом представления о загробном воздаянии. Опираясь на данные современного им естествознания, а чаще в абстрактно-философской форме предвосхищая его будущие открытия, они доказывали единство и различие материи и сознания, тела и души.

Ламеттри, Гельвеций, Дидро и Гольбах, расходясь в частности, согласны были в основном: чувствительность, мышление, душа, короче — вся совокупность психических явлений — есть не что иное, как одно из свойств материи. Вне материи, независимо от нее душа есть ничто, фикция, пустое слово, лишенное всякого рационального смысла. Эта бескомпромиссная материалистическая постановка вопроса была заострена не только против идеализма и религии, но и против метафизического взгляда на сознание как на нечто в готовом виде преподнесенное человеку свыше.

Отвергая сверхъестественное объяснение сознания, психической жизни, французские материалисты с той или иной степенью отчетливости защищали *исторический* подход к сознанию, пыта-

²⁰ К. А. Гельвеций. О человеке, стр. 272.

²¹ Там же.

лись уловить его эволюцию от простейшей чувствительности до логического мышления. В основном они тяготели к выводу, согласно которому материя лишь на определенном этапе своего развития приобретает такое свойство, как мышление. Некоторые разногласия в среде французских материалистов существовали по вопросу о том, относится ли эволюционистское толкование психического лишь к его логической форме или оно может быть распространено и на ощущения. Другими словами, нужно было ответить на вопрос, присуще ли ощущение материи вообще или лишь особо и высоко организованной материи. Ламеттри воздерживался от окончательного ответа на поставленный вопрос, но больше склонялся к мысли, что ощущение есть продукт особо организованной материи. Надо с откровенностью признать, писал он, «что нам неизвестно, обладает ли материя сама по себе непосредственной способностью чувствовать, или же только способностью приобретать ее посредством модификации или принимаемых ею форм, ибо несомненно, что способность обнаруживается только в организованных телах»²².

Взгляды Гельвеция по данному вопросу близки ко взглядам Ламеттри. Ощущение, хотя и является свойством материи, но оно не есть ее всеобщее и неизменное свойство. Это свойство возникает с возникновением жизни. Нет, следовательно, разрыва между органическим и неорганическим мирами. Из неживого в течение длительной исторической эволюции возникает живое, способное ощущать²³. Констатация этого качественного скачка от неживого к живому, от неощущающей материи к материи ощущающей, бесспорно является диалектической констатацией, заостренной против религиозно-метафизического мировоззрения. Гельвеций проявил историзм в понимании возникновения ощущения — этого первого звена психической жизни. Гольбах вслед за Гельвецием утверждал, что разум есть способность, свойственная организованным существам, т. е. существам, устроенным определенным образом.

Несколько иную позицию занимал Дидро. Он считал ощущение всеобщим свойством материи. На основании этого спешили приписать ему гилозоизм, всеобщее одухотворение материи. В действительности же Дидро различал способность к ощущению в неорганическом и органическом мирах. Ощущение, присущее неорганической материи, Дидро называл *скрытой, инертной* чувствительностью, отличающейся от обычного ощущения, свойственного живым организмам, которое является открытым и деятельным. Неорганическая материя, или, точнее, та или иная форма ее существо-

²² Ламеттри. Избр. соч., стр. 55.

²³ К. А. Гельвеций. О человеке, стр. 58 (примеч.).

вания, способна реагировать на внешнее воздействие (тепловое, световое, механическое, химическое и т. п.). Это допущение наличия в «фундаменте самого здания материи» способности, сходной с ощущением, было обусловлено стремлением искать зарождение психического начала в самой материи и не мистифицировать происхождение сознания. Переход от неорганической материи к материи органической и есть, согласно Дидро, переход от потенциальной способности ощущения к ощущению деятельному, к возникновению психической функции материи. Нетрудно заметить, что в понимании материи и сознания нет принципиальных противоречий между французскими материалистами XVIII в. Все они рассматривают сознание как новое качество, обретаемое материей в ее развитии.

Принцип развития французские материалисты попытались распространить на довольно широкий круг явлений. И хотя в силу исторических условий этот принцип понимался ими недостаточно глубоко и диалектично, тем не менее даже в его ограниченном понимании он давал внушительные результаты. Так, принцип развития Дидро применил к земной коре и еще задолго до Лайеля утверждал, что она непрерывно изменяется.

Но если непрерывно преобразовывалась физическая среда живых организмов, то можно ли утверждать, что они оставались неизмененными? И Ламеттри и Дидро отвергали такое допущение. Все находится в процессе непрерывного развития и изменения. Развивались и изменялись также все живые существа, растения и животные. Люди, также утверждает Ламеттри, не всегда существовали в таком виде, в каком мы их видим в настоящее время²⁴. Живые организмы, утверждал Дидро, имеют свою многовековую историю, они претерпели длительный процесс становления. «Кто знает породы животных, — писал Дидро, — породы животных, которые были до нас? Кто знает породы, которые сменяют ныне существующие? Все изменяется, все исчезает»²⁵.

Опровергая вековые религиозные заблуждения, Ламеттри и Дидро отвергают привычку возводить непроходимую грань между человеком и другими живыми существами. Человек имеет животное происхождение. «Истинные философы, — пишет Ламеттри, — согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок»²⁶.

²⁴ Л а м е т т р и. Избр. соч., стр. 255. В предисловии к избранным сочинениям Ламеттри академик А. Деборин правильно усмотрел в эволюционистских взглядах Ламеттри и Дидро важные элементы диалектики.

²⁵ Д. Д и д р о. Собр. соч., т. I, стр. 391.

²⁶ Л а м е т т р и. Избр. соч., стр. 193.

Ламеттри и Дидро не только отстаивали взгляд, согласно которому живые организмы непрерывно изменялись, но стремились угадать причины этих изменений, проникнуть в механизм этой изменчивости. Предвосхищая теорию естественного отбора, они указывали, что если возникают противоречия между организмом и средой, если организмы обладают свойствами, которые не позволяют им приспособиться к внешней среде, то они обречены на исчезновение, лишаются возможности передать по наследству свои отрицательные биологические особенности. Ламеттри с достаточной отчетливостью выразил эту мысль в «Системе Эпикура»: «Очевидно, что только те животные могли выжить, сохраниться и размножиться, у которых имелись все необходимые для размножения органы, у которых, словом, не отсутствовало ничего существенного. И, наоборот, те из животных, которые были лишены какой-нибудь абсолютно необходимой части, должны были умереть или весьма скоро после появления на свет, или, во всяком случае, не производя потомства. Совершенство не является делом одного дня, — в области природы точно так же, как и в области искусства»²⁷.

Сходные идеи выражал и Дидро. Он достаточно близко подошел к пониманию борьбы за существование и естественного отбора. В животном мире, писал он, «исчезли все неудачные комбинации и сохранились лишь те из них, строение которых не заключало в себе серьезного противоречия и которые могли существовать и продолжать свой род»²⁸.

Достоин упоминания, что Дидро намного раньше Ламарка полагал, что развитие органов зависит от их функционирования или нефункционирования. Это было дополнительным поиском аргументов для обоснования исторического взгляда на органический мир.

Как известно, Энгельс с полным правом считал учение Дарвина одним из естественно-научных оснований диалектического материализма. Не будет преувеличением сказать, что близкие к дарвинизму эволюционистские идеи, отстаиваемые Ламеттри и Дидро, в свое время означали шаг вперед, в сторону выработки диалектического взгляда на природу.

Не вызывает сомнения, что среди французских материалистов идея диалектики особо отчетливое выражение получила в творчестве Дидро. Это дает нам основание несколько задержаться на попытках Дидро выработать метод рассмотрения явлений, близкий к диалектическому. В этой связи заслуживает внимания неоднократ-

²⁷ Л а м е т т р и. Избр. соч., стр. 256.

²⁸ Д. Д и д р о. Собр. соч., т. I, стр. 254.

но высказываемая Дидро мысль, что он стремится ввести в рассматриваемые им явления понятия прошлого, настоящего и будущего, включить в изучение мира идею последовательности²⁹. Это — еще не диалектический метод, но нечто приближающееся к нему. Во всяком случае, отчетливо сформулированное стремление Дидро применить принцип развития, принцип историзма к изучению всех явлений может быть расценено как *попытка* нащупать путь, ведущий от разрозненных диалектических догадок и диалектического методу познания.

Чтобы не быть голословным, остановимся дополнительно на некоторых рассуждениях французского мыслителя.

В «Письме о слепых в назидание зрячим» Дидро считает недостаточным применение принципа развития лишь к отдельным явлениям. Он подчеркивает его универсальность.

Устами слепца Саундерсона Дидро вопрошает: «Разве я не в праве утверждать о целых мирах того же, что я говорю об отдельных животных? Сколько исчезло изувеченных, неудачных миров, сколько их преобразовывается и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, ... в которых движение продолжает и будет продолжать комбинировать массы материи, пока из них не получится какая-нибудь жизнеспособная комбинация»³⁰.

На вопрос, что представляет собой наш мир, Саундерсон отвечает: «Это — составленное, сложное тело, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению. Это — быстрая смена существ, следующих друг за другом, сталкивающихся между собой и исчезающих, это — мимолетная симметрия, быстротечный порядок»³¹.

Такова динамическая картина мира, которую Дидро устами все того же Саундерсона противопоставляет взглядам священника Холмса, защитника религиозно-метафизического взгляда на мир, Холмса, который всюду ищет предустановленный порядок, неизменность, завершенность вещей.

Достаточно отчетливо Дидро понимал всю несуразность восприятия мира как суммы разрозненных, изолированных друг от друга неизменных вещей. Он тяготел к восприятию действительности как великого, вечно изменяющегося целого, части которого находятся в активном взаимодействии. Эту идею деятельного взаимодействия Дидро выразил изящным афоризмом: чтобы могла вырасти травинка, необходимо содействие всей природы.

²⁹ Д. Дидро. Собр. соч., т. I, стр. 351.

³⁰ Там же, стр. 255.

³¹ Там же.

Отстаивая близкий к диалектическому взгляд на мир, Дидро отстаивал мысль о единстве различных форм движения материи и о их взаимопереходах.

Дидро принадлежит поистине гениальная догадка о бесконечности не только макро-, но и микромира. «Не доводится ли,—спрашивал он,— не было ли или не будет доведено деление элементарной материи в искусственных операциях дальше, чем оно доводится, было или будет доведено в природе, предоставленной самой себе?»³².

Дидро полагал, что трудно будет когда-нибудь ответить на этот вопрос. Понадобилось около двухсот лет, чтобы эта смутная догадка мыслителя XVIII в. превратилась на основе развития естественно-научных знаний в научно-теоретическую формулу, изложенную на страницах «Материализма и эмпириокритицизма» Лениным и затем нашедшую свое практическое экспериментальное подтверждение.

*

Мы имели возможность остановиться лишь на отдельных элементах диалектики у Дидро и некоторых других представителей домарксистского материализма нового времени. Даже это далеко не полное и беглое рассмотрение проблемы может подтвердить, как важно изучение творчества видных представителей материализма XVII—XVIII вв. для глубокого и всестороннего воспроизведения истории диалектической мысли.

Материализм был неразрывно связан с наукой и философией, обобщал их достижения. Наука же, научные истины не могут не быть по существу своему метафизическими, антидиалектическими. Уже одно это обстоятельство предопределяло процесс вызревания диалектики в недрах материализма.

В своей работе, преследуя задачу рассмотрения этого процесса, мы, естественно, старались выпятить и подчеркнуть элементы стихийной диалектики в материализме XVII—XVIII вв., а у Дидро — и попытки создания метода познания, близкого к диалектическому методу. Такое рассмотрение вопроса не может поставить под сомнение общепринятую в марксистской философии периодизацию материализма, установленные исторические формы материалистической философии. Не вызывает сомнения, что материализм XVII—XVIII вв. относился ко второй исторической форме материализма и в целом оставался в границах метафизики и механи-

³² Д. Дидро. Собр. соч., т. I, стр. 391.

цизма. Но все дело в том, что не следует воздвигать непроходимых границ между античным стихийно-диалектическим материализмом и метафизическим материализмом нового времени, а также — между последним и диалектическим материализмом. Задача в том, чтобы, пользуясь научными схемами, не впадать в схематизм. Было бы ошибкой отрицать преемственные связи диалектической мысли на качественно различных ступенях развития материалистической философии.

Из сказанного следует, что характерная особенность античного материализма — стихийная диалектика — не только полностью не исчезает в материализме XVII—XVIII вв., но и в каких-то границах и аспектах продолжает развиваться. Как вообще, так и в рассматриваемом вопросе упрощенное понимание скачка, примитивное толкование революционных переворотов в научном познании сопряжено с глубоким искажением исторической правды.

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ И РОМАН ИЛИ ПАРАДОКСЫ ДЕНИ-ФАТАЛИСТА



Ж. Эрар

Из всех сочинений Дидро последнего периода его жизни именно «Жак-фаталист» на много десятков лет привлек к себе наиболее пристальное внимание критики. Многочисленные исследования, попытки истолкования романа¹ были необходимой предпосылкой его научного издания, ждущего своего осуществления; теперь время общих благосклонных оценок, еще недавно казавшихся столь авторитетными, миновало. Важность книги становится общепризнанной, ее происхождение и состав понятными. Но ее философское и литературное значение остается спорным: сатира ли она на «фатализм» или его оправдание? Шутливая ли пародия или исток нового реализма? Как ни читать «Жака», он обогатит любого читателя: одного — увлекательностью философских споров, другого — очарованием стиля и блестящим искусством диалогов, третьего — занимательностью происшествий или чарами романтизма, четвертого — очерком нравов, психологическими, социальными, даже эко-

¹ Из числа последних исследований следует упомянуть: Jean Varloot «Jacques le Fataliste» et la «Correspondance littéraire». — «Revue d'histoire littéraire de la France» (далее RHLF). X—XII, 1965; P. Vernière. Diderot et l'invention littéraire... Ibid., IV—VI 1959; Roger Laufer. Structure et signification de Jacques le Fataliste. — «Revue des Sciences Humaines» (далее RSH), X—XII, 1963; Robert Mauzi. La parodie romanesque dans Jacques le Fataliste. — «Diderot Studies», VI, 1964; Jean Fabre. Allégorie et symbolisme dans Jacques le Fataliste. — «Europäische Aufklärung». München, 1967; Jean Fabre. Sagesse et morale dans Jacques le Fataliste. — «The age of Enlightenment», University of St. Andrews, Oliver and Boyd, 1967.

номическими суждениями, которые яркостью своего словесного выражения делают живой французскую действительность 1770 г.

Но только прочтение, вскрывающее замысел Дидро, может объединить все возможные способы чтения. Нам кажется, что форма этой тонкой шутки философа определена ее содержанием; литературная двусмысленность этого необычного романа самым точным образом выражает философскую двойственность мысли — и критической и больше чем когда-нибудь «вопрошающей»²; и чтобы понять мудрость этой книги, надо сразу обращаться и к диалогам, ведущимся в ней, и к выдуманым историям, обрамляющим диалоги, т. е. не только к мыслям Жака или любого другого персонажа, но к книге в целом — единственно полному выразителю идей автора. Такое сконцентрированное изучение вопросов — идеологических, с одной стороны, и литературно-изобразительных — с другой, в общем виде было уже начато, и наше исследование во многом обязано работам, появившимся ранее. Но предпринимаемая теперь попытка проанализировать текст в его единстве должна и сама понимать «Жака» только как часть более широкого целого — всего, что Дидро писал одновременно; больше того, необходимо учитывать, что и все творчество философа и художника станет понятным только при соотношении его с теми проблемами и противоречиями, которые стояли перед материалистами века Просвещения. Поставить «Жака» в связь с «Системой Природы» — значит следовать по пути самого Дидро. Продолжить сопоставление, привлекая «Парадокс об актере», «Элементы физиологии» и особенно «Опыты о Сенеке», — значит еще яснее понять «Жака» изнутри, поскольку Дидро везде, пусть в различных формах, но разным направлениям, но занят одними и теми же разысканиями. Дело в том, что он был более постоянен, чем того хочет стойкая традиция, и тщательное изучение последних лет его жизни и творчества (которое дало бы нам книгу, так же хорошо освещающую период 1769—1784 гг., как освещена в работе Вентури юность Дидро, а в диссертации Пруста — эпоха Энциклопедии) позволило бы наконец понять «Жака-фаталиста» в его подлинном значении: в этом произведении слились воедино искусство и философия.

² Этот термин взят из статьи Ролана Мортье (см.: R. Mortier. Diderot et le problème de l'expressivité... — «Cahiers de l'association internationale des études Françaises», N 13, 1961. — Далее — CAIEF).

Жак — спинозист. Его руководитель (капитан), сформировавший его взгляды, знал Спинозу наизусть (стр. 671)³; став привратником замка Деглан, Жак сам «занимается вербовкой последователей Зенона и Спинозы» (стр. 780). Позволительно, правда, сомневаться, чтобы эти последователи были бы верны учению «Этики». Ведь спинозизм Жака — это спинозизм человека XVIII в., т. е. неоспинозизм⁴. Автор не говорит нам, читал ли его герой Коңдильяка и Локка, но Жак старается внушить своему хозяину, что все идеи рождаются из наших чувств (стр. 509); больше того, его сенсуализм решительно материалистичен: «Различение мира физического и мира нравственного кажется ему бессмыслицей» (стр. 676). Неважно, что он не утверждает с такой же определенностью своего атеизма. Из известного афоризма Спинозы «*Deus sive natura*» (бог или природа) Жак воспринимает фактически только второй термин. Для него — все природа. Отсюда — его равнодушие к гипотезе потустороннего мира: «Я в него ни верю, ни не верю; я о нем не думаю» (стр. 685). Отсюда же его безразличие к рассуждению о существовании или несуществовании бога. И если ему все же случается молиться, как он говорит, «на всякий случай» (стр. 656), то только сопровождая свое обращение к творцу «великого свитка» осторожным «кем бы ты ни был»; но он очень мало заботится о том, чтобы внести ясность в эту последнюю оговорку.

«И что он сделал, этот великий свиток, где все записано? Капитан, который был другом моего капитана, охотно бы отдал малый экю, чтобы узнать это; а сам он не дал бы и обола, как равно и я, потому что к чему бы мне это послужило?» (стр. 503).

С таким сенсуализмом, с таким материализмом, с таким совершенно прагматическим отказом от метафизики мы, разумеется, весьма далеки от «Этики». Как же Жак все-таки решается называть себя спинозистом? А совершенно так же, как барон Гольбах: в «Системе природы» Гольбах и критикует Спинозу и многое берет у него; он принимает его монизм и отвергает то, что называет пантеизмом. Для Гольбаха не существует высшего разума, пусть даже и равновечного природе: все — материя. Но что и барон и Жак в первую очередь заимствуют у Спинозы, так это идею всеобщей необходимости. Гольбах открыто провозглашает свой «фа-

³ Здесь и далее отсылка на страницы дается по изданию: D. Diderot. Oeuvres romanesque. Ed. H. Bénac. Paris, Classiques Garnier, 1964.

⁴ См.: P. Vernière. Spinoza et la pensée française avant la Révolution. 2 vols. Paris, 1954.

тализм». Что же касается Жака, то он, говорит автор, «верил, что человек движется к славе или бесчестию с такой же необходимостью, с какой покатился бы по склону горы шар, пусть бы даже осознающий самого себя» (стр. 670). И именно поэтому тема «великого свитка», где определены все судьбы, возникает в рассказе, подобно рефрену, более семидесяти раз и почти всегда в устах Жака.

Можно почти не сомневаться, что автор наделяет своего героя собственными мыслями. Несколько поздно предлагаемое нам резюме философии Жака (стр. 670—671) напоминает изложение детерминистских убеждений из письма к Ландуа 1756 г.; а уже упоминавшееся любопытное воззвание к творцу великого свитка есть отголосок дерзкой «Молитвы к Богу», которая заключала в 1753 г. «Мысли об истолковании Природы»: «Я ничего не прошу у тебя в этом мире, поскольку течение событий осуществляется по собственной их необходимости; или, если ты есть, по твоему распоряжению...» Жак говорит только о второй части альтернативы, но его парадоксальная «молитва» имеет тот же смысл, что недавний отказ философа от молитвы вообще: ясное понимание необходимости вещей. В этом главном пункте особенно отчетливо совпадение обоих текстов. Правда, оно не снимает всех возражений. Если философия Жака идентична той, что исповедовал Дидро двадцатью годами раньше, то нужно еще доказать, что Дидро 1770-х годов оставался таким же, каким он был в 1750 г. Разве не случилось ему восставать против собственных идей? Часто цитируют как пример колебаний, если не фюкуса, отрывок из письма, где любовник Софьи «бесится» при мысли, что его любовь может быть не свободной⁵. В действительности же эти строчки утверждают не колебания «флюгера» из Лангра, а заслугу умственного постоянства. Потому что, если *сердце* протестует, то *разум* Дидро «не может помешать себе принять» философию, которой он по собственным словам, «пропитан». Нам, впрочем, известна тесная близость идей, всегда связывавшая его с Гольбахом, и мы догадываемся, сколь значителен был его вклад в главный труд барона, по поводу которого он писал в 1773 г.: «Я люблю ясную, четкую и открытую философию — такую, какой нахожу ее в «Системе Природы»⁶.

Не будем же пытаться ни ставить Дидро в противоречия с са-

⁵ «Lettres à Sophie Volland». Ed. Babelon, Gallimard, t. II, p. 272. Упоминание о «комете» позволяет датировать этот отрывок осенью 1769 г.

⁶ Дидро, впрочем, добавляет: «...и еще в большей степени в «Здравом Смысле». — D. Diderot. Oeuvres complètes. Ed. Assézat — Tourneux, t. II. Paris, 1871, p. 398. («Réfutation de l'ouvrage d'Helvetius intitulé «De l'Homme»»).

ним собой, ни противопоставлять его Гольбаху или Жаку. Он — Дени-фаталист. Не будь он «фаталист», он не был бы ни Дидро, ни философ. Все дело в том, что в последней трети XVIII в. фатализм вовсе не являлся одним из возможных мировоззрений среди множества других; он был принципиальным водоразделом между воинствующей философией и ее противниками. Во все не случайно наиболее принципиальные защитники традиционных способов мышления сосредоточивают свои удары на тех, кого они называют «новейшими фаталистами». Утверждать, что все существует в силу необходимости, действительно, означало возратить естественному порядку вещей сразу и *независимость* и *безгреховность* (l'autonomie et l'innocence), в чем ему отказывала христианская религия. Во вселенной, управляемой имманентной необходимостью, нет места ни для Провидения или чуда, ни для свободной воли или греха. Фатализм освобождает человека как от божественного произвола, так и от первородной греховности. Иногда предпринимавшиеся попытки противопоставить фатализм Жака гуманизму стареющего Дидро проистекали из серьезного искажения перспективы. В век Просвещения фатализм служил основанием гуманизма. Именно потому он мог стать точкой согласия всех философов, каковы бы ни были их разногласия вне ее. Как Дидро и хотел этого, начиная с 1753 г., идея необходимости служила принципом, общим и атеисту и деисту. И ему не казалось бесполезным напомнить об этом тогда, когда Вольтер, сам детерминист, восстал против «Системы Природы»; и очень возможно, что и не следует искать иного объяснения удивительной и ставящей в тупик молитвы Жака.

В 1770 г. деисты, верившие в Бога-Часовщика, в Верховного Архитектора, были такими же «фаталистами», как и редкие атеисты. На идею необходимости они только накладывали успокоительную идею конечной целесообразности. Устойчивая двойственность понятия «естественный закон» — понятие одновременно негативное и нормативное — была для них удобным убежищем, где они или скрывали или затушевывали внутренние трудности своей системы. Дело в том, что быть атеистом не просто; позиция эта настолько стеснительна, что даже Гольбах, самый негибачей приверженец атеизма, и тот в свой анализ «природы» тайком вводил конечную целесообразность, принцип которой отрицал; так он поступает, когда чересчур поспешно допускает своего рода предустановленную гармонию между разумом и страстями или между индивидуумом и родом⁷. Эта непоследовательность не помогла ему, выро-

⁷ См., в частности: Holbach. *Système de la Nature*. Première partie, ch. XV—XVII. Первая часть этого утверждения освещена Р. Мози (см.: R. Mauzi. *Idée du Bonheur au XVIII siècle*. Paris, 1960, p. 447).

чем, ускользнуть от двух вечных искушений материализма Просвещения: пессимизма и пирронизма⁸. И он действительно наталкивается на основную антиномию фатализма. Делая из человека одно звено в цепи живых существ, одну вещь среди вещей, фатализм обесценивает человеческую сущность в тот самый момент, когда освобождает ее от всего сверхъестественного; он в одно и то же время и поддерживает и разрушает гуманизм философов.

Агрессивно-догматического тона «Системы Природы» явно недостаточно, чтобы скрыть это противоречие. А Дидро, напротив того, тем и оригинален, что старается его как можно резче выразить. Потому что ни его вероятное сотрудничество с Гольбахом, ни его согласие с некоторыми тезисами барона ничуть не определяют общности их позиций. То, что Гольбаху служит конечной целью, для Дидро скорее точка отправления. Его фатализм столько же ставит вопросов, сколько разрешает их. Например, вопрос обоснования нравственности, столь блистательно набросанный в «Племяннике Рамо»: как легко соскользнуть здесь с фатализма к аморализму. В «Жаке» мы опять находим проблему морали, но под иным углом зрения и в более широкой перспективе, поскольку она связывается здесь с проблемой знания. И, может быть, не столько постановкой вопроса о фатализме является этот странный роман, сколько его критическим изучением и углублением?

Пожалуй, что только тогда, когда читаешь книгу в таком аспекте, диалог Жака и хозяина открывает свое истинное значение. Здесь не только противопоставление двух общественных состояний или двух личностей разной степени одаренности, но и двух способов восприятия мира. Жак гордится своим «тонким умением рассуждать» (стр. 775), и автор подтверждает это, рекомендуя его нам, как «одного из лучших умов, когда-либо существовавших» (стр. 759). Я не считаю, чтобы неумеренная любовь к бутылке компрометировала его как мыслителя⁹: напротив, эта черта очеловечивает его, и я вижу в ней добрый знак раблезианской натуры. Жак отнюдь не грубый пьяница, его любовь пожить в свое удовольствие ничуть не мешает ему обладать надежной головой. Его хозяин довольно быстро убеждается в этом, тут же отпуская двусмысленную шутку: «Жак, друг мой, вы философ, а за это я рассержен на вас» (стр. 563). И не без дурного умысла он повторяет ее на постоялом дворе: «Вы не знаете, хозяйюшка, дело в том, что

⁸ «В бесконечном потоке вещей прошлое и будущее видов нам одинаково недоступны» (H o l b a c h. *Système de la Nature. Première partie. ch. VI*). «И даже если реформы возможны, государства обречены на конфликты и распад» (H o l b a c h. *Politique naturelle, Discours, IX, par. I*).

⁹ Таковую интерпретацию дает Р. Лофер в упомянутой выше статье.

вот этот самый Жак, вот он перед вами, он в своем роде философ, и очень ценит и этих дурачков, которые сами себя бесчестят, и дело, которое они так плохо защищают...» (стр. 617). Раздражение хозяина обличает его: он хулит то, что выходит за границы его умственных привычек. Неблагожелательный аттестат «философа», который он присуждает своему слуге, есть аттестат в неблагонадежности. Хозяин выражает ходячее мнение; его не решился назвать мыслью, оно составлено из предрассудков и заблуждений. Жака раз и навсегда избавил от них «воинствующий философ», каким был его руководитель. Иллюзия конечной целесообразности, сверхприродной и естественной: хозяин хочет верить и верит в будущую жизнь и в Последний Суд (стр. 685); он равным образом верит, что все посюстороннее имеет смысл, даже мухи и комары, досаждающие его слуге: «Природа — говорит он, — не создала ничего ни бесполезного, ни лишнего» (стр. 756)¹⁰. Иллюзия свободы: теснимый доводами Жака, он прибегает к классическому аргументу внутреннего чувства, последнему прибежищу спиритуалистов: я свободен, поскольку ощущаю себя свободным (стр. 758). Но Жак тут же вышибает его из седла, своей злой шуткой развенчивая его претензии на свободу (стр. 775). И вот хозяин повержен или почти повержен, запутавшись в своей ложной свободе, как Станарель в своих доводах. В руках Жака он только марионетка: «Мой полишинель», как говорит его мало почтительный слуга.

Однако Жак слишком умен, чтобы подавлять своего незадачливого партнера умственным превосходством. Хозяин не больше, как «автомат», и мы знаем об этом с самого начала (стр. 515). Но такое же определение приложимо равным образом и к философу, автомату, сознающему свое бытие: «Мы, — уточняет Жак, употребляя на этот раз первое лицо множественного числа, — мы две подлинные машины, живые и мыслящие» (стр. 757). Такова же и вся человеческая жизнь, непрерывная цепь причин и действий. Наша так называемая свобода — это лишь незнание того, что нас обуславливает: «Если бы развертывание причин и действий, образующее жизнь человека с момента его рождения до последнего вздоха, нам было бы известно, мы сохранили бы убеждение, что человек делал то, что необходимо было делать» (стр. 670). Обратим внимание на это условное наклонение: оно выражает не возможность, а пере-

¹⁰ Этот пример с мошкой можно сопоставить, в частности, со знаменитой «Теологией насекомых» немца Лессера (1740), переведенной на французский язык в 1742 г. Автор титует доказать, что неприятности, причиняемые насекомыми, приносят пользу (кн. II, ч. III, гл. IV). Но чтобы еще более обелить Провидение, он уже в следующей главе, не задумываясь, благодарит его за то, что вместе с этими насекомыми оно дало нам средства их уничтожения...

альность настоящего. Жак подсказывает нам мысль, что в цепи причин и действий одной человеческой жизни не одно звено ускользает от пронизательности самого зоркого философа: недостаточно сознавать свою обусловленность, чтобы познать природу и свойства детерминизма; в этом отношении философ вооружен, пожалуй, ничем не лучше, чем неуч. Иногда вселенная и отвечает на вопросы, ей задаваемые, но чаще она предлагает в ответ только обманчивую видимость, загадочную и бессвязную. Все ясно лишь творцу Большого свитка... если только он существует. Но человек — не Бог. Жак, сознающий, что живет в мире, одновременно разумном и беспорядочном, это прекрасно знает. А Дидро, отвергающий разом все формы и догматики и обманчивых уверений романистов, знает это еще лучше.

Теперь становится понятным, что в «Жаке-фаталисте» художественная выдумка вовсе не случайна, а выражает пронизательность размышлений об интеллектуальном состоянии человека в этом мире и о пределах его познания. Но раньше, чем рассматривать, как идея двойственности управляет здесь художественными приемами и воображением, полезно еще раз вспомнить о тесном родстве, которое связывает наш роман с философскими сочинениями Дидро последних десяти лет его жизни. Возглавляя плеяду энциклопедистов, он хотел верить в науку и в прогресс знания, но сам не был ученым специалистом. Напротив того, его постоянная критическая настроенность, настроенность, предвосхищающая кантианство, не раз окрашивает материализм его сочинений этого периода, от «Сна Даламбера» до «Опытов о Сенеке», в цвета откровенного скептицизма. Ничтожный атом, затерянный в мире, где все поминутно меняется, как может человек укрепить свои знания? Если верить, что природа всемогуща, то возможны ли еще знания о природе? Таковы вопросы, тревожащие стареющего Дидро. Вспомним гипотезу, выдвинутую в 1769 г. в Бордо, согласно которой «самые устойчивые законы природы были бы нарушены природными факторами». И в особенности — полное разочарования заключение «Элементов физиологии»: «Мир — это игорный дом. До самого своего конца я не узнаю, что потеряю или выиграю на этой рулетке, возле которой проведу шестьдесят лет с рожком игральных костей в руке. Что я увижу? Формы. А еще что? Формы. Сущности я не схвачу. *Мы — тени для самих себя и для окружающих — мы гуляем среди теней*». И не эта ли грусть, обволакивающая прогулку среди теней, грусть, которой Дидро сопротивляется, а его Жак совсем не поддается, — не она ли порождает неуверенность маршрута нашего путника и колеблющуюся, спотыкающуюся поступь всего рассказа?

В меру строгости своей детерминированности, вселенная «Жака-фаталиста», по крайней мере частично, познаваема. Романтическое содержание увлечений Жака представляет собой цепь последовательных событий, из которых каждое последующее определяется предыдущим, начиная с факта, точно указанного — ранения, полученного при Фонтенуа. Мы узнаем это из слов Жака уже со второй страницы романа: «Богу известны все хорошие и дурные происшествия, вызванные этим выстрелом. Все они не больше, не меньше как простые звенья одной цепочки» (стр. 494). Свойство проницательного ума состоит в умении соотнести эти различные звенья, или восходя от действия к причине, или идя в обратном направлении, и предвосхитить сцепление событий. В перспективе прошедших лет память смотрит на события издали, и они становятся яснее и упорядоченнее: Жак очень понятно рассказывает историю своих увлечений, заново переживая ее. Одаренный тем «наблюдательным и острым умом», который характерен для философа XVIII в., он одинаково умеет и наблюдать и объяснять то, что он видит. Вот, к примеру, «молодая и резвая» лошадь предпочитает получить от пахаря град ударов, лишь бы не работать: для хозяина Жака это рядовое зрелище, самое большое, способное развеять на секунду однообразие путешествия; но сам Жак тотчас заключает из такого необычного поведения, что это — верховая лошадь, следовательно, краденая, и, может быть, даже именно та, что в самом деле была украдена у хозяина (стр. 760). Та же проницательность неоднократно позволяет ему вперед угадывать в рассказе своего товарища его любовные увлечения (стр. 722, 729 и др.): он сразу понимает, что за типы все эти чересчур услужливые ловкачи — разные Мерваль, Лебрен и Матье де Форжо. Необходимое сцепление причин и действий исключает в одинаковой степени как случайность, так и чудо: вот почему оно дает основание для наблюдения, анализа и предвидения. В обществе, логически упорядоченном, наука становится возможной.

Это отнюдь не означает, что она легка, и хозяин убеждается в этом на собственном горьком опыте. Даже Жак поначалу теряется, когда его лошадь по непонятному капризу два раза подряд приводит его к подножью виселицы. С уверенностью, в которой больше суеверия, чем злобы, хозяин тотчас дает свое истолкование происшествию и предсказывает своему слуге зловеший конец. Однако Жак, поразмыслив, успокаивается; он понимает, что предпо-

лагаемый знак судьбы имеет множество различных значений и поспешное заключение легко может не совпасть с последующим ходом событий. Так оно и случилось: мы узнаем, что лошадью руководила профессиональная привычка: ее первый владелец был палач...

Магические силы конечной целесообразности уступили место причинно-следственной зависимости, простота которой полностью удовлетворяет разум, освобождая в то же время душу от суеверного страха. Все дело лишь в том, что причина не проявляется непосредственно, а может и совсем не проявиться. Лицом к лицу с загадочным происшествием возможны две позиции: поспешность хозяина, которому кажется, что он все понимает, поскольку во всем видит *знаки*, или осторожность Жака, который, не поддаваясь непосредственному впечатлению, умеет проанализировать все возможности и не торопится с окончательным суждением.

Развитие темы предзнаменований у Дидро очень поучительно. Тщетность предсказаний хозяина проявляется блистательно и неоднократно, и анекдот о сломанном кольце (стр. 565), который он сам рассказывает, должен бы был излечить его от этой страсти. Но он не может помешать себе верить предчувствиям: «Я над этим смеюсь и в то же время трепещу, признаюсь в этом». По его мнению, точно так же, как не может быть бесполезных насекомых, так и каждое событие имеет какой-то смысл по отношению к человеку, и Дидро не упускает случая осмеять этот антропоцентрический предрассудок. Навиости хозяина вольно верить, будто все одарено значением; пронизательный ум философа отрицает такой мир, ложно упорядоченный и насквозь ясный. Не он далеко не уверен, что это отрицание нацелено только на вульгарное благочестие, столь похожее на суеверие. Дидро мог также иметь в виду и свой спор с Гольбахом, отголосок которого донесла до нас его переписка¹¹. В ходе спора барон защищал перед ним принцип следующего астрологического суждения: если во вселенной все соотнесено, если все оказывается связанным в непрерывной цепи, то почему же события, даже чувства человека не могли бы зависеть от движения звезд или прохода кометы? «Я согласился,— сообщает Дидро,— что Сатурн производит на нас действие, подобное действию пылинки на механизм башенных часов». Так он пришел к утверждению, «что атеизм — это ближайший сосед своеобразного суеверия и столь же пагубен». Разумеется, барон не в силах был противостоять очарованию такого парадокса, но Дидро мог бы привести и

¹¹ «Lettres à Sophie Volland», t. II. p. 266 (отрывок без даты). Ср. с началом отрывка, цитированного выше, в сноске 5.

иные примеры перерождения знания в ясновидение и опытного рационализма в пристрастие к оккультным наукам¹².

В чрезмерном стремлении к доказательности Гольбах или его приверженец Нэжон поддаются обману, подобному тем обманам, которые они ниспровергают. Для них, замечает еще Дидро в том же отрывке, «ничто не безразлично в порядке вещей, которые связываются и движутся общим законом; кажется, будто все одинаково важно. Нет ни значительных, ни незначительных явлений». Как христианский мир хозяина, где повсюду виден перст Провидения, вселенная барона — это мир сверхдетерминированный. Дидро, со своей стороны, отбрасывает вовсе не атеизм как таковой, а только эту сверхдетерминацию, извращение, столь же неприемлемое в его глазах, как и схожий с ним провиденциализм. На самом деле он знает, что существуют разные уровни реальности и что явления имеют разную степень значительности. Как примиряет он эту догадку с мыслью о Целом, мыслью, «без которой не было бы философии»?¹³ «Жак-фаталист» нам этого не говорит, зато подает нам мысль, что дешифровать мир очень трудно, и предостерегает нас от ложной очевидности: астрологическое объяснение, как и объяснение христианское, оба грешат излишней упрощенностью.

Однако упростибельское заблуждение не является фактом одного лишь «суеверия» — все равно суеверия благочестия или суеверия атеизма. Оно лежит и в основе романтической литературы. В мире романа тоже все наделено смыслом — хорошим или дурным. И роман сентиментальный и роман ужасов в этом отношении одинаково успокоительны и примиряющи. Поэтому автор «Жака» не устает повторять, что он отнюдь не берет на себя труда романиста: «Это вовсе не роман» (стр. 528). Он или не считаете с привычными жанрами (шортреты, письма, мемуары), или пародирует их. Он изощряется в старании спутать все линии, перемеши-

¹² Весь вопрос об «оккультных источниках романтизма», пересмотренный недавно Огюстом Вяттом, следовало бы изучить еще раз в связи с материализмом XVIII в. Тогда стало бы видно, каким образом развитие самого воинствующего рационализма могло логически привести к его полной противоположности. С этой точки зрения «преромантизм» уже не кажется нам исторической случайностью или «реакцией чувства» на сухой рационализм. Ведь рационализм Просвещения вовсе не был таким уже сухим даже у Гольбаха, воспитанного на немецкой химии, еще очень близкой к алхимии. Некоторые вехи этого необходимого пересмотра наших привычных взглядов я наметил в моей работе «*Idée de Nature en France dans la première moitié du XVIII siècle*» (1963), а также в статье «*Les sources occultistes de la pensée de Diderot*» (CAIEF, 1961).

¹³ D. Diderot. *Oeuvres complètes*, t. LVIII (De l'interprétation de la Nature).

вая в своем повествовании различные планы, все время перебивая рассказ необычными встречами и происшествиями, вмешательством рассказчика или воображаемого читателя. «К систематическим перебоям в рассказе или диалоге»¹⁴, ритм которых так же неровен, как речь Жака, постоянно прерываемая каким-то иканием (стр. 547 и 549), прибавляется нарочитая неопределенность. Дидро проявляет дьявольское постыянство в желании обмануть наше любопытство. Без конца отказывает он нам в топографических, хронологических, биографических сведениях, которые мы считаем себя вправе требовать от романиста. Эта бесцеремонность выступает уже на первых страницах; а в последний раз мы чувствуем ее на себе в конце тома; сперва пригрозив нам совсем не дать конца (стр. 777), потом неохотно сплззойдя до поспешной и условной развязки, рассказчик бросает нас с нашим настойчивым вопросом — был все-таки или нет Жак рогоносцем? — на неясной границе истории без начала и без конца, лишенной, собственно говоря, и головы и хвоста.

Что в этом «беспорядке», давно обличаемом критикой, больше дерзости, чем небрежности, мы сомневаться теперь не можем. Сегодня мы знаем, что «Жак» не был импровизацией нескольких недель или месяцев, а выплывался в течение двенадцати или двадцати лет; автор много раз возвращался к работе над ним, и последняя переработка была завершена Дидро в самые последние месяцы его жизни, по желанию Екатерины II¹⁵. Робер Мози дал великолепный анализ замысла и пародийных приемов книги; он хорошо показал, что романтическая пародия здесь тесно связана с манерой видеть мир непроницаемым и тревожащим и что Дидро осмеивает в нем потуги романистов «заступить место судьбы и так перестроить вселенную, чтобы все ее значения были целостными»¹⁶. Сам-то Дидро прекрасно знает, что на лестнице человеческой жизни есть и ступени пустых событий, которые нечего объяснять, поскольку они лишены значения. Не позволим себе ошибиться, увидев в романтической неопределенности отрицание детерминизма: наоборот, эта неопределенность является литературным выражением той предопределенности, которую разум человека, подчиняющегося ей, еще не постиг или постиг не до конца. Жак отмечает, что судьба «лукава» (стр. 565). Это значит, что, хотя иногда мы можем понять сцепление причин и действий, чаще оно представляется нам

¹⁴ Это выражение принадлежит Р. Мози, идеи которого автор широко использует в данном разделе.

¹⁵ Ленинградская рукопись.

¹⁶ R. M a u z i. Op. cit.

под обличьем «капризов судьбы»: от нас так и остается скрытым, что перевозит «мрачная повозка», дважды встреченная путниками (стр. 537 и 542); почему ее украшает герб руководителя Жака, и сам руководитель, жив он или умер. Если же события сами по себе не представляют загадки, то загадочна манера их появления перед нами. Дидро блестяще пользуется вольтеровским приемом итогового обобщения: например, когда Жак несколькими фразами рисует поток неудач, обрушившихся на него в городе, нагромождая «я сделал», «я был» столь однообразно и беспорядочно, что доводит всю бестолочь событий до полной невразумительности (стр. 521). Или когда Жак перечисляет всех хозяев, которым он служил (стр. 657); подобный же способ передачи позволяет нам схватить одновременно и необходимость и случайность сцепления событий в их естественной жизненности: от одного хозяина к другому все то же утомительное повторение: «который мне дал», в конце — в чуть измененной форме «который меня рекомендовал» или «который меня ввел» — повторение, как будто бы воспроизводящее преемственность связей; а в то же время бесчисленные «это он, кто...», без церемонии поставленные рядом («это он, кто...», «это г-н Паскаль, который...»); нагромождение смачных и несуразных подробностей о каждом из вереницы хозяев (граф де Турвиль, «который предпочел отпустить себе бороду и прикрыться расой капуцина, чем выставить напоказ свою жизнь»; «маркиза де Беллуа, бежавшая в Лондон с каким-то иностранцем»; как? почему? Мы не только ничего об этом не узнаем, но даже не успеваем задать таких вопросов); резкий контраст между монотонностью отрывка и удивительной живостью его продолжения — все создает противоречивое впечатление; мы оказываемся вовлеченными в сумятицу столь же произвольных, сколь роковых событий, и улыбка, которую вызывает краткий рассказ Жака, не лишена некоторой тягостности.

Эти мысли Дидро, не нарушают ли они нашего интеллектуального покоя, заставив нас принять участие в том, что Роджер Кемпф столь удачно найденным определением называет «опытом неуверенности»¹⁷? Если мы отвлечемся от интриги или от переплетения интриг, чтобы сосредоточить свой интерес только на лицах, то наше смущение лишь возрастет. Жак предупреждает нас, что недостаточно представить вещь, «какова она есть» (стр. 544). Искусство Дидро руководствуется этим соображением. Удаляя все субъективные свидетельства, он нам показывает своих героев в действии. Говорят о психологии поведения. Боюсь, как бы подобное

¹⁷ Roger Kempf. Diderot et le roman ou le démon de la présence. Paris, 1964, p. 207.

толкование не оказалось бы столь же ошибочным, сколь и анахроничным. Несомненно, Дидро был убежден, что другого мы в состоянии узнавать лишь извне, отчего он всегда представляет нам своих героев только внешне, через их поступки и их речи. Но в психологии он не больший специалист, чем в какой-нибудь иной области знания. Он не считает, что манера поведения, жест, случайное движение выражают сложность существа; эти объективные и достоверные показания нужно еще уметь правильно истолковывать. Иногда жест может быть сразу понят, по крайней мере, внимательным наблюдателем: так именно обстоит дело, когда Жак по «странным манерам» молодого товарища маркиза дез Арси угадывает в нем монаха-расстригу (стр. 666—667). Но этот простой случай профессиональной несурзости раскрывает перед нами лишь общественное положение лица. Говоря о Гуссе, благородном воре, Дидро бьется об заклад, что нам ничего не скажет «поведение людей» (стр. 556). Их внутренняя сущность остается для нас столь же непроницаемой, как и события, записанные на Большом свитке. Все содержит в себе какую-то долю тайны. При первом знакомстве хозяйка, с такой уверенностью и добродушием управляющая мирком харчевни Большого Оленя, кажется совершенно понятной; но вот эта кумушка поражает путешественников изяществом своего языка, а потом в нескольких словах сообщает, что она воспитывалась в Сен-Сире: «От королевского аббатства до харчевни, которую я содержу, путь неблизкий» (стр. 620). Как прошла она этот путь? Мы предполагаем то ли драму, то ли интригу, но больше ничего об этом не узнаем. Единственно, что указывает нам путь догадок, это слово, вырвавшееся у хозяйки по поводу юной д'Энон и ее печального ремесла: «Не смейтесь, это чересчур жестоко. Если бы вы знали, как страдаешь, когда тебя не любят...» (стр. 616). С этим предупреждением, которое было, возможно, попыткой признания, чуть позднее перекликается другое, как будто отвечающее нашим догадкам, о цельности личности д'Энон, сперва послушного орудия заговора, потом — кающейся Магдалины: «А кто знает, что происходит в глубине сердца юной девушки...?» (стр. 643). То же «кто знает?» равно применимо к перерождению маркиза, легкомысленного вольнодумца; бурная страсть внезапно ломает его жизнь, но он находит мужество противопоставить светскому мнению свое прощение. Но больше всего приложимы эти слова к мадам де ля Поммерэ. «Ад — не самое худшее рядом с ней», — восклицает Жак (стр. 633). И действительно, изощренность опытной комедiantки, умение создать выгодную ситуацию, искусство лгать, терпеливая и упорная мстительность — несут в себе что-то сатанинское. И, однако, этот холодный ум и чудовищное по-

стоянство вовсе не исключают искренности ее поступков. Возможно, что мадам де ля Поммерэ, как старается нам внушить романист,— это женщина непосредственного действия... только действия длительного (стр. 652). Возможно, что эта лгунья даже искренна: несмотря на силу самообладания, она не всегда хозяйка своих поступков: «Ненависть и гнев душили ее, и она отвечала маркизу дрожащим и прерывающимся голосом» (стр. 633). Возможно, что она страдает так же сильно, как и ненавидит. «Дурная женщина?» Отчасти. Но, как и юная д'Энон,— жертва: жертва подлинного нравственного убийства. Хозяин, единственный раз проявив больше прощательности, чем Жак, готовится стать на ее защиту; со своей стороны, и автор выступает с горячей речью в ее пользу (стр. 651—652).

Добры они? Или злы? Мы могли бы принять для многих из персонажей «Жака-фаталиста» заглавие последней театральной пьесы философа («Хорош он или дурен?»). Одни и те же поступки могут быть следствием столь различных причин и мотивов, что всякая оценка поведения становится ненадежной. Эта проблема сильно занимала Дидро в последние годы его жизни. Она же стояла перед ним в истории мадам де ля Карльер, в рассказе с весьма знаменательным заглавием: «О непоследовательности общественной оценки наших частных поступков». И в «Жаке-фаталисте» разнообразие оценок поведения мадам де ля Поммерэ или мадемуазель д'Энон доказывает, что проникнуть в тайны живого существа не легче, чем в тайны событий. Сложность физиологических, психологических, социальных определений, применимых к каждому человеку, делает прозрачную обычную претензию вынести по каждому случаю твердое суждение. Настаивая на этой мысли, Дидро не выходит за логические границы своего «фатализма». Нужно в самом деле понимать, что его осторожность как моралиста соответствует его идеям как философа. В этом пункте особенно хотели противопоставить его самому себе, павязывая ему симпатию к его исключительным персонажам: мадам де ля Поммерэ или к отцу Худсону (Hudson), симпатию, которая пробила бы брешь в его детерминистских убеждениях¹⁸. В действительности Дидро остерегается смешивать проявление природной энергии у выдающихся личностей с воображаемой свободой. Со всеми качествами ума и силой характера Худсон навеки раб своего темперамента, обусловленного «самыми необузданными страстями... самой безудержной

¹⁸ Именно такую интерпретацию предлагает, например, Апри Бенак в комментариях к своему изданию романов Дидро (см.: *Diderot. Oeuvres romanesques*, p. 892—893).

склонностью к наслаждениям, к женщинам» (стр. 673); дело в том, что от законов природы не ускользнешь, и принять позицию ее противника — значит обречь себя на отчаяние и безумие, как это показывает «Монахиня», или на лицемерие и коварство¹⁹. «Гений» же мадам де ля Поммерэ отнюдь не позволяет ей торжествовать над уловками судьбы: ее образцовая мстительность парадоксальным образом устраивает счастье того, кого она хотела наказать. А если она и взваливает на себя бремя собственной судьбы, то, как подчеркивает автор, только потому, что возраст и характер вынуждают ее после измены маркиза подчиниться суровым требованиям среды. Здесь уместно вспомнить благородный и умный очерк Дидро «О женщинах»: он видит в них жертв, задавленных жестокостью природы и жестокостью общественных учреждений. Мы все время ловим рассказчицу на том, что она говорит о своей героине то в первом, то в третьем лице множественного числа (стр. 595, 599, 613): здесь сказывается инстинктивная солидарность, объединяющая жертв одного и того же гнета, независимо от различия их общественных положений и от силы их моральных убеждений. Одновременно это и показатель того, что исключительность судьбы мадам де ля Поммерэ лишь убедительно подтверждает общий закон.

Странные, необыкновенные, «несуразные» (стр. 589) происшествия; люди, истинная сущность которых или ускользает от нас или лишь только мимолетно приоткрывается нам; жизнь, состоящая, по словам Жака, из «недоразумений» (стр. 544); видимости, обманчивые, но полные значения для тех, кто умеет разгадать их, — таково парадоксальное содержание «Жака-фаталиста». Так что же это: подлинный роман или антироман? Если считать назначением романа выражение пережитого, от этого вопроса не уйти. Р. Мози мастерски разобрал двойственность авторского замысла, состоящую в том, чтобы мнимым отказом от внешних атрибутов романа еще вернее утвердить этот жанр: пародия «сохраняет то, что по видимости разрушает»²⁰. Правда, автор не стесняется прибегать в ходе рассказа к приемам, искусственность которых он критикует: встречам, совпадениям. Правда и то, что его персонажи — живописные силуэты или яркие индивидуальности — своим воздействием обязаны как силе выразительности, так и заложенной в них туманной неопределенности. Может быть, мы, как

¹⁹ «Но почему же они такие злые?» — спрашивает Жак о монахах. И хозяин отвечает ему, быть может, сам не понимая глубины своих слов: «Думаю, именно потому, что они монахи».

²⁰ R. M a u z i. Op. cit.

и Р. Гримсли²¹, увидим в избытке действующих лиц, в многочисленности происшествий, в отступлениях, «в напряженности, порой граничащей с галлюцинацией», отдельных эпизодов — доказательство того, что книга не удалась Дидро, что одержимый романист подменил здесь философа? Все сказанное исключает в отношении «Жака» такую интерпретацию литературного творения. Дидро может на отдельных страницах позволить себе увлечься собственными интригами, но он постоянно помнит, куда он ведет нас. «Жак-фаталист» — это осуществление «Парадокса о романе», который Дидро мог бы написать в параллель к своему «Парадоксу об актере». В этом продуманном произведении воображение романиста все время контролируется и направляется критическими целями философа. Удовольствие читателя определяется не эмоциональным воздействием, а его активным участием в анализе самых разнообразных жизненных ситуаций. Поэзии бродяжничества, молодечеству игривого анекдота или лирике сентиментальной истории все время сопутствует интеллектуальное наслаждение поисков истины, которая нигде не дается заранее. Воображаемый читатель, который вмешивается в рассказ, читатель, возражающий и опровергаемый, — это критическая совесть читателя действительного²². Что касается автора, то он без церемоний оставляет свою традиционную привилегию, чтобы среди остальных персонажей тоже занять место действующего лица, человека, как все. Как стал бы романист присваивать себе знания всеведущего Бога, когда само существование творца Большого свитка философу представляется столь проблематичным?..

«Истина, истина!» (стр. 526). Она — единственная цель и романиста и философа. Но поскольку один отрицает романтическое откровение так же твердо, как другой — откровение религиозное, то истина становится для обоих не больше как смутным понятием неуверенных исследований. Отсюда берут начало отчетливые черты того, что принято называть *реализмом* Дидро. Нетрудно выделить все, что художественный вымысел «Жака» извлек из живой действительности XVIII в.: реальности быта, в отношении которых исследователям еще многое предстоит уточнить²³; намеки топографические и хронологические; черты нравов, факты экономи-

²¹ Ronald Grimsley. L'ambiguïté dans l'oeuvre romanesque de Diderot.— CAIEF, N 13, 1961.

²² Роль воображаемого читателя определяется в современном тексте первой версией «Парадокса» (1773): «Это не сказка».

²³ См.: P. Vernière. Op. cit.; Fr. Pruner. Clés pour le Père Hudson.— «Archives des lettres modernes», 1966.

ческой и социальной жизни. Можно восстановить, например, по «Жаку-Фаталисту» точную картину сельскохозяйственного кризиса 1770 г., последствия которого Дидро мог наблюдать на востоке Франции. Разъяснения пройдохи (compère), досаждающего трактирщику своими домогательствами (стр. 589—592); укоры мужа чересчур мягкосердечной жене, подобравшей раненого Жака (стр. 510); причитания женщины над разбитой кружкой (стр. 571) — три эти эпизода ставят самый точный диагноз деревенской нищете: дороговизна зерна, которая делает невозможной покупку семян и ставит под угрозу будущий урожай; безработица, долги, опустошение деревни, проституция, нищенство и бродяжничество, контрабанда и бандитизм²⁴. Вместе с Дидро мы очень далеки от живой игры в деревенскую идиллию, в которой тогда же находило удовольствие бесцветное воображение его друга Мармонтеля. Однако было бы анахронической ошибкой рассматривать роман как предшественника, пусть еще смутного, знаменитого социального романа XIX в. И если Дидро — не Бальзак, то отнюдь не потому, что его воображение недостаточно сильно, и не потому, что он не родился несколькими десятилетиями позже, а потому, что он по-прежнему смотрит на мир. Его взгляд на бытие и на условия человеческого существования в последние годы жизни заставляет его постоянно вводить в свои художественные произведения «детали», почерпнутые из наблюдений за реальной действительностью (в 1761 г. он восхищался этим приемом в произведениях своего учителя Ричардсона), или те абсолютно достоверные «мелкие факты», которые характеризуют, согласно заключению к «Двум друзьям из Бурбонна» (1770), «исторический» рассказ. Но логика его мышления запрещала ему как широкие полотна или длинные описания, так и портреты во весь рост или орнаменты психологических анализов. Вводя своих действующих лиц, описывая события или обстановку, Дидро должен был довольствоваться отдельными указаниями, самое большее — слегка сгруппированными. Его внутреннее ощущение необходимости и бесконечной сложности всего происходящего и существующего предписывало ему «разорванное» реалистическое изображение жизни и вещей. Никакое целостное восприятие не дано тому, кто убежден в расчлененности и фрагментарности общего знания.

²⁴ См. по этому вопросу: R. Kempf. Op. cit., 2-ème partie, а также книгу J. Smicjanski. Le réalisme de Diderot dans «Jacques le Fataliste». Paris, 1965. Мнение этих авторов следует сопоставить со справедливыми замечаниями Жака Пруста в его введении к книге: Diderot. Quatre contes. Genève, 1964.

В «Жак-фаталисте» скрытая двойственность содержания, как и двойственность пародийной фантазии, заостряющей реализм содержания, отражают извечную двойственность вселенной, в целом непознаваемой и доступной знапию лишь частично. Р. Мози, несомненно, прав, находя в трех романах Дидро картину человеческого помешательства: «Монахиня», — пишет он в предисловии к этому роману, — рассказывает нам о физиологическом безумии, «Племянник Рамо» — о безумии общественном, а «Жак-фаталист» — о безумии метафизическом»²⁵. Необходимо при этом уточнить, что это лишь три лейтмотива и что, к примеру, общественное безумие, как и физиологическое, равным образом показаны в «Жаке». Необходимо затем напомнить, что в нескольких десятках строк, излагающих нам «спинозизм» Жака, помешательство вовсе не является абстрактной материей спора, а дано нам непосредственно в самой структуре повествования. Наконец, и это, возможно, самое главное, каждый из этих трех больших текстов обладает собственной тональностью. Дидро случается, работая над «Жаком», самому умиляться перед собственным рассказом, как будто он одалживает свое перо Сюзанне Симонен; но ведь он понимает, «что задача состоит не только в том, чтобы быть правдивым, но и в том, чтобы быть приятным» (стр. 507). Он совершенно открыто отдает свою книгу под покровительство Мольера (там же) и Рабле (стр. 777); в конце жизни он предлагает ее мадам де Вандель как средство против ее недомоганий²⁶. А это значит, что безумие, там описанное, лишено трагизма. «Жак-фаталист», роман философский, призван не только излагать мысли, он учит определенной манере жизненного поведения; этим поведением является ласковая мудрость стареющего Дидро²⁷.

Наряду с уже отмеченными размышлениями о неопределенности нравственных суждений внимание мудреца привлекают в «Жак-фаталисте» и еще две существенные проблемы, присоединенные к теме всеобщей необходимости: первая говорит о сексуальной и

²⁵ Diderot. La Religieuse, texte édité et présenté par R. Mauzi. Paris, 1961, p. XXXVI. Но верно ли, что в «Жаке» свобода искусства *противоречит* теме отчуждения (p. XXXVI)? Мне кажется, что она скорее *выражает* ее самым непосредственным образом.

²⁶ Интересно сопоставить эти слова с его запиской от 27 сентября 1780 г., где он пишет Местеру по поводу рассказа монахини: «Я уверен, что он гораздо сильнее печалит ваших читателей, чем Жак их позабавил».

²⁷ «Не столько невзирая на его фатализм, сколько именно благодаря ему», — вполне справедливо пишет Ж. Фабр (см. J. Fabre. Sagesse et morale... Op. cit., p. 185).

этической сторонах любви, вторая — о месте философа среди людей, о соотношении мудрости, действия и страстей.

«А потом, читатель, всегдашние любовные истории...» (стр. 671). Пройдя две трети своего повествования, автор притворяется, будто открывает его великое однообразие. Жак еще раз прерывает рассказ о своих любовных похождениях, и мы выслушиваем историю мадам де ля Поммерэ. Протест автора служит лишь вступлением к приключениям и злоключениям отца Худсона; затем мы последовательно знакомимся с первыми любовными увлечениями Жака, его хозяина, Деглана и, наконец, хорошенькой вдовы; в конце концов любовные приключения Жака и Дениз находят, в самых последних строках романа, столь неопределенное заключение, что мы сразу улавливаем его иронический смысл. По-разному развернутые, непохожие по тону, рассказанные истории объединены общим сюжетом. Ответственность за это романист перекладывает на читателя, навязавшего будто бы свои требования и привычки: «Пока вы существуете, вам только и подавай, что любовные истории. Эта ваша пища, и уж вы ее не упустите... — по правде говоря, это чудесно» (стр. 672). Смеясь над этим неутолимym аппетитом читателя, Дидро лишний раз изобличает ложный авторитет романистов: идеализированная любовь — традиционное содержание повествовательной литературы, поэзии, театра и пластического искусства — так же чужда действительной любви, как опереточные пастухи подлинным крестьянам Иль-де-Франса или Шампани. Но неизменный успех подобных обманов доказывает, что они таят в себе зерно истины и отвечают нашей нескороенимой потребности. Потворствуя этой потребности, романист умело ее использует: в форме художественного вымысла он снова предпринимает то исследование, которое уже начал в «Продолжении разговора с Даламбером» (1769) и в «Дополнении к путешествию Бугенвиля» (1772). Два положения переплетаются в этих текстах — законность сексуального стремления и его неизбежная изменчивость.

Отрывок, где Дидро прикрывается Монтенем, чтобы провозгласить право называть вещи своими именами и не стыдиться непристойностей (стр. 715), оправдывает физическую любовь: в слове так же нет грязи, как и в действии. Эта мысль иллюстрируется историей двух дам — Сюзон и Маргерит, которая показывает без излишней скромности физиологическую реальность любви: свободная от недомолвок и во всем противоположная «Нескромным драгоценностям», это вместе с тем не соблазнительная, а по-здоровому вольная история. Анекдот о викарии служит ей карикатурным противовесом. Насколько чувственность Сюзон и Жака кажется не-

винной, настолько отвратительно лицемерное распутство викария. Для Дидро монах или священник, по самому своему определению, — существо порочное, поскольку противоестественное; такое существо может сохранять веселость и благородство, только откровенно удовлетворив свои желания, как брат Жан, столь охотно «жепившийся» на девушках через два месяца после своего визита к ним (стр. 531). Но бедный брат Жан был чересчур добрым малым, чтобы долго благоденствовать в своем монастыре: для преуспеяния на этом пути надо было обладать коварством Худсона, уметь прикрывать разврат притворством. Нам ничего не дадут примеры распутства монахов или коварства священников, которые могли подсказать Дидро похождения Худсона; жизненность персонажа гораздо больше зависит от психо-физиологической истинности его характера, чем от изучения нравов. Дидро, едва не вступившему в монашеский орден и, вероятно, знавшему в юности мистические порывы, было известно, что собой представляет так называемое призвание; поэтому он отказывался признать за «глас Божий» и за потусторонний призыв «первые усилия развивающегося темперамента» (стр. 672). Этот медицинский диагноз включает всю его философию монашеской жизни; он одинаково объясняет и «Жака-фаталиста» и «Монахиню».

Если выведенная из природных потребностей мораль философа осуждает как фальшивые добродетели воздержание и целомудрие, то не менее сурово осуждает она и такую «светскую» добродетель, как верность. Ору разъяснял капеллану, что верность «противоречит общему закону бытия». В «Жаке фаталисте», как и в «Дополнении», почти в одних и тех же выражениях верность осуждается как фикция, противоречащая всеобщему развитию природы: в мире, где все непрерывно меняется, как могут оставаться неизменными чувства? ²⁸ В то время, как «Дополнение» отстаивает сексуальную свободу (в границах, впрочем, более тесных, чем обычно думают, как показал Дикман в своей работе), «Жак» показывает на примерах лживый характер клятв в вечной любви. Нетрудно видеть, как тесно связаны в романе «любовные истории» с темой фатализма; но и двойственность фаталистической морали бросается в глаза. Она противопоставляет естественность и природную необходимость общественным требованиям и религиозным предрассудкам; но за освобождение снова приходится расплачиваться душевными потрясениями, мучительность которых Дидро уже испы-

²⁸ См.: D. Diderot. Oeuvres romanesques, p. 604; «Textes littéraires français». Ed. H. Dieckmann. Genève — Lille, 1955, p. 26—27.

тал. Без измены мадам де Мо знаменитые размышления, вдохновившие Мюссэ на его поэму «Воспоминание», и относительно которых автор сам признается, что не знает, касаются ли они Жака, хозяина или его самого, вероятно, не окрасились бы в тона такого хватающего за душу лиризма, который звучит в шутке: «О дети! Вечные дети!» Становясь естественным явлением, измена не делается легче для ее жертвы. Признать закон природы — значит признать право на измену, но одновременно и оплатить ее дорогой ценой. Двойственность темы фатализма в этом смысле очень ясно выступает и в форме и в тоне повествования: вслед за волнующей историей мадам де ля Поммерэ идет ее игривый вариант в басне о Ножке и Ножках (стр. 605), живость которой предвещает веселость рассказа о первых похождениях Жака.

Тридцать страниц, посвященных Маргерит, Сюзон и викарию (стр. 688), не были опубликованы в «Correspondance littéraire» за 1778—1780 гг.; это более позднее добавление свидетельствует, что в последние годы жизни Дидро хотел укрепить жизнерадостный дух своей книги²⁹. За исключением отдельных страниц «Жак-фаталист» вовсе не является чувствительным романом типа «Клариссы» или «Мопхинни», и нам ясно, в каком направлении развивались эстетические воззрения его автора от «Похвалы Ричардсону» до «Парадокса об актере». Герой отрицает, однако, будто у него «сердце из бронзы», и если он сберегает свое сочувствие для лучших случаев, чем гнев Бигра (Чёрта) и отчаяние Жюстины (стр. 697), то его язвительный смех несколько не свидетельствует об его жестокости, в чем его упрекает хозяин. Жак гордится своей «чувствительностью», т. е. тем, что он и эмоционален и великодушен. Доступный чувству сострадания, как и чувству признательности, он знает и минуты несдержанного гнева. Жизнерадостность, лежащая в основе его характера, далека от неуязвимости. Делались попытки поведением Жака опровергнуть его фаталистические убеждения. Автор предупредил такие попытки: «Рассуждая подслепным образом, — говорит он нам, — можно было бы предположить, будто Жак ничему не радуется и ничем не огорчается; однако это не так. Он ведет себя почти так же, как вы и я» (стр. 671). Действительно, Жак попытался подняться до состояния высшего безразличия, которое тысячелетней традицией превращено в привилегию мудрецов. Как он сам объясняет хозяину (стр. 574), ему очень бы хотелось достичь полного овладения собой, стать «выше всего». Но усилия его оказываются бесплодными: «Я от этого отказался; я ре-

²⁹ См.: «Correspondance littéraire» за апрель 1786 г.; J. Varloot. Op. cit.

шил остаться таким, каков я и есть; и, размышляя об этом, я убедился, что все ведет в сущности к одному и тому же, с одной оговоркой: какое имеет значение, каков ты есть? Это лишь другая форма покорности судьбе — более легкая и более удобная.

Кажущаяся непоследовательность Жака только подтверждает непогрешимость его логики: неудача показывает ему бесплодность стоических стремлений к аттараксии и подводит к заключению, которое Дидро формулирует во второй части «Опыта о Сенеке»: «Счастливей человек стойков — это тот, кто не знает блага вне добродетели и зла вне порока; кого события не в силах ни принизить, ни превознести; кто презирает все, что он не властен приобрести или сохранить, и для кого наслаждаться — значит презирать наслаждение. Таков, по-видимому, совершенный человек; но будет ли совершенный человек естественным человеком?»³⁰ Вообще, добавляет Дидро в том же отрывке, мораль стойков — это не что иное, как «длинная цепь софизмов». Следуя вместе со своим веком к его закату, он и сам ищет какого-то неостоицизма; отсюда и его интерес к Сенеке: римский философ представляет для него исключительный пример стойка, сумевшего остаться обыкновенным человеком. Сенека в самом деле очень похож на Жака: «Я не думаю, — пишет Дидро, — чтобы был другой человек с характером, менее расположенным к стоицизму, чем Сенека, — мягкий, человеческий, отзывчивый, нежный, сострадательный. Его стоицизм был чисто рассудочным, а сердце постоянно увлекало его за рамки школы Зенона»³¹. Дело в том, что сердце, как и тело, целиком определяется природой: стоическая гордость забывает эту элементарную истину.

Подлинный философ свободен от претензии быть аскетом, героем или святым. Он — человек, а не сверхчеловек. Согласно Дидро (да и Жаку тоже), подлинная мудрость состоит в умении принимать все, что существует. Хозяин «отдается своему существованию» (стр. 515); философ Жак ведет себя точно так же, привыкнув подчиняться и собственной лошади и обстоятельствам (стр. 520). Но поскольку это приятие основано на прозорливости, оно вовсе не есть чистая пассивность. Хозяин — бездушный автомат — пассивен. Жак — автомат, одаренный сознанием, — становится человеком действия, едва обстоятельства этого требуют. На первых страницах романа сцена в подозрительной харчевне уже свидетельствует об его энергии и присутствии духа. Этот эпизод следует сопоставить с темой благотворительности, место которой

³⁰ D. Diderot. Oeuvres complètes, t. IV, p. 315.

³¹ Там же, стр. 286.

в романе показал Роже Лоффер. Философ так же безразличен к добру и злу, как к истине и заблуждению. Автор подчеркивает это, говоря о Жаке: «Он негодовал против несправедливого человека; а когда ему замечали, что он похож на собаку, кусающую камень, которым ее ушибли,— дудки, отвечал он, камень не становится лучше, испытав укус, а человека камнем можно исправить» (стр. 671). Действие поборника справедливости, воспитателя, становится дополнительным звеном в цепи причин и действий. Тут звучит у Дидро старая мысль, от которой он не отказывается и в старости, хоть он и утверждал в 1773 г., споря с Гельвецием, что сила воспитателя — в широком смысле слова, заметим себе, влияние среды — весьма ограничена. В мире необходимости, смысл которого ускользает от нас, инициатива человека неизбежно заключена в узкие границы. Действие столь же относительно, как и знание, но потребность действовать, как и желание знать, одинаково предопределены природой. Так же как ум может получать хотя бы частичное знание о вещах, так и человек может отклонять необходимость, которой подчинен. Дидро вновь приходит к мудрому различию, которое делают стойки между зависящим от нас и от нас не зависящим. Вот почему в последние годы жизни его тревожит политическая проблема: «Надо ли быть человеком вообще или только человеком своего времени?»³² Одновременно и философ и деятель, Сенека с трудом пытался примирить обе крайности альтернативы, и Дидро восхищался как раз тем, за что обычно его упрекают: мужеством, с которым Сенека компрометирует себя в глазах Нерона. Хорошо, когда владыки имеют своими союзниками Сенек, Тюрго или Неккеров. Это итоговое убеждение Дидро прямо не выражено в «Жаке-фаталисте», но оно присутствует в нем; если Жак не становится государственным деятелем (как и сам Дидро), то он объединяет действие и мысль, и его мысль становится действием, когда она направлена на распространение знания вокруг него.

*

Недавно философ «Племянника Рамо» не видел другого способа избежать унижительного положения перед властью имущими, как скрыться в бочке, подобно новому Диогену. Деятельное уединение Жака имеет совсем иное значение. Идя от развязки к развязке, Дидро переходит от испытания цинизмом к боевому нестоицизму,

³² D. Diderot. Oeuvres complètes, t. IV, p. 315.

придающему последним годам его жизни свой характер и цельность. Наиболее личная сторона этого обращения, вероятно, определяется его доброжелательностью. Мы тут бесконечно далеки и от мизантропии и от желчности, которым все больше и больше поддается в те же самые годы Гольбах. «Жак-фаталист» сохраняет нам облик Дидро, *покорившегося*, как говорит Жак, условиям своего человеческого существования, но без горечи и равнодушия. Эта стойкость и самообладание проявляются в произведении цельном и сильном, где фатализм пробуждал воображение. В этой книге, ясной и значительной, значительной в силу ясности, освобождающий юмор романиста служит философу средством расплаты с судьбой.

МЕЛЬЕ, МОРЕЛЛИ, ДЕШАН



Б. Ф. Поршнев

После того, как удалось проследить прямую и косвенную жизнь идей Жана Мелье в философском мышлении Франции XVIII в., в том числе через посредничество Ламеттри, их последующее преломление у энциклопедистов и просветителей, у деистов и атеистов, у идеологов революции и у «равных»¹, особенно отчетливо видно белое пятно: до сих пор невозможно было усмотреть ни прямого воздействия идей Мелье на коммунистические утопии XVIII в., ни вообще какой-либо связи в истории этих утопий. Но, может быть, все-таки коммунистический идеал, выступавший еще в приключенчески-безобидной форме в «Путешествии к севарам-бам» Верраса и так резко пробужденный к жизни Жаном Мелье, испытывал все-таки свои внутренние преобразования, в том числе и эгалитаристские или иные отрицания, в мысли XVIII в.? Нет ли невидимой полемики с ним в первых трактатах Руссо? А неожиданное восхищение д'Аржансона «Кодексом природы» Морелли, не было ли оно последствием предшествовавшего интереса к идее общества без «моего» и «твоего», развитие которого скрыто во тьме двух десятилетий? А жадная страсть Дидро к коммунистической идее, одновременно противоречившая его мировоззрению и необходимая ему, неужели она родилась под влиянием внешних толчков, вроде бесед с бенедиктинцем Дешаном, и не имела своей имманентной предыстории?

¹ См. Г. С. Кучеренко. Судьба «Завещания» Жана Мелье в XVIII веке. М., 1968.

Пока считали, что «Завещание» Жана Мелье оставалось практически неизвестным просветителям, по крайней мере до вольтеровского «Извлечения» 1762 г., еще можно было воображать, что сознание передовых людей эпохи не было ошеломлено коммунистической идеей. Теперь эта легенда опрокинута: множество рукописных копий трактата Жана Мелье читали в 30—40 годы в Париже и провинции, Мелье был едва ли не главным среди просветительских *maîtres cachés* того времени. «Завещание» юре из Шампани занимало, по-видимому, центральное место в потаенной, нелегальной, запретной литературе. Это было скандализующее произведение. У него навряд ли были почитатели, но все, кто воспитывался на запретной литературе, были его читателями. Их мысль искала преобразований или опровержений его мысли. Мысли Мелье проходили испытание на прочность. И если его критика христианства первой пригодилась и пошла в ход, затем — превращение картезианства в материализм, то идеи народной революции и народного коммунизма особенно больно обижали большинство образованных умов XVIII в.

Появление в 1754 г. утопии Морелли выглядит совершенно самостоятельной теоретической находкой, если только не предположить, что автор определенно вознамерился отщепить коммунистическую идею от идеи массовой революции против существующего порядка. Да, но что мы знаем о Морелли? По-прежнему ничего надежного, кроме его сочинений. Архивы не отвечают биографам ни слова. Почти наверняка этого достаточно для вывода, что имя «Морелли» — чей-то псевдоним, а его автор сумел хорошо замаскироваться. А так как среди сочинений Морелли рядом с «Базилиадой» и «Кодексом природы» были и вполне безобидные — значит, общественное положение или сам заставляли автора скрывать свою литературную деятельность. Пока мы не знаем, кто такой Морелли, мы не смеем судить, каким путем пришел он к своему коммунистическому идеалу. Мы знаем только, что «Кодекс природы», вскоре приписанный Дидро, сам стал почти символом, почти евангелием коммунистической идеи вплоть до Великой революции.

«Кодекс природы» Морелли с точки зрения чисто хронологической находится на половине пути между Мелье и Бабефом. Как хорошо известно, Бабеф в 1796 г. в своей защитительной речи называл автора «Кодекса природы» учителем коммунизма. Правда, Бабеф не знал подлинного имени этого автора, считая таковым Дидро. Но бесспорна глубокая идейная связь между «Кодексом природы» и «Заговором равных». В. П. Волгин полагал даже, что именно в этом — главный интерес Морелли для исторической

науки: Морелли заслуживает внимания и изучения, писал он, прежде всего как учитель Бабефа и «равных»; идейные корни бабувизма — в учении Морелли, несмотря на все изменения, внесенные бабувистами в это учение. Конечно, продолжает Волгин, бабувисты после опыта Великой революции должны были несколько обновить этого, ставшего уже слегка старомодным, просветителя середины XVIII в., но все же они теснейшим образом к нему примыкают, и сами в полной мере признают влияние «Кодекса» на формирование их коммунистических взглядов². Кроме этого прямого идейного влияния, на отрезке пути между Морелли и Бабефом историческая наука ныне констатирует и много промежуточных связующих имен. Хорошо, но можно ли с такой же уверенностью говорить об идейной связи Морелли с Мелье? До настоящего времени казалось, что нет. Правда, в эволюции взглядов самого Морелли от «Базилиады» к «Кодексу природы» замечено как бы прогрессирующее удаление от идеала Мелье: в «Базилиаде» (1753) Морелли еще склоняется к коммунизму общинному, в духе Мелье, тогда как в «Кодексе» коммунистическое общество будущего уже рисуется в ином, централистическом духе, как единое хозяйственное целое, руководимое общим планом, учитывающим потребности людей и распределяющим труд по отраслям хозяйства. Но и в «Кодексе природы» есть пункты, совпадающие с идеалом Мелье. Так, Морелли, в отличие, например, от Томаса Мора, предлагает оставлять детей в семье только до пятилетнего возраста, после чего все они должны поступать в детский дома и получать общественное гармоничное воспитание. Все же такого рода отдельных черт, как и разрозненных, напоминающих Мелье мыслей Морелли в философско-моралистической части «Кодекса» недостаточно, чтобы считать доказанной прямую связь между этими двумя мыслителями. Но в таком случае еще острее становится вопрос о происхождении системы Морелли, т. е. о ее ближайших идейных корнях и связях. Капитальный труд англичанина Ричарда Коэ «Морелли», опубликованный в немецком переводе в 1961 г.³, при всех своих достоинствах, к сожалению, совершенно не отвечает на этот вопрос.

Может быть, нам помогло бы чем-нибудь знание биографии Морелли, но именно тут перед нами плотная завеса. Загадка Морелли остается до сих пор неразрешенной. Это какой-то неуло-

² В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, стр. 302.

³ R. Coe. Morelly. Ein Rationalist auf dem Wege zum Sozialismus. Berlin, 1961.

вимый призрак, о котором, как я сказал, безмолвствуют все архивы. Был ли он вообще или Моррели — это псевдоним, например, как предполагали, уменьшительное от имени Мор? Один ли человек написал все приписываемые Морелли сочинения или два, например, отец и сын, один — публицист и политик, другой — утопист? В 1956 и 1957 гг. два исследователя, Жан Дотри и Ричард Коэ, сделали попытки вновь штурмовать тайну Морелли⁴. Результат оказался скудным. Но все же несколько опорных точек, хотя и не с полной уверенностью, намечены. Главный вывод Дотри состоял в том, что некоторые данные позволяют подозревать связь Морелли с домом д'Аржансонов. Между прочим, знаменитый маркиз Рене Луи д'Аржансон был первым и, кажется, единственным из современников, восторженно приветствовавшим «Кодекс природы», который он назвал «книгою книг». Д'Аржансон приписал авторство Туссену — впрочем, может быть, и с нарочитой целью запутать следы. Ведь и другие покровители, бесспорно, помогали Морелли сохранить свое инкогнито. Попытка Коэ более энергично реконструировать биографию Морелли привела в результате тонких шахматных ходов к такой основе. Морелли родился около 1715 г. Получив хорошее образование, примерно с 1733 г. был наставником в какой-либо семье и давал частные уроки латинской литературы. Почти всю жизнь был крайне необеспечен. Не позднее как в 25—28-летнем возрасте начал печатать свои первые произведения во Франции. Примерно с 1743 г. смог бросить профессию учителя, обрел какого-то мецената и в 1744—1748 гг. вошел в общество более высокое, чем то, к которому он привык. Может быть, в 1748—1751 гг. находился в Германии — либо при дворе Фридриха II, либо в Геттингене среди образованных французов-эмигрантов. Имел связи с журналами и издательствами в Бельгии и Голландии, где и были опубликованы его два главных сочинения: «Базилиада» в 1753 г. и «Кодекс природы» в конце 1754 г. Заметим, что вся версия о пребывании Морелли за границей обоснована Коэ слабо. Начиная с 1755 г. Морелли надолго исчезает со сцены, может быть, и из жизни. Но в 1778 г. появилось приписываемое Морелли слабое поэтическое произведение «Отомщенный Гимен»; Дотри считает поэтому доказанным, что Морелли дожил до 1778 г., но Коэ подвергает большому сомнению эту атрибуцию, допуская гипотезу, что последнее сочинение принадлежит сыну Морелли.

⁴ Jean Dautry. *Réflexions sur Morelly et le «Code de la nature»*. — «La Pensée», 1956, N 65; R. Coe. *A la recherche de Morelly*. — «Revue d'histoire littéraire de la France», 1957, N 3.

Однако, может быть, самым важным среди этих бедных и полугипотетических данных является неоспоримый факт, что в 1772 г. «Кодекс природы» был опубликован в шеститомном амстердамском собрании сочинений Дидро. Сам Дидро не заявил никакого протеста ни перед публикой, ни перед издателем, и в следующем издании (в 1773 г.) «Кодекс природы» снова появился в собрании сочинений Дидро. Вот почему надолго укрепилось мнение, что это сочинение принадлежит перу Дидро. Только в 1841 г. Вильгардель неоспоримо доказал, что «Кодекс природы» принадлежит тому же автору, что и «Базилиада» и ряд других произведений, т. е. Морелли⁵.

Перед исследователями остался открытым вопрос: попал ли «Кодекс природы», как и еще некоторые чужие работы, в собрание сочинений Дидро помимо его воли во время его путешествия в Россию или же, напротив, он сделал это сам, проезжая через Голландию? Литературные нравы XVIII в. были очень далеки от современных норм. Может быть, Дидро не видел ничего особенного в опубликовании под его именем понравившегося ему произведения. Нравилась ли ему утопия Морелли? Можно привести ряд аргументов в пользу положительного ответа. Вот один из них, возможно самый сильный. Дидро пишет Софи Воллан в 1769 г.: «Один монах по имени дом Дешан дал мне прочесть одну из самых сильных и оригинальных вещей, какие я когда-либо знал. Речь идет о социальном строе, к которому придут, пройдя через строй первобытный и цивилизованный. Только пережив последний, на опыте убедятся в тщете всего, чему придают значение в нашем мире, и, наконец, поймут, что род людской будет несчастен до тех пор, пока существуют цари, священники, чиновники, законы, «мое» и «твое», пустые слова о пороке и добродетели. Судите сами, как мне должна была прийтись по вкусу эта вещь, как бы плохо написана она ни была: ведь я вдруг перенесся в мир, для коего я, так сказать, создан!.. Вернувшись домой, я еще долго думал о взглядах и суждениях моего толстого бенедиктинца, — у него и вид и тон старого философа, — и не нашел в его труде буквально ни одной строчки, которую следовало бы выбросить, он полон новых идей и смелых утверждений. Даламбер также ознакомился с этим трудом, но судил о нем совсем не по-моему»⁶.

Не естественно ли, что года через два Дидро мог включить в свое собрание сочинений другой подобный труд, где тоже не

⁵ Code de la Nature par Morelly. Reimpression complète avec l'Analyse raisonnée du système social de Morelly, éd. F. Villegardelle. Paris, 1841.

⁶ Diderot. Lettres à Sophie Volland, éd. A. Babelon, t. III, p. 279.

оказалось «буквально ни одной строчки, которую следовало бы выбросить», где тоже описан мир без «моего» и без «твоего», для которого Дидро чувствовал себя созданным? Но, помилуйте, воскликнут, почему же все-таки в собрание сочинений Дидро вместо сочинения Дешана попало сочинение Морелли? Должен быть отброшен ответ, что Морелли — это просто псевдоним самого Дидро. После указанных исследований Вильгарделя, Дотри и Коэ эта версия исключена. Но, может быть, в таком случае Морелли — это псевдоним Дешана?

Биографические данные о Дешане⁷ и Морелли отлично совмещаются, хотя возможно и совершенно случайно. Леодегар Мари Дешан родился в семье королевского сержанта 10 января 1716 г. Эта дата совпадает с предполагаемой Коэ датой рождения Морелли. О детстве и юности его ничего не известно до 1733 г., когда он стал бенедиктинцем. Морелли, по Коэ, с 1733 г. становится где-то «нештатным» наставником.

В письме к Руссо (1761) Дешан упоминает, что некогда «в периодических изданиях опубликовал кое-какие преходящие сочинения без имени автора»⁸. Биографам Дешана не удалось найти эти анонимные сочинения. Упоминание же здесь «периодических изданий» не должно вводить исследователей в заблуждение, ибо похоже, что своей жалобой на полное незнакомство с издательским делом и с издателями Дешан стремился ввести в заблуждение Руссо с целью побудить его взяться за опубликование «Системы» Дешана. Иными словами, последний мог сознательно преуменьшить в этом контексте свой прежний литературный опыт, однако не отрицая ни его существования, ни засекреченности имени автора. Кстати, и свои письма к Руссо в 1761 г. Дешан писал под вымышленным именем: М. дю Парк (M. du Parc).

Морелли с 1743 г. пользовался чьим-то высоким покровительством, и похоже, что это был один из членов знаменитой и весьма просвещенной семьи д'Аржансонов, а ведь позже именно один из членов этой семьи, Марк Рене де Вуайе, выступает как открытый покровитель, друг и идейный последователь дом Дешана.

⁷ См.: E. Beaussire. Antécédents de l'Hégélianisme dans la philosophie française. Dom Deschamps, son système et son école, d'après un manuscrit et des correspondances inédites du XVIII-e siècle. Paris, 1865. О Дешане см. также: J. Wahl. Cours sur l'athéisme éclairé de dom Deschamps. «Studies on Voltaire and the XVIII century», vol. LII. Genève, 1967.

⁸ «...quelques pièces fugitives, sans nom d'auteur, dans les ouvrages périodiques». Цит. по рукописи муниципальной библиотеки Пуату: «Dom Deschamps. La vérité ou le vrai système», t. V (6-e cahier), p. 22.

В 1755 г. имя Морелли исчезает с публичной сцены, а с 1761 г. имя Дешана появляется на ней. В 1769 и 1770 гг. Дешан опубликовал два сочинения, причем второе — как раз в Бельгии, где вышла «Базилиада» Морелли. Дом Дешан умер в 1774 г. Можно было бы допустить, что в самом конце жизни он сочинил это слабое полуэротическое старческое сочинение «Отомщенный Ги-мен», которое кто-то, посвященный в секрет, опубликовал четыре года спустя под старым заброшенным псевдонимом — Морелли; точнее, это была буква «М» с шестью звездочками. Письма Дешана к Вуаие д'Аржансону в последние годы жизни в самом деле отмечены налетом эротизма, легко ассоциировавшегося в ту эпоху с вольнодумством⁹. Как видим, в датах и персоналии нет неувязок. Но для того, чтобы идентифицировать Морелли и Дешана, требовалось бы доказать близость или логическую преемственность их взглядов.

Однако социальные идеи и конкретные планы, изложенные у Морелли и Дешана¹⁰, представляют картину не только сходства, но и кричащего контраста. Теоретическая основа в обоих случаях имеет нечто общее. Коммунистическая утопия — это решение моральной проблемы. Человечество проходит путь от дикого состояния через состояние цивилизации или законов к истинному, естественному строю, отвечающему законам природы, причем среднее звено представляет собою некую диалектическую необходимость. В обеих системах центральным понятием и ключом ко всем порокам и недостаткам существующей цивилизации служит частная собственность. Частная собственность — источник всего

⁹ Вся переписка Дешана с Вуаие д'Аржансоном в сопровождении некоторых философских фрагментов по настоящий день хранится в личном архиве семьи д'Аржансонов в их фамильном имении Шато дез Орм. Пользуюсь случаем принести благодарность гостеприимному хозяину этого замечательного памятника архитектуры и быта XVII—XVIII вв., а также профессору Ф. Броделю за любезное содействие моему визиту в Шато дез Орм. Впервые названная переписка была утилизирована в книге Э. Боссира (см. выше). До настоящего времени, кроме приведенных им пассажей, опубликованы лишь немногие письма и бумаги из этого собрания под ред. профессора Ж. Валя («Lettres et fragments inédits de Dom Deschamps et de quelques correspondants». — «Revue de métaphysique et de morale», 1964, N 3).

¹⁰ О системе Дешана см. еще: В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, стр. 344—355; Franco Venturi. La fortune de dom Deschamps. «Cahiers Vilfredo Pareto», 1967, N 11; В. В а с з к о. Le mot de l'énigme métaphysique ou Dom Deschamps. «Cahiers Vilfredo Pareto», N 15; Kurt Schnelle. Dom Deschamps'Gedankenaustausch mit Jean-Jacques Rousseau. «Neue Beiträge zur Literatur der Aufklärung», Berlin, 1964, S. 195—214.

существующего в обществе зла. Поэтому уничтожение зла достигается через уничтожение частной собственности, т. е. созданием такого общественного строя, где нет «твоего» и «моего». Соответственно там нет денег, торговли. Там все обязаны трудиться на общую пользу и все имеют право удовлетворять свои потребности из общего продукта. В этом идеальном обществе царит «совершенное равенство». Личный интерес и общественные обязанности совпадают, ибо выполняемый труд должен соответствовать и индивидуальной склонности и общественной нужде. Виды работ дифференцированы также по возрасту и полу. Работы осуществляются коллективно, совместно. Дети с раннего возраста воспитываются не родителями, а обществом в особых детских домах.

Но за этой общей теоретической основой какая огромная разница в конкретном образе той и другой утопии! Эти две симфонии написаны в совершенно разных ключах. Так, утопия Морелли урбанистская, а утопия Дешана — сельская. У Морелли земледельческий труд принудителен, он не надеется, что найдется достаточно людей, которые захотят жить и работать вне городов. Все внимание Морелли приковано к утопическому городу, для Дешана напротив, города — наследие состояния «законов», и он с радостью предвидит, что населению будущего общества останутся лишь развалины нынешних городов. Они будут жить деревнями и предаваться преимущественно сельскохозяйственному труду. Но самый ошеломляющий контраст: элитизм Морелли и анархизм Дешана. Морелли регламентирует все стороны жизни, разрабатывает кодекс законов и предписаний, за нарушение которых предусмотрены строгие наказания. Дешан более упорен в логическом развитии тезиса, что все зло — только в частной собственности. Когда она будет уничтожена, тем самым исчезнет основа для всякого соперничества и люди не будут иметь ни причин, ни возможности творить друг другу зло. В утопии Дешана нет места ни для властей, ни для законов, ни для наказаний, поскольку нет места для пороков и добродетелей. И Морелли и Дешан удивительно схожи в том, что каждый рассматривает свою книгу как последнюю книгу в области моральных наук, за которой никогда не последует какая-либо другая. Но они и противоположны в представлении о будущей судьбе этой последней книги: Морелли полагает, что его законы будут навеки выгравированы на особых обелисках; Дешан же, следуя своей диалектике, надеется, что его книга станет ненужной после того, как поможет уничтожить частную собственность, и дальше пригодится разве лишь для топки печей. Сказанного довольно, чтобы увидеть невозможность идентификации этих двух концепций.

Между ними и хронологически и идейно вторгается трактат Руссо «О происхождении неравенства». Напомню, что «Кодекс природы» Морелли опубликован в конце 1754 г., в 1755 г. вышел упомянутый трактат Руссо, а к 1761 г. была в основном завершена «Истинная система» Дешана, которую автор захотел прежде всего представить именно Руссо. Однако последний к этому моменту уже далеко ушел в ином направлении — к «Общественному договору». Свидание, о котором велась переписка, так и не состоялось.

Тот, кто захотел бы настаивать на идентичности Морелли и Дешана, должен был бы допустить, что в мировоззрении Дешана с 1755 г. начался глубокий переворот, приведший его к пересмотру прежних взглядов. В пользу этого говорит разве лишь то, что и между сочинениями Морелли, в том числе между «Базилиадой» и «Кодексом природы», совершены невероятные скачки, очевидно в поисках истинной системы. Может быть, для объяснения сходства и различий двух утопий легче предположить, что их авторы, два различных персонажа, были близко знакомы или тесно связаны. В письмах к Софи Воллан Дидро рассказывал, что познакомился с Дешаном в сопровождении другого бенедиктинца, когда Дешан излагал перед ним новую философию. В переписке Дешана обнаружено многократное упоминание о confidente, которого, однако, Дешан называет не по имени, а условно: мой «Омар» (т. е., очевидно, второй халиф, «премьер»). Однако и эта версия не может быть никак дальше развита. Мы знаем только, что имя одного из confidentов и единомышленников Дешана в Париже — дом Патерт. Здесь нельзя не назвать также имя его ученого сподвижника дом Пернеги (Pernety, а также Pernetty, Pernetti); последний участвовал в экспедиции Бугенвиля, затем два года был библиотекарем у Фридриха II и членом Берлинской академии (1716—1804). Но присутствовал ли кто-либо из названных двоих товарищей Дешана при встрече с Дидро? Вероятнее, что своим «Омаром» Дешан называл бенедиктинца дом Брюне (Brunet), приора того монастыря, где и Дешан был приором. Впрочем, в некоторых местах переписки «Омаром» явно оказывается сам маркиз Вуайе д'Аржансон. Был у Дешана в монастырской среде и такой поклонник, как дом Мазе (Mazet), ставший его литературным душеприказчиком и переписчиком «Системы». У нас нет никаких причин отождествить кого-либо из них с автором «Кодекса природы».

Возвращаясь к сказанному, подчеркнем, что в биографии Дешана зияет огромный пробел. Мы абсолютно ничего не знаем о жизни его между 1733 г., когда он получил духовное звание,

и 1763 г., когда в нашем распоряжении уже есть его первые письма, а вернее, 1761 г., когда, по его словам, была готова его «Система». Из пятидесяти восьми с половиной лет жизни Дешана мы кое-что знаем о первых семнадцати годах и значительно больше — о последних тринадцати годах. По документам и биографическим данным, оставшимся от этих последних тринадцати лет, мы можем заключить, что в промежуточные двадцать семь лет он занимался литературной и научной деятельностью и понемногу сделал духовную карьеру, хоть и не слишком крупную: с 1763 г. до смерти он приор в монастыре Монтрей-Белле. Но и эти церковные обязанности его тяготили, и он все более переходил на содержание своего друга и пламенного прозелита маркиза Вуайе д'Аржансона. Соответственно у Дешана в 60—70-е годы было и две среды — монастырская и аристократическая, где он черпал идейных последователей. Напротив, поиски сближения со средой философов не дали больших результатов. Да Дешан и ставил себя выше них.

Посредником между Дешаном и философами являлся маркиз Вуайе д'Аржансон. Последний был племянником Рене-Луи, маркиза д'Аржансона, известного мемуариста, и сыном Марка-Пьера, графа д'Аржансона, военного министра. И тот и другой, как известно, были покровителями философов-просветителей. Есть основания подозревать, что эти высокопоставленные братья были посвящены в тайну псевдонима Морелли и, может статься, знали Дешана и способствовали его карьере в монастыре Монтрей-Белле. Рене Луи д'Аржансон (вознесший хвалу «Кодексу природы» Морелли) умер в 1757 г. В том же году в имение д'Аржансонов Шато дез Орм переехал впавший в опалу по воле мадам де Помпадур и получивший отставку (одновременно с реформатором финансов Машо) фактический глава правительства Марк-Пьер д'Аржансон¹¹. В Шато дез Орм вместе с опальным министром удалилась графиня де Страд и некоторые другие вельможи, имение стало центром притяжения важных политических и идейных сил Франции. В прошлое время сюда приезжал погостить Вольтер, теперь — Мармонтель и др. Вполне возможно, что в те годы Дешан стал своим человеком в Шато дез Орм. Но окончательное сближение с Шато дез Орм произошло по возвращении туда с военной службы в 1763 г. молодого Марка-Рене Вуайе д'Аржансона (его отец Марк-Пьер умер в следующем году). Как видно из переписки, между ним и Дешаном завязалась тес-

¹¹ М. А. Tornézy. Le comte d'Argenson, sa disgrâce, son exil aux Ormes. Poitiers, 1893.

ная дружба. Дешан, чем дальше, тем более, не делает шага без своего «Мецената», как именует он маркиза. Вуайе д'Аржансон связал Дешана с всемогущим министром Шуазелем, тоже сосланным из Парижа в 1771 г. Не позже 1772 г. Вуайе д'Аржансон открыто выступает как страстный прозелит Дешана, которого он называет своим «мэтром». Но еще в 1770 г. он посылает Вольтеру анонимную (принадлежавшую перу Дешана) книгу «Голос разума», при этом он обращает внимание адресата, что автор этого произведения предупреждает философов: они **неминуемо** навлекут страшную революцию, пытаюсь ниспровергнуть духовные начала без изменения социальных начал. Вольтер 11 октября 1770 г. пишет об этой книге в письме к Кондорсе, из которого следует, что он принимает Вуайе д'Аржансона за автора. Впрочем, Вуайе д'Аржансон и в 1776 г., после смерти Дешана (1774), в письме к герцогине Шуазель излагал философию Дешана, не называя его, от своего собственного имени. Но он отнюдь не был похитителем величия Дешана, как видно из его изумительного письма после смерти последнего¹², он чувствовал себя просто его верным проповедником.

Вернемся к Дидро. Почему же он никоим образом не мог опубликовать под своим именем «Истинную систему» Дешана, хотя был пленен ее социальной частью? А о том, что он действительно был ею пленен, мы знаем не только из уст Дидро, но и из любопытных корреспонденций Дешана к Вуайе д'Аржансону. 25 августа 1767 г. он среди прочего сообщает из Парижа, что обедал у мадам де Жоффрен (Jeoffrin), где среди гостей был Даламбер¹³. 13 мая 1769 г. Дешан сообщает: Дидро «...сначала называл меня добродетельным человеком, а кончил тем, что стал называть своим учителем» («m'appelait d'abord homme de bien, et il a fini par m'appeler son maître») ¹⁴. 13 августа 1769 г. Дешан сообщает, что трижды виделся с Дидро; последний предложил, чтобы Дешан «доверил ему свою работу» (de lui confier mon ouvrage)¹⁵, однако Дешану это не пришлось по душе. Итак,

¹² См.: E. Beaussire. Op. cit., p. 42.

¹³ E. Beaussire. Notice sur un manuscrit inédit de la Bibliothèque de Poitiers et sur son auteur le bénédictin Dom Deschamps.— «Bulletin des antiquaires de l'Ouest», 3-e trimestre de 1864, p. 15.

¹⁴ Там же.

¹⁵ E. Beaussire. Notice sur un manuscrit inédit..., p. 15. Представляет большой интерес деталь, обнаруженная нами в переписке Дешана с Вуайе д'Аржансоном (архив Шато дез Орм). В сентябре 1769 г. некто Дюбек (Dubuq) вернул Дешану какую-то его рукопись (на адрес Вуайе д'Аржансона). Дешан поясняет: к этому Дюбюку его направил Дидро.

Дидро был покорен Дешаном и так-таки прямо попросил у него рукопись, может быть, без обиняков предлагая напечатать ее от своего имени. Напомним здесь и то письмо к Софи Воллан, в котором Дидро признавался, что не нашел в рукописи бенедиктинца ни одной строчки, которую можно было бы выбросить, а также предшествующее, написанное за несколько дней раньше, 11 сентября 1769 г.: «Вчера я участвовал в необыкновенном обеде: почти целый день я провел у общего друга с двумя монахами, которые меньше всего были святошами. Один из них прочел нам первую тетрадь атеистического трактата, очень свежего и сильного, преисполненного новыми и смелыми идеями; и мне было поучительно узнать, что эта доктрина является ходячей в их монастырских коридорах. К тому же эти два монаха — важные шишки в своем монастыре. У них хватает и ума, и веселости, и честности, и знаний. Каковы бы ни были наши воззрения, но проведя три четверти своей жизни в занятиях, люди становятся почтенными. И я бьюсь об заклад, что эти монахи-атеисты как раз самые исправные в своем монастыре. Что меня весьма позабавило, это усилие нашего апостола материализма найти санкцию законам в вечном порядке природы. А вот что вас позабавит еще больше, так это простодушие, с каким этот апостол уверен, что его система, нападающая на все, что есть в мире самого почитаемого, вполне невинна и не подвергнет его никаким неприятным последствиям, тогда как там нет ни одной фразы, за которую его нельзя было бы отправить на костер»¹⁶. Отметим в этом письме, что самым существенным в соответствующей тетради сочинения Дешана Дидро представляется идея «Кодекса природы», т. е. законов человеческого общежития, выведенных из неизменности естественных законов. Что касается подчеркивания автором письма атеизма и материализма данного трактата, то либо XVIII век знал употребление этих слов в весьма расширительном, например пантеистическом, смысле (как думает, например, Боссип), либо вариант, который читал Дидро в 1769 г.,

сказав, что это та самая голова, которая Дешану требуется, в отличие от Даламбера, не сумевшего его понять; рукопись поступила к Дюбюку, но была им возвращена. А в июле 1770 г. Дешан пишет сопроводительную записку, с которой маркиз Вуайе д'Аржансон придет в Туре к издателю (*marchand libraire et imprimeur*) Ванкери (*Vanquer*), наперед принявшая любые условия издания. Вероятно, это та самая рукопись, которую вернул Дюбюк, но мы не можем знать, идет ли речь об «Истинной системе» или о чем-то другом.

¹⁶ Diderot. *Lettres à Sophie Volland*, éd. A. Babelon, t. III, p. 210.

был более материалистичен и атеистичен, чем посмертный текст Дешана¹⁷.

Заключительные фразы письма как будто объясняют, почему Дидро не мог бы включить трактат Дешана даже и в заграничное издание своих сочинений. Однако есть и другая причина.

В том же самом 1769 г., когда состоялось их знакомство, Дешан выпустил в свет первое свое печатное сочинение «Письма о духе века»¹⁸, а в 1770 г. увидело свет второе сочинение — «Голос разума»¹⁹. Эти произведения были направлены против всего лагеря просветителей и их философии. Дом Дешан к этому времени нашел себя и наступал с открытым забралом. Правда, оба эти сочинения вышли анонимно, но Дидро знал тайну авторства (а через него, вероятно, и другие): на экземпляре второй из указанных книг, хранящемся в библиотеке Лувра, надпись, сделанная рукой Дидро, указывает на авторство Дешана. Дешан со своей стороны был полон наступательных намерений. По поводу своей второй упомянутой книги, напечатанной в Бельгии, Дешан многообещающе писал в письме от 4 августа 1770 г.: «Это из тонкой метафизики, сверхтонкая явится вслед»²⁰. А 18 января 1771 г. Дешан писал Вуайе д'Аржансону, что должен наконец сбросить маску и сказать всю правду²¹ (может быть, к этому времени относится окончательный вариант «Системы»?). Дидро в той или иной мере представлял эту перспективу.

В этих условиях Дидро не мог прикрыть своим именем Дешана — противника своих друзей. Все, что мог Дидро сделать, это остановить свой выбор на более ранней социалистической утопии, к тому же и менее парадоксальной, не «руссоистской», — на «Кодексе природы» Морелли. Отметим попутно, что в том же роковом 1769 году на страницах журнала «France littéraire» были перечислены книги Морелли.

Если уж продолжать со всей осторожностью проверять гипотезу о тождестве Дешана и Морелли, то надо ответить на два вопроса. Мог ли Дешан согласиться на публикацию своего раннего,

¹⁷ По письмам Дешана Боссир составил впечатление, что в последние годы жизни Дешан был занят в сущности только и единственно своей книгой, «которую он не переставал ретушировать и переплавлять» (E. Beaussire. Antécédants..., p. 14).

¹⁸ Lettres sur l'esprit du siècle. Londres (Paris), éd. Young, 1769.

¹⁹ La voix de la raison contre la raison du temps et particulièrement contre celle de l'auteur du Système de la nature. Bruxelles, 1770.

²⁰ C'est de la fine métaphysique, la surfine viendra après (E. Beaussire. Antécédants..., p. 27).

²¹ Там же, стр. 43.

представлявшегося ему теперь незрелым произведения, в сочинениях Дидро? Да, он отрицательно отнесся к просьбе Дидро «доверить» (confier), т. е. попросту передать ему свою новую рукопись, но у него не было никаких причин возражать против переиздания старой под чужим именем — именно потому, что он ею уже не дорожил и внутренне от нее отрекся. Знал ли Дидро, чей трактат под названием «Кодекс природы» он включает в собрание своих сочинений? Да, в случае принятия всей гипотезы надо было бы считать, что Дидро знал тайну Морелли, т. е. знал, что печатает раннее произведение Дешана тех лет, когда тот еще не был врагом «философов».

Действительно, мировоззрение Дешана в целом, такое, каким оно сложилось к 1761 г. и выражено в его рукописной «Истинной системе», было абсолютно неприемлемо для кого-либо из энциклопедистов. Позже Дешан заострил предисловие специально против Гольбаха. Он претендовал на то, чтобы подняться в метафизике и морали много выше просветителей. И не любопытно ли в самом деле, что сначала гегельянцы открыли в нем своего предтечу, теперь — экзистенциалисты? Но этот своеобразный мыслитель XVIII в. остается до сих пор очень мало известным.

Успия наших соотечественников дают мне право и обязанность сказать несколько слов об истории изучения и публикации его литературного наследства. В 1864 г. французский профессор Эмиль Боссир обнаружил в муниципальной библиотеке Пуатье и в архиве Шато дез Орм (Château des Ormes) рукописную копию некоторых сочинений и письма Дешана. Но он не опубликовал «Истинную систему», а лишь издал свою собственную книгу о философии Дешана. Затем добрых 45 лет эта копия рукописи Дешана считалась пропавшей. Лишь в 1907 г. русской исследовательнице Елене Давыдовне Зайцевой удалось заново открыть ее. С рукописи была снята копия и около 1920 г. привезена в Москву. Однако обстоятельства не дали возможности Е. Д. Зайцевой осуществить мечту своей жизни — опубликовать параллельно французский текст и подготовленный ею русский перевод.

В 1929 г. другой советский ученый, проф. Нагиев из Баку, посетил Пуатье и в свою очередь снял полную копию всех сочинений Дешана. Но почти тотчас по возвращении в Баку, проф. Нагиев умирает, и издание русского перевода сочинений Дешана переходит в руки другого философа из Баку, Васильева. Последний опубликовал в 1930 г. всю первую часть «Истинной системы», т. е. метафизику²². Однако на этом намеченное четырехтомное собра-

²² Дешан Л. М. Истина или достоверная система. Баку, 1930.

ние сочинений и писем Дешана оборвалось. Мне хотелось подчеркнуть эти усилия моих соотечественников, так как очень приятно сознавать, что именно в нашей стране впервые увидел свет философский трактат французского свободомыслящего бенедиктинца. Мало того, и по сегодняшний день это бакинское издание 1930 г. остается единственно полным изданием метафизической части сочинения Дешана, ибо французское издание Жана Тома и Франко Вентури, вышедшее в 1939²³ и вторично в 1963 гг., по непонятной причине является в этой части весьма неполным. Зато французское издание обогнало нас в публикации моральной, вернее социальной, части, которая до сих пор в русском переводе не появлялась.

Автор этих строк во время визита в муниципальную библиотеку Пуатье в январе 1967 г. еще раз тщательно ознакомился с рукописями Дешана и пришел к несколько иным представлениям, чем его предшественники. Они склонялись к мнению, что дом Мазе по своей инициативе и только после смерти Дешана свел в как бы единую рукопись его отдельные сочинения и фрагменты переписки. На самом деле совершенно неоспоримо, что Мазе скрупулезно следовал замыслу и тексту Дешана (сам Мазе подчеркивает это в соответствующих уведомлениях читателю). Его инициативе можно приписать только оформление всего сочинения в виде трех книг в сафьяновых переплетах. Из них к настоящему моменту на полке библиотеки существуют лишь две — первая и третья. Когда исчезла вторая? Что она содержала? На первый вопрос мы можем ответить только, что в 1864 г., когда профессор истории философии университета Пуатье Эмиль Боссир занялся Дешаном, этого тома уже не было. Ответ на второй вопрос нашла Е. Д. Зайцева в 1907 г. Среди рукописных богатств библиотеки она обнаружила в связках бумаг, принадлежавших Мазе (по старой инвентарной описи — № 397), оригиналы текстов Дешана (однако, в свою очередь, написанные не его рукой), с которых переписывал Мазе свой окончательный чистовой экземпляр. Оказалось, что пропавший с полки второй том содержал «Observations morales», т. е. всю ту социальную утопию, которая нас здесь преимущественно интересует. Кстати, легко себе представить всю неполноту книги Боссира, который не знал этой части взглядов Дешана и довольствовался лишь его философской частью — «Observations métaphysiques».

²³ Dom Deschamps. Le vrai système ou le mot d'énigme métaphysique et morale. Publié sous le patronage de la société des textes français modernes par Jean Thomas et Franco Venturi. Genève, 1939.

Попутно необходимо отметить определенную некорректность Ф. Вентури, который в предисловии к своему изданию Дешана категорически утверждает, что до него никто не знал этой связи бумаг и обнаружить полный состав сочинений Дешана «было дано только нам»²⁴ (*c'est ce qu'il nous a été donné de découvrir*). Между тем со времени исследований Зайцевой в печатном каталоге муниципальной библиотеки Пуатье, служащем путеводителем для всех исследователей, от сочинений Дешана сделана рукописная отсылка к упомянутой связке бумаг Мазе, с указанием: «*Observations de M-lle Héléne Zaitzev...*»

Я пришел к заключению, что три тома, переписанные Мазе, представляют собою единое цельное литературное произведение, каким его составил и оставил Дешан. Оно состоит из последовательных тетрадей. Первый из переплетенных томов (обозначенный как сдвоенный том I—II) содержал первую, вторую и третью тетради; второй переплетенный том, исчезнувший некогда (и, очевидно, тоже сдвоенный и обозначенный как III—IV), содержал четвертую и пятую тетради. Наконец, наличный третий том (озаглавленный как V) содержит шестую тетрадь; эта последняя вовсе не является сборником разных писем к Дешану, она рассматривается им как финальная, завершающая часть всего труда, хотя и в форме подобранных автором отрывков из писем к нему: «*Tentatives sur quelques-uns de nos philosophes au sujet de la Vérité*». Вывод можно считать бесспорным: «Истинная система» Дешана представляет собой составленное самим автором сочинение в шести частях, или тетрадах. Я не буду останавливаться на текстологических деталях, доказывающих это заключение, как и на одной несомненной описке (на стр. 41 связки Мазе), которая только и могла бы ему противоречить.

Вернемся к генетической цепи: Мелье, Морелли, Дешан. Не столько Морелли, сколько Дешан связан с наследием Жана Мелье. Читая Дешана, во многих местах прямо слышишь голос кюре из Этрепиньи, хотя выводы того и другого весьма далеко расходятся. Например, стоит прочесть рассуждения Дешана о том, что солдат и священник, церковь и шпига существуют вовсе не для безопасности народов, а служат для защиты государя против его подданных. Церковь поработает сердца и невежественные умы, а военные — их тела. Они действуют всегда заодно. А судейство и финансисты служат подмогой. Можно было бы сослаться на многие яркие параллели.

²⁴ Dom Deschamps. Op. cit., p. 9, et 33.

Ограничимся отрывком из одного фрагмента, хранящегося в Шато дез Орм: «Политические размышления, навеянные одним сочинением о морали». Нельзя исключить, что это сочинение — «Завещание» юре Мелье. «Из установления власти какого-либо короля вытекает не только некое специальное состояние, но и разделение людей на различные состояния (сословия), которое образует слабость людей и силу королей: на одной стороне — церковь, мантия и шпага, эти три щита «состояния законов», а на другой — плуг, вилы и шило». Маккиавелистическая идея «разделяй и властвуй» является лозунгом всех монархий, и если его и порицали, «то единственно потому, что опасно было бы разоблачать фундаментальные принципы правительств», и чтобы не дать увидеть, «что они противоположны принципам морали, даваемой людям». «Давно уже разговаривают о всеобщем мире между государями, и он неизбежно наступил бы, если бы каждый государь мог бояться только своих соседей; но он должен бояться своих собственных подданных, которые по природе всегда в большей или меньшей мере отказываются от того господства, которое им более или менее в тягость. А раз так, ему пужны войска, которые удерживали бы его подданных в покорности, но при этом, чтобы она не выглядела поддерживаемой этим средством. К тому же требуется, чтоб эти войска были опытные, для чего нужно, чтобы они учились воинскому делу вовне, дабы в случае надобности их можно было употребить внутри. Отсюда вытекает необходимость государю иметь войны с соседями, а следовательно, состояние войны соответствует нашим нравам, как оно всегда и было... Пусть видят впрямь в шпаге, церкви и мантии три сословия, выполняющих в сущности одну роль, а именно, составляющих силу суверена против его подданных, а тем самым и против них самих... Тщетно духовенство и магистратура хвалятся, что они в равной мере защищают подданных от суверена, как и суверена от подданных. Это только видимость, а если она налицо, то потому, что она существенна для силы суверена, хотя она подчас и оборачивается во вред ему из-за злоупотреблений, неотделимых от нашего «состояния законов». Такова политика в ее общем виде, и разоблачение ее может быть дозволено только при таком предмете, как мой»²⁵. Как легко видеть, это «разоблачение политики» в высокой степени близко мыслям Мелье.

Советский философ И. К. Луппол при первом же знакомстве с Дешаном поставил его имя рядом с именем Мелье. Издатели Деша-

²⁵ Цит по: E. Beaussire. Op. cit., p. 131—133.

на — Тома и Вентури со своей стороны находят, что «первый, кого хочется сблизить с дом Дешаном,— это кюре Мелье»²⁶.

Если бы Дешан и не читал Мелье раньше, он мог прочесть его у д'Аржансонов: экземпляр «Завещания» и до сих пор хранится в Библиотеке Арсенала, происходящей из рукописных и книжных собраний д'Аржансонов. Но на деле это могло бы быть лишь перечитыванием давно, еще в юности, прочитанного текста. Вот свидетельство, которое мне кажется почти однозначным. В первой тетради «Системы» Дешан пишет: «Самая плохая услуга, какую можно было оказать Ветхому завету, это извлечь из него факты и облегчить его чтение, как сделал один автор в наши дни. Противоречия в поведении и бога и евреев здесь проявляются настолько, чтобы возмутить всякого еврея и всякого разумного христианина и толкнуть их в атеизм и безрассудство. Вот это-то сочинение в моей юности и побудило меня искать истину в книге, которую носим мы все»²⁷. Это написано в 60-х или 70-х годах, т. е. после опубликования «Извлечения» из Мелье, сделанного Вольтером, что и напомнило, по-видимому, Дешану свод библейских противоречий, составленный Жаном Мелье. Но эта книга, прочитанная Дешаном в юности, не толкнула его в атеизм, напротив, для отпора, противодействия этому почти неумолимому атеизму Дешан обратился к духовной профессии, стал монахом (1733!) и принялся искать подлинную истину в столь опороченной Библии. Действие Мелье было отнюдь не прямым. Но что за странного монаха привел он в монастырские коридоры! Яд в организме Дешана продолжал действовать и даже распространяться на брата. Дешан остался глубоким поклонником Декарта. Он попробовал преобразить картезианство в систему объективного идеализма... Но мы не намереваемся здесь рассматривать философию Дешана. Наша цель лишь не упустить из вида его идейную связь с «Завещанием» Мелье. Дешан и Руссо воспротивились этому могучему идейному толчку по-разному, но, похоже, для обоих боевым крещением могло послужить усилие свести идейные счета с этим искусителем, с этим запретным источником мысли, с этим *maître caché*.

Итак, промежуточное звено на пути от Мелье к Бабефу — это, в глазах сегодняшней науки, уже не только Морелли, но и Дешан, со всеми их влияниями и побочными связями. Тифэн Деларош, выпустивший в 1765 г. «Историю галлигенов», хорошо вписывается в эту плеяду. В 1768 г. Габриэль де Бонно де Мабли опубликовал

²⁶ Dom Deschamps. Op. cit. Introduction, p. 60.

²⁷ Deschamps. Le vrai système. Bibliothèque municipale de Poitiers, t. I, p. 36.

«Doutes sur l'ordre naturel», а в 1776 г. «De la législation ou principes des lois», где он изложил свою коммунистическую утопию. Было бы странно спорить, знал или не знал этот образованнейший человек своих идейных предшественников. Если он не знал чего-либо прямо, то знал косвенно, получив сведения из вторых и третьих рук. В 1781 г. выходит «Южное открытие» Ретифа де ла Бретона...

Моя цель не в том, чтобы называть все имена, так или иначе входящие в цепь. Бесспорно, что по мере успехов исторических исследований она становится все более непрерывной и тянется в разверстые ворота Великой французской революции²⁸.

Моя тема состояла лишь в том, чтобы обосновать некоторыми примерами вывод, что утопический социализм во Франции в течение XVIII в. не носил гетерогенного характера. Нет, это было определенное движение и развитие мысли. Правда, сразу после Мелье этот социалистический или коммунистический идеал оторвался от идеи насильственного революционного переворота, осуществляемого народом и в интересах народа. Утопическая мысль стала надолго мирной, нереволюционной. Только с начала Великой революции в Социальном кружке и примыкавшей интеллектуальной среде, так же как и в среде левых якобинцев и критиков якобинства слева, социалистическая и революционная доктрины стали снова объединяться в одну. Естественно, что тут и там стали все чаще вспоминать о юре Мелье. Такие люди, как Анахарсис Клотс и особенно Сильвен Марешаль, высоко вознесли в пламени революционных лет имя Жана Мелье и его главные идеи. Грахх Бабеф, вне всякого сомнения, должен был много раз слышать о нем от своих братьев — «равных». Но все же важнее не его прямое знакомство с этим далеким предшественником бабуизма, а полнота тех звеньев, которые связывают их в ходе XVIII в.

Однако вернемся еще раз к самому темному звену этой цепи, которому, собственно, и посвящена настоящая статья. Читатель мог убедиться, что я соблюдаю полную осторожность в выводах. У меня нет права сделать хоть шаг дальше в допущении, что Морелли и Дешан — это один и тот же бенедиктинский монах на разных этапах своего жизненного пути. Пусть такое допущение останется пока даже не гипотезой, а парадоксом. Все, что я хотел выразить этим сближением, сводится к двум пунктам. Во-первых, сопоставляя хронологию жизни Дешана с немногими (частью предположительными) датами из жизни Морелли, мы не обнаруживаем

²⁸ См. А. Р. Иоаннисян. Коммунистические идеи в годы Великой Французской революции, М., 1966.

никакого противоречия такому соединению двух биографий в одну. Во-вторых, огромное различие в мыслях и идеалах Морелли и Дешана можно было бы свести к такому мысленному, воображаемому образу: Морелли — это Дешан до появления «Рассуждения о причинах неравенства» Руссо, а Дешан — это Морелли, испытавший глубочайшее умственное потрясение и как бы нашедший себя после чтения «Рассуждения о причинах неравенства» Руссо. Поэтому-то, выйдя из этого духовного кризиса, Дешан и обращается с письмами непосредственно к виновнику — к Руссо. Но в своем зрелом творении он полнее отразил и свой первоначальный источник, т. е. коммунистическую идею Жана Мелье, чего не мог сделать, пока был лишь своей личинкой — в личине Морелли. Может быть, этот парадокс и поможет в чем-то будущим исследователям хотя бы тем, что они его убедительно опровергнут.

РОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ ВО ФРАНЦИИ: ЖАН-НИКОЛА ДЕМЕНЬЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЫЧЕК И ОБЫЧАЕВ В XVIII ВЕКЕ



Э. Лемэ

Жан-Никола Деменье известен потомству как человек, разносторонне одаренный. Современники знали его главным образом по литературным трудам: многочисленным переводам и некоторым оригинальным работам. Именно как литератор фигурирует он в «*Tablettes biographiques*» Никола Дебрэ¹, вышедшим при его жизни. Позднее, на протяжении всего XIX в., другие серьезные биографические справочники² упоминают и об иных сторонах его деятельности: они пишут о Деменье как о депутате Генеральных Штатов, трибуне, сенаторе. Гофер назвал его «французским государственным деятелем и писателем». Все эти труды содержат списки работ Деменье и, начиная с «*Biographie universelle*» Рабба (1830), можно найти более точные сведения о его жизни.

Кроме этих официальных справочников, два «похвальных слова», произнесенные и опубликованные вскоре после его смерти, содержат подробности о жизни и личности Деменье. Грапен³ упоминает различные работы Деменье, являющегося, по его мнению, «глубоким мыслителем, элегантным писателем, ученым, сумевшим

¹ Nicolas Debray. *Tablettes biographiques des écrivains français*, t. II. Paris, 1810.

² Quérard. *La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique*. Paris, 1828; A. Rabbe. *Biographie universelle et portative des Contemporains...*, t. II. Paris, 1830; Michaud. *Biographie universelle*, t. X. Paris, 1855; Hofer. *Nouvelle biographie générale*. Paris, 1857.

³ Непременный секретарь Академии наук, искусств и изящной словесности г. Безансона; произнес похвальное слово 25 августа 1817 г.; опубликовано в «*Recueil des Années 1815—1820*» (Académie de Besançon).

соединить исторические факты, богатую и обширную картину которых он дает, со справедливыми наблюдениями над нравами и обычаями областей, с которыми он нас знакомит». Затем он резюмирует политическую жизнь Деменье с 1789 по 1814 г. Похвальное слово Луи-Огюста Декампа⁴ также представляет большой интерес, так как в нем подробно описывается основной труд Деменье «*Esprits des usages*» («Дух обычаев»).

Итак, в течение всего XIX в., несмотря на то, что его книга «Дух обычаев» находилась в библиотеке Поля де Брока, никто из критиков, насколько нам известно, не открыл в Деменье этнолога, антрополога или социолога.

Теперь перейдем к 1910 г.: в этом году Ван Женнеп, совершенно случайно обнаружив у букинистов эту книгу, напишет⁵ большую статью о Деменье, где первым признает в авторе «этнографа». Во второй статье⁶ Ван Женнеп отметит: «Деменье своим трудом «Дух обычаев» заложил основы того, что сегодня называют сравнительной социологией или социальной антропологией...» А в третьей статье Ван Женнеп будет говорить о выдающемся даровании Деменье: «В самом деле, это ошеломляющее произведение, написанное в возрасте, когда большинство людей еще с трудом усваивают идеи и точки зрения предшествующих поколений; это духовное озарение, которое ломает установленные рамки, чтобы создать новые; этот отбор документов, на которых основывается работа, произведенный несколько поспешно, но так умело, что здание, возведенное на таком фундаменте, устояло против многочисленных потрясений грядущих времен, — разве все эти факты не говорят о выдающемся даровании Деменье? Через 150 лет трехтомная книга Деменье остается тем же, чем она была некогда: хорошо сделанной работой и тщательно продуманным построением; и это до такой степени верно, что современный исследователь может спокойно взять за основу план, предложенный Деменье, и продолжить его работу с того места, на котором он кончил»⁷.

Итак, Ван Женнеп ввел Деменье в круг антропологов XX в. Благодаря его случайному открытию Рэне Монье смог посвятить

⁴ Адвокат королевского суда г. Тулузы; произнес похвальное слово на заседании 30 августа 1818 г.; опубликовано в «*Recueil LXXXIX de l'Académie des Jeux Floraux*». <Toulouse>, 1818, p. 36—50.

⁵ Van Gennep. Un ethnographe oublié du 18-e siècle: J. N. Dèmeunier.— «*Revue des idées*», 1910, VII.

⁶ Van Gennep. Remarques sur l'ethnographie.— «*Religions, Moeurs et Légendes*». Paris, 1911, 3-ème série, p. 11—12.

⁷ Van Gennep. La méthode ethnographique au 18-e siècle.— «*Religions, Moeurs et Légendes*». Paris, 1911, 5-ème série. p. 97.

Деменье статью в «Encyclopedia of Social Sciences» (1931), где он называет его «французским социологом и этнологом» и даже «одним из основателей социологии». В 1958 г. профессор Радклифф-Браун⁸ прочел цикл лекций об историческом развитии социальной антропологии. В разделе, озаглавленном «Предшественники социальной антропологии», он высказывается о Деменье, как «об одном из основателей социальной антропологии, хотя его труды теперь почти забыты и мало читаются»⁹. В 1960 г. профессор Клод Леви-Стросс в своей вступительной лекции, прочитанной им в Коллеж де Франс, упоминает имя Деменье как одно из тех, что несправедливо забыто социальной антропологией во Франции¹⁰. Немного спустя Альфред Метро напишет в одной из своих статей несколько строк о книге Деменье¹¹. Еще совсем недавно Жан Пуйон добрую половину своей лекции «Традиция: передача наследия или реконструкция» посвятил Деменье и его труду «Дух обычаев», стараясь «показать, как современный подход к антропологии, а именно структурализм, позволяет по-иному истолковать наше прошлое»¹². Современная социальная антропология рассматривает труд Деменье как сделанный уже в XVIII в. подлинный очерк сравнительной этнологии; Пуйон очень умело объясняет, благодаря чему Деменье заслужил свою новую репутацию, «речь идет о том ...чтобы найти в прошлом наметки тех решений, которые мы считаем правильными сегодня...»¹³.

Итак, прошло около двухсот лет после появления «Духа обычаев», и, может быть, потому, что социальная антропология стала дисциплиной, стремящейся укорениться в прошлом, Деменье, стал наконец, известен. XX век вынес более благоприятную оценку, чем сделал Гримм в XVIII в. в момент появления работы: «Это компиляция, выполненная достаточно критично и со вкусом, но очень несовершенная с точки зрения цели, которую, как нам кажется, поставил перед собой автор»¹⁴.

⁸ Radcliff-Brown. *Method in Social Anthropology*. University of Chicago Press, 1958.

⁹ Там же, стр. 145.

¹⁰ Именно по совету г-на Леви-Стросса и было предпринято данное исследование под руководством профессора А. Дюпрона.

¹¹ A. Métraux. *Précurseurs de l'Ethnologie en France du XVI-e au XVIII-e siècle*. — «Cahiers d'Histoire Mondiale», vol. VII, N 3, 1963, p. 721—722.

¹² J. Pouillon. *Conférence donnée à la Wenner-Gren Foundation*. New York City, IV 1968, p. 12.

¹³ Там же, стр. 9.

¹⁴ Grimm. *Correspondance littéraire, 1753—1793*, vol. XI. Paris, 1830, p. 266.

Жан-Никола Деменье родился в 1751 г. в Нозеруа (Франш-Конте) в семье, «пользующейся уважением скорее благодаря наследственным добродетелям, чем состоянию»¹⁵. Он рано проявил большие способности к учебе, и семья отправила его в безансонскую семинарию, предназначив, по мнению одного из его биографов, Грашена, к церковной карьере. Декамп же считал, что «с ранних лет родители избрали для него карьеру адвоката»¹⁶. Оба биографа свидетельствуют, что с юных лет Деменье проявлял большую склонность к занятиям литературой. Как бы там ни было, священником он не стал. В 1771 г. Деменье приехал в Париж и сделался здесь адвокатом. В целях заработка Жан-Никола достаточно хорошо осваивает английский язык. За четыре года он переводит три работы¹⁷, а через год, когда ему было 25 лет, вышел в свет тот труд, который нас главным образом интересует: «Дух обычаев и нравов различных народов или наблюдения, почерпнутые у путешественников и историков»¹⁸. За 18 лет, с 1772 по 1790 г., Деменье переводит восемь рассказов английских путешественников¹⁹, произведения Цицерона, «Histoire des progrès et de la chute de la République romaine» de Ferguson, («История прогресса и падения Римской Республики» Фергюсона, семь томов), «Code des Lois des Gentoux de Halhed» («Кодекс законов Женту Гальгеда»), «Histoire des Gouvernements du Nord» («История правительства Севера» Вильямса, четыре тома) и «Essai sur le génie original d'Homère» («Очерк об оригинальном гении Гомера» Вуда). Среди этих оригинальных работ фигурируют «Economie politique et diplomatique (Encyclopédie méthodique)» («Политическая и дипломатическая экономика», 1784—1788, четыре тома), «Amérique indépendante» («Независимая Америка», 1790, три то-

¹⁵ Grappin. Op. cit.

¹⁶ Decampe. Op. cit., p. 36.

¹⁷ Bolts. Etat civil et commerçant du Bengal. La Haye, 1775, 2 vols; Brydone. Voyage en Sicile et à Malte. Amsterdam, Paris, 1775, 2 vols; Phipps. Voyage au pôle boréal. Paris, 1775.

¹⁸ Dêmeunier. L'Esprit des usages et des coutumes des différens peuples ou Observations tirées des Voyageurs et des Historiens. 3 vols. Londres et Paris, 1776.

¹⁹ Кроме перечисленных выше работ (см. сн. 17), он перевел; Forrest. Voyage aux Molucues et Nouvelle Guinée. Paris, 1780; Сохе. Nouvelles Découvertes des Russes entre l'Asie et l'Amérique. Paris, 1781; Cook. Troisième voyage..., 4 vols. Paris, 1785; Bolts. Troisième supplément aux Mémoires concernant... l'état civil, politique et commerçant du Bengale. Paris, 1788; Vancouвер. Voyage de découverte à l'océan pacifique. 3 vols. Paris, an VIII.

ма) и различные выступления, доклады и работы, касающиеся его политической жизни.

Деменье так преуспевает в своих литературных занятиях, что его назначают королевским цензором, и он становится секретарем графа Прованского. К 1789 г., когда началась Великая французская революция, Деменье был уже известен своими либеральными взглядами. Он был избран депутатом от третьего сословия в Генеральные Штаты, «где он принимает активное участие в подготовке крупных реформ. Сведущий в вопросах политической экономии, он работал в различных комитетах, от имени которых часто делал доклады Национальному Собранию; нередко он был секретарем или председателем этих комитетов²⁰. Многие из его речей опубликованы в «Moniteur»; но в 1791 г. ему пришлось эмигрировать в Америку, где он прожил пять лет. В 1796 г. он вернулся во Францию, и уже год спустя его имя было включено в список кандидатов в Директорию. Наполеон вводит его затем в Трибунат, президентом которого он становится в 1800 г. В январе 1802 г. он вступает в Сенат и позднее получает сенаторию²¹ в Тулузы. В 1806 г. его принимают в Академию наук, искусств и изящной словесности г. Безансона, в 1810 г. — в литературную академию г. Тулузы (Jeux Floraux). Его награждают орденом Почетного Легиона, а позднее он становится командором и кавалером Большого офицерского креста этого ордена. Таким образом, после либерализма юных лет Деменье при Наполеоне начинает придерживаться более конформистских идей. Его два биографа — Гранен и Деками (писавшие в эпоху Реставрации) стараются объяснить и даже оправдать его идеи времен революции. После чтения «Духа обычаев» становится легче понять эволюцию его политической мысли, произошедшую в течение этих лет. Умер Деменье в Париже 7 февраля 1814 г. от апоплексического удара.

За годы, проведенные в семинарии, Деменье хорошо изучил множество классических произведений и античных сводов законов, которые в немалой степени являются источниками «Духа обычаев». Работа переводчика помогла ему ознакомиться с другим важным источником — рассказами о путешествиях. В самом деле, издание той серии работ, которую начал аббат Прево в 1747 г. и которая продолжалась до 1801 г., было в самом разгаре к моменту его приезда в Париж. Теперь в распоряжении Деменье

²⁰ Hoefler. Op. cit.

²¹ В годы I Империи — особая привилегия, связанная со значительными материальными выгодами, которой пользовались многие члены Сената (прим. перев.).

находились все материалы. Ему оставалось только разработать план своей будущей книги. Вот как в 1818 г. описывает это Декамп: «Посвятив себя с ранних лет, со всем пылом, свойственным этому возрасту, подобным занятиям, г-н Деменье не мог не приобрести очень быстро склонности и привычки к сближению и сопоставлению множества предметов, беспрестанно привлекавших его внимание: характер различных народов, их институты, их обычаи, изменения, вносимые в общественную жизнь климатом, почвой, различными непредвиденными обстоятельствами. Он задумал объединить в один труд такого рода наблюдения, собранные им в разных книгах; и, спустя пять лет после своего приезда в столицу, т. е. в 1776 г., он опубликовал результат этой огромной работы в трех томах, озаглавленной «Дух обычаев и привычек различных народов» («*Esprit des usages et coutumes des différents peuples*»). Это своеобразная компиляция содержит в различных разделах все, что люди могли придумать и осуществить наиболее примечательного в области просвещения, управления, войны, домашних обычаев, наказания, похорон и т. д. ...Это архивы человеческого разума и безумия. Часто краткие размышления писателя объясняют причины возникновения странных обычаев. Примечания, сделанные в конце страниц, указывают на источники, которыми пользовался автор, и гарантируют точность его цитат. Подобная подборка материала очень удобна для тех, кто любит получать знания уже в готовом виде и будет небезынтесна для других. Произведение далеко не совершенно, но оно показывает, что можно было ожидать от трудолюбивого автора, который уже в 25 лет продемонстрировал столько знаний и такое терпение»²². Однако, не поняв либеральных идей молодого Деменье, Декамп не смог заметить ни того влияния, которое оказали на него революционные идеи, получившие распространение в Париже в период 1771—1776 гг., ни несомненного влияния «Духа законов» Монтескье.

Являясь сторонником революции, Деменье в то же время был тем писателем, пессимистически смотрящим на природу людей и на все их беды, каким он предстает перед нами при чтении «Духа обычаев». Во время работы над своей книгой он много читал, размышлял, изучал историю различных народов мира; именно поэтому он так хорошо понял условия, в которых жили французы его времени. Став к началу революции умелым оратором, он обращается к своим соотечественникам со следующим горячим призывом: «В тишине уединения, вдали от шума и пагубных

²² Decampe. Op. cit.

страстей моя чувствительная душа воспламенилась при созерцании перспективы счастья, открывающейся для нации, и я посмел возыметь надежду служить ей; я полагал, что любой француз, любая честная душа имеет на это право; глубоко проникшись сознанием горестей, о которых я столько раз плакал, я искал выхода — и вот результат моих размышлений и открытий; к вам направляю я их, славные и добродетельные граждане, которых голос общест-венности призвал в суверенную национальную Ассамблею»³³. Эти строки, появившиеся из-под пера тринадцать лет спустя после публикации рассматриваемой нами работы, свидетельствуют о характере человека: чувствительный к нуждам себе подобных, с душой, открытой для одних и других, этот либерал, который в «Духе обычаев» попытался понять всех людей, в 1789 г. искренне стремится помочь людям освободиться от страданий. Теперь становится более понятным, почему Деменье предпочел скорее покинуть страну, чем видеть своими глазами террор, и почему после своего возвращения он согласился войти в состав нового правительства: он всегда сторонился резких тиранических мер, и это еще сильнее проявлялось, чем его осторожность. Уже в 25 лет в одной из своих работ он говорит о том, что, руководя политической машиной, «необходимо стараться избегать толчков, и что надо ее предоставить самой себе или управлять ею со спокойствием, напоминаям беспечность природы... Горячие харак-теры всегда оказывались опасными в сфере управления, потому что сумма благ, которые можно от них ожидать, очень невелика по сравнению с бедами, которых надо опасаться с их стороны»²⁴.

В XVIII в. не было еще социальных антропологов, способных понять новизну и своеобразие молодого Деменье. Но была публика, любящая полакомиться рассказами о путешествиях, для кото-рой книга Деменье представляла удобную компиляцию всего того, что было самым интересным и «пикантным» в рассказах. В тече-ние десяти лет «Дух обычаев» трижды переиздавался: в 1776, 1785 и 1786 гг. После первого выпуска парижский издатель Пан-кук преподнес книгу Вольтеру от имени автора. Вольтер писал Деменье 24 июля 1776 г.: «Извините, месье, что мои 82 года и почти столько же болезней не позволили мне Вас поблагодарить раньше за очень приятный подарок, переданный мне от Вас г-ном Панкуком. Я поражен, что, будучи таким молодым, Вы нашли вре-мя и терпение мысленно обозреть весь свет и привести в порядок

³³ D é m e u n i e r. Avis aux députés qui doivent représenter la nation dans l'Assemblée des Etats-Généraux. [Paris], 1789, p. 3.

²⁴ Цит. по: D e c a m p e. Op. cit., p. 29.

все его многообразии и все его неясности. Нет ничего более любопытного, чем эта живая картина; много труда Вы должны были затратить, чтобы доставить нам столько удовольствия»²⁵.

*

До настоящего времени нам удалось отыскать 12 экземпляров данной книги в различных библиотеках Парижа (и два экземпляра в Библиотеке Британского музея в Лондоне). Другие экземпляры находятся в библиотеках шестнадцати провинциальных городов, каталоги которых датируются XIX в.

Заглавие книги напоминает «Дух законов» Монтескье, и Деменье нас предупреждает: «С отвращением было дано книге название, постоянно напоминавшее «Дух законов», и чтобы на это решиться, нужны были обстоятельства, о которых не имеет смысла говорить»²⁶. Очевидно, заглавие было навязано издателем²⁷, но нет оснований полагать, что Деменье не испытывал восхищения Монтескье. Он пишет: «Невозможно было обойти молчанием законы, установленные обычаями, и здесь упоминаются те, которые опустил г-н Монтескье; остальные законы рассматриваются не всегда так, как делал этот знаменитый писатель, а в продолжении данной работы объясняются многие законы и обычаи, о которых он не говорил»²⁸. При чтении данной работы мы видим, что книга содержит многочисленные ссылки на Монтескье и принимает многие из его объяснений. Следовательно, Ван Женеп был неправ, когда писал: «Что касается Деменье, то он, кажется, взял в качестве своей единственной отправной точки инстинктивную ненависть к Монтескье, которого он называет не иначе как «именитый писатель», ненависть, разжигаемую интеллектуальным пламенем, ставящим человека в категорию тех, кого Оствальд называл в «Великих людях» («Les Grands Hommes») «романтическими учеными»²⁹. Нам кажется, что Деменье хотел сохранить определенную независимость по отношению к Монтескье, так как он не принимал всех его объяснений; кроме того, прошло 25 лет с момента выхода в свет «Духа законов». Но все же его главным

²⁵ «Lettres choisies de Voltaire». Paris, Garnier, 1872, p. 563.

²⁶ D é m e u n i e r. Op. cit., t. I, p. XVI..

²⁷ Произведение Монтескье по-прежнему оставалось очень популярным, что и делало его заглавие привлекательным с коммерческой точки зрения. Отсюда, вероятно, и этот «нажим» со стороны издателя.

²⁸ D é m e u n i e r. Op. cit., t. II, p. XI.

²⁹ Ostwald. La méthode ethnographique au XVIII siècle. «Religions, Moeurs et Légendes». Paris, 1911, 5-ème série, p. 184.

вдохновителем был именно этот маститый автор, и он признает свой долг по отношению к нему, когда будет писать несколько лет спустя: «Я иногда использовал бессмертного автора «Духа законов», имя которого можно произносить только с чувством восхищения и уважения. Его идеи настолько энергичны и блестящи, и что бы ни говорили поверхностные или продажные критики, в принципе так правильны, что на него всегда будут ссылаться»³⁰.

Подзаголовок книги Деменье: «Или наблюдения, почерпнутые у путешественников и историков» («Ou Observations tirées des Voyageurs et des Historiens») поражает своей сдержанностью. Стараются ли Деменье просто найти объяснение своему главному названию: «Дух обычаев и нравов различных народов» («Esprit des usages et coutumes des différents peuples...»)? Принимая во внимание серьезный и умеренный характер нашего автора, его восхищение Монтескье, его разностороннюю начитанность, мне кажется, что этот подзаголовок должен прежде всего подчеркивать оппозицию Деменье по отношению к навязанному заголовку и более скромно указывать на цель книги.

Заголовок и предупреждение, данное на последующих двенадцати страницах, освещают научную позицию Деменье: стремление строго подходить к отбору используемых им сведений, указать все источники, ознакомить читателя со всеми собраниями книг, которыми он пользовался: «В этой книге часто цитируются путешественники, историки и другие авторы, это было необходимо и делалось не для того, чтобы продемонстрировать свою ученость, а только для того, чтобы избежать упреков». В самом деле, на протяжении трех томов или приблизительно 1116 страниц своей книги Деменье делает около 2345 ссылок на 467 авторов или работ. Нам показалось интересным составить точную опись — количественную, географическую и хронологическую с тем, чтобы не только подчеркнуть эрудицию нашего молодого автора, но и дать картину этнографических сведений, которые мог получать культурный человек в эпоху, когда Деменье предпринял свою работу. При помощи этих различных описей мы смогли составить карту стран и народов, упомянутых Деменье: таким образом, перед нашими глазами простирается географический и этнический горизонт, который был доступен в XVIII в. людям, читающим рассказы о путешествиях.

Сделанные нами описи обнаруживают, что приблизительно $\frac{2}{3}$ источников, которыми пользовался Деменье, составляют, можно сказать, «оригинальные источники» (т. е. источники, дающие конк-

³⁰ D é m e u n i e r. Economie Politique et Diplomatie.— «Encyclopédie Methodique», t. I (l'avertissement). Paris, 1781.

ретную информацию, куда входят описание обычаев и привычек народов): рассказы путешественников, главным образом французов (для народов, которые были открыты европейцами в течение предшествующих веков)³¹; кодексы законов (для бывших варварских народов Европы)³² или произведения греческих и латинских авторов (для народов классической античности)³³. Оставшуюся треть его источников составляет научная литература, т. е. исторические, географические и другие труды. Примерно $\frac{3}{4}$ народов, упомянутых в источниках, которыми он пользовался,— это неевропейские народы; треть из них живет в недавно открытых странах. Чаще всего здесь упоминается Азия, за ней — Африка, потом — Америка, и, наконец, арктические районы. На европейские страны, от античных времен до новейшей эпохи, приходится только четверть ссылок. Иными словами: рассказы путешественников составляют основную часть (приблизительно половину всех ссылок) источников книги, и, конечно, эти рассказы относятся чаще всего к недавно открытым народам. Данное утверждение не соответствует тому, что писал Эванс-Притчард о шотландских и французских философах XVIII в.: «Значение первобытных обществ для разрешения вопросов, интересующих этих философов, совершенно очевидно, и они время от времени используют факты, которые известны об этих обществах, но для периодов, выходящих за рамки их собственной эпохи, Ветхий Завет и классические произведения оставались их основными источниками. Во всяком случае сверх этого было мало что известно о первобытных обществах, хотя географические открытия XVI в. привели уже во времена Шекспира к тому, что в образованных кругах сложилось общее представление о «дикаре», отразившееся в образе Калибана; и авторы, писавшие о политике, законах и обычаях, были к этому времени уже в какой-то мере осведомлены об огромном разнообразии обычаев, существовавших среди неевропейских народов. Монтень (1533—1592), например, много страниц своих Очерков посвятил тому, что сейчас мы называем «этнографическим материалом»³⁴.

Книга Деменье представляет в общей сложности попытку сравнить привычки и обычаи народов всего мира, в отношении ко-

³¹ Напомним, например, об упоминавшейся выше коллекции Прево (см. стр. 220).

³² Деменье использует крупные собрания античных кодексов законов, упоминаемые им в своем предисловии (т. I, стр. XII).

³³ Отметим значение издания Гроновиуса (J. Gronovius. *Thesaurus graecorum antiquitatum... Lugduni Batavorum* [Leyden], 1697—1702, 13 vols, 2-е éd., 1732—1737), в котором Деменье почерпнул большое количество сведений о народах классической античности.

³⁴ Evans-Pritchard. *Social Anthropology*. 1951.

торых он располагает сведениями, восходящими к древнейшим временам. Он не ставит никаких географических или хронологических границ. «После стольких книг, написанных о человеке, не были сопоставлены нравы, привычки, обычаи и законы различных народов: теперь хотят исправить этот пробел.

Нам известны почти все нации, культурные или дикие, настала пора их сопоставить, а так как отныне человеческий род будет представлять однообразную картину, надо стараться сохранить следы древнейших времен»³⁵.

Другие авторы описывали обычаи иных народов, но никогда не делали это так объективно, как сделал Деменье, обуреваемый искренним желанием понять: «в этой работе меняют метод и ищут дух народов»³⁶.

Все обычаи, почерпнутые из перечисленных выше источников, сгруппированы здесь согласно плану в 18 разделах, или книгах, ведущих читателя от «источника жизни» (т. е. питания, согласно Деменье) через основные этапы существования (рождение, семья, образование, общество и повседневная жизнь, правила внутри общества, касающиеся красоты и украшений, сексуального поведения, уголовные законы и т. д.) до смерти (болезнь, медицина, похороны).

Внутри каждой книги Деменье дает систематическое расположение материала. В начале человеческая жизнь была простой, но усложнялась по мере того, как человечество старилось. Таким образом, Деменье следует за схемой «дикость — варварство — цивилизация» (от простого к сложному), куда он вводит все обычаи, касающиеся рассматриваемого сюжета. С другой стороны, он часто начинает книгу с утверждения а priori: предвзятую мысль, касающуюся обычая, он доказывает затем при помощи примеров, взятых из источников. Наконец, на протяжении всей своей книги Деменье старается объяснить происхождение обычаев, с которыми он столкнулся, либо прослеживая их историю до самого их возникновения, либо дать им какое-то иное объяснение: «Климат, бедность страны, бесплодие почвы, физическая организация, потребности и положение народов с самого начала становятся причиной очень разных привычек и обычаев; политика, законы и мораль, ложные идеи и предрассудки, свобода, рабство и тысяча других обстоятельств окончательно увеличивают эти различия; эти обстоятельства и следуют изучить»³⁷.

³⁵ D é m e u n i e r. L'Esprit des usages..., t. I, avertissement, p. V.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же, стр. V—VI.

Деменье затрачивает много усилий и времени на то, чтобы объяснить или по крайней мере понять некоторые привычки и обычаи; вопрос о том, плотояден ли человек по своей природе, обычай убивать новорожденных, антропофагия, многие обычаи сексуальной жизни, как-то: инфибуляция, кастрация, обрезание и т. п.

Чтобы представить, с какой точностью Деменье цитирует собранные им сведения, нами была проверена треть ссылок слово в слово путем сопоставления текста Деменье с цитируемым текстом. В девяти случаях из десяти Деменье точно копировал оригинальный текст, иногда сокращая его или изменяя мельчайшие детали. Деменье проделал огромный труд, требующий большого терпения и точности, он должен был изучить множество источников, чтобы найти интересующие его обычаи и точно их идентифицировать. Только в 10% из всех проверенных нами ссылок мы обнаружили, что приводимые цитаты были неправильны, искажали мысль автора или же Деменье упростил оригинальный текст.

Внимательное чтение «Духа обычаев» вскрыло, однако, что некоторое число сведений приводится без указания источника; мы смогли обнаружить эти сведения в других работах. Часто это незначительные факты, о которых Деменье мог прочесть во многих книгах и которые он счел достаточно известными, чтобы не ссылаться на источник. Например: об общности женщин, существовавшей у массагетов; или о том, что дикари Америки предоставляли своим семьям право выбирать им жен и проводили первый год совместной жизни без сожительства и т. д. Правда, без ссылки дается и довольно большой отрывок о судьбе пленных, но он повторяет соответствующий пассаж из известной книги Поу об американцах, вышедшей в 1768 г.

Часто создается впечатление, что хотя Деменье и ссылается на первоначальные источники, на самом деле он пользуется сведениями из вторых рук. Например: он ссылается один раз на многотомный труд «*Marca Hispanica*» (1688); однако эта цитата, так же как и многие другие, встречается в «Духе законов». Нам кажется несомненным, что Деменье сам не читал этого многотомного произведения.

Но по существу все это не имеет особого значения и не уменьшает оригинального характера «Духа обычаев», пока речь идет просто о документации. Но иногда Деменье доходит до чистой и простой компиляции. Это относится к длинным рассуждениям по различным вопросам, в которых он пользуется некоторыми вышедшими ранее работами, никак это не огославляя. В его книге есть примерно 150 цитат такого рода, заимствованных у следующих авторов:

<i>Лафито</i>	«Обычаи американских дикарей» («Moeurs des Sauvages americains»)	1724	13	цитат ³⁸
<i>Лежандр</i>	«Трактат о мнениях» («Traité de l'Opinion»)	1733	20	»
<i>Монтескье</i>	«Дух законов» («L'Esprit des Loix»)	1733	20	»
<i>Гоге</i>	«О происхождении законов, искусств и наук и об их прогрессе у древних народов» («De l'origine des Loix, Arts et Sciences et de leurs Progrès chez les Anciens Peuples»)	1758	10	»
<i>Лорд Хоум</i>	«Исторические очерки о законах» («Essais Historiques sur les loix») и «Очерки истории человечества» («Sketches of the History of Mankind»)	1758		
<i>Поу</i>	«Философские исследования об американцах» («Recherches philosophiques sur les Américains»)	1774	19	»
<i>Миллар</i>	«Происхождение различия рангов» («Origin of the Distinction of Ranks»)	1768	20	»
		1771	21	»

О влиянии Монтескье уже говорилось, но и остальные шесть авторов также сыграли значительную роль в творчестве Деменье. Их работы он, несомненно, очень внимательно прочитал. Отметим также, что Монтескье, Гоге, Хоум и Миллар специализировались в изучении законов, Лежандр известен как историк, а Поу является голландским ученым, в течение многих лет изучавшим быт американцев, египтян и китайцев (1774), а также древних германцев. Все эти авторы считали «целесообразным» и «интересным» исследовать обычаи, чтобы понять человеческую природу. С этой целью они старались найти истоки общественных учреждений, добраться до начала истории законов. Они черпали сведения у древних авторов, а чтобы заполнить пробелы, использовали рассказы путешественников. Из их произведений Деменье заимствовал целые параграфы, касающиеся интересующих его проблем, которые он затем наиболее широко развил: соувале, антропофагия, уголовные законы, «суд божий»; имеется целая глава, взятая у Миллара, в которой речь идет о власти отцов над детьми. У него же Деменье широко заимствовал материал для своих глав о женщинах и замужестве, о детях, о рабстве, хотя он ссылается на этого автора всего только один раз.

Несмотря на все свои заимствования (признанные им или нет) у авторов, которые ему предшествовали, Деменье выделяется среди своих предшественников. Его выделяет не только молодость (когда вышла его первая книга, ему исполнилось всего двадцать пять лет), но и новизна предпринятой им попытки — сгруппировать согласно этапам человеческой жизни все обычаи и нравы, не вынося никаких суждений, а только стараясь их понять.

³⁸ См.: van G e n n e r. Op. cit., p. 35.

«Каков бы ни был обычай, он всегда имеет причину... При изучении всех сопутствующих обстоятельств поражает тот факт, что самые невероятные обычаи имеют очень простое объяснение: некоторые из них являются прямыми аллегориями характерных для данного общества нравственных представлений, которые мы совершенно не понимаем и которые были бы менее смешными в наших глазах, если бы мы их знали; другие же, наконец, кажутся нам странными только потому, что мы к ним не привыкли. Впрочем, путешественники и писатели искажают большинство обычаев, а так как они никогда не ищут причин их возникновения, то в силу незнания или недобросовестности они извращают их, чтобы придать им большую пикантность: они сообщают им даже оттенок смешного, который возрастает, переходя из книги в книгу, хотя пелепо цивилизованным людям смеяться над поступками варваров»³⁹.

*

Это стремление понять, эта попытка написать новую историю человека, основываясь на его обычаях и привычках, являются частью научной мысли XVIII в., века Просвещения. Деменье — подлинный сын своей эпохи, и если он был забыт в течение XIX в., то это потому, что только антропологи XX в. могли понять, какую роль сыграл Деменье в изучении нравов (начало этому изучению положила еще в XVI в. книга Боемуса «Сборник различных историй, касающихся положений в разных районах, страны трех частей света с особенностями нравов, законов, церемоний всех наций и народов»⁴⁰). Выявляя основные линии философии науки в XVIII в., Пьер Навиль мог бы прибавить имя Деменье к трем именам, которые он дает в качестве примера: «Стараются, — пишет он, — выделить из естественного хаоса законы, имеющие всеобщее значение; направление, начатое «Духом законов» ищет соответствия между принципами естественных наук и принципами законодательства. Гельвеций, Буланже, Гольбах стараются объяснить религию, политику, правительство психологией, физиологией, географией, геологией... Вряд ли можно говорить о существовании социальных наук в среде энциклопедистов; тем не менее поведение человека в обществе является предметом, занимающим всех»⁴¹.

³⁹ D é m e u n i e r. *Esprit des usages...*, t. 1, p. 33—34.

⁴⁰ B o e m u s. *Recueil de diverses histoires touchant les situations de toutes régions, pays, contenus en trois parties du monde avec les particuliers moeurs, loix, caeremonies de toutes nations et peuples y habitans*. Paris 1542 (второе французское издание; первое издание на латинском языке вышло в свет в 1520 г.).

⁴¹ P. N a v i l l e. *D'Holbach et la philosophie scientifique au XVIII-e siècle*. Paris, 1967, p. 121—122.

ВОЛЬТЕР О ГРАЖДАНСКОМ ДОЛГЕ ПИСАТЕЛЯ



И. И. Сиволоп

По-видимому, многое определилось для Вольтера в тот далекий вечер 1725 г., когда лакеи шевалье де Рогана избили его палками. Для французского общества 20-х годов XVIII в. в этом событии не было ничего особенного. Так могло случиться с любым писателем, художником, артистом, ученым, который не совсем правильно понимал табель о рангах¹. Кстати, чуть позже, в 1740 г., в другой стране — в России — произойдет подобный же случай с поэтом Тредиаковским. Свое неудовольствие сильные мира сего высказывали им даже не лично и уж никак не снисходили до дуэли. С провинившимися поступали проще — зарвавшегося простолюдина наказывала челядь. Так и поступил надменный де Роган-Шабо с бедным Франсуа Аруэ, будущим Вольтером, как, впрочем, и обидчик Тредиаковского вельможа Артемий Волынский, сам ставший жертвой Бирона. Инцидент прошел бы незамеченным, если бы Вольтер, подлечив свои синяки, присмирел, стал бы потише. Но этого не случилось. Поэт ничего не понял из урока палочной науки. Он возмутился, стал протестовать, не хотел уступить, превратить весь пассаж в шутку. В этом дерзком упрямстве было что-то новое...

Правда, за этим последовало заключение в Бастилию, высылка в Англию, возвращение и жизнь с оглядкой на собственную тень,

¹ Общеизвестно, что ссора разгорелась из-за насмешливого вопроса Рогана: «Вы господин Аруэ? Или господин Вольтер? Как, собственно, ваше имя?» Вольтер не задумываясь ответил: «Я создаю свое имя, а вы хороните ваше».

палач, сжигающий листы «Английских писем». Поэт и писатель, ученый и философ — он стал старше, мудрее, хитрее. Он научился до поры до времени проглатывать обиды, спускать оскорбления, затаивать гнев. Он ждал минуты мщенья. Не он, а тысячи врачей и юристов через полстолетия приведут в исполнение эту месть — на гильотине будут расплачиваться де рогапы за презрение к разночинцам. Конечно, на Гревской площади не было ликующего Вольтера, но были те, кто буквально следовал поддержанным им принципам — «Свобода, равенство и братство» и кто с якобинской решительностью и неумолимостью мстил за горечь обиды юного Вольтера, за погребение в мусорной яме гордости французской сцены Адриенны Лекуврер, за страдания загнанного великосветскими интригами Жан-Жака Руссо.

И все же за три десятилетия до революции Вольтер и сам одержал победу. Он стал некоронованным королем Европы. К нему ездили на поклон сильные мира. Ему писали лживопритворные письма монархи, стараясь поправиться, заручиться его поддержкой. Но такое общественное положение далось не вдруг и не сразу. За этим лежал беспримерный труд и каждодневная борьба. Медленно, постепенно, камень за камнем — из пьес, повестей, романов, стихов, исторических произведений и философских трактатов складывал Вольтер свой пьедестал. Конечно, и до него были великие писатели. Но им не хватало присущей Вольтеру независимости существования — бытовой, моральной, профессиональной. Вольтер мог бы остаться одним из тех великанов-одиночек, которые достигли признания своим талантом и трудом. Но сила его заключалась в другом. Это он начал воспитывать своих соотечественников в духе уважения к писателям и актерам, он заставил признать, добился того, что в лице профессионального художника они увидели человека, в какой-то степени стоящего выше официальной феодально-абсолютистской власти.

А этого достиг Вольтер не только трудом. Это было добыто в борьбе, которая включала в себя все виды сражений и даже единопорство с коронованной персоной. Вольтер затеял с Фридрихом II турнир, за которым с удивлением следила вся Европа. Турнир окончился моральной победой писателя.

Взаимоотношения Вольтера с властью очень сложны и запутанны. Этот вопрос расчлняется на два понятия — власть как таковая и король как ее носитель. Еще в ранние годы своего творчества, практически уже в «Эдипе» (1718), Вольтер сорвал с персоны короля-царя священное покрывало. Для него это такой же человек, как и все остальные. Без дружбы Алсида, научившего меня всем добродетелям, я был бы «только сыном короля, только обыкновен-

вым принцем»², — говорит один из персонажей пьесы. Личные качества ставятся выше королевского сана. Пройдет немного времени, и в «Бруте», «Смерти Цезаря» он открыто выразит свое отвращение к тиранической власти и подтвердит симпатии к равенству и свободе. В своих письмах к Фридриху — тогда еще прусскому наследному принцу — он заявит, что «все люди равны между собой»³. Он не устает говорить в своих пьесах о насильственной смерти тиранов-самодержцев. Он опустит с котурн фигуры королей, покажет их смертными, заблуждающимися, обманутыми, иногда жалкими, а иногда героически прекрасными⁴. Вольтер учил людей признавать в Эдипе и Генрихе IV своих братьев. В моральной и нравственной общности он уравнил королей и героев с толпой, сделав главным героем своих пьес республиканца Брута и подвел каждого зрителя к мысли о равенстве. А значит и возможности быть на их месте. Подняв руку, пусть на театральных подмостках, на королей, он поднял руку на власть... В одном из писем прусскому наследному принцу Вольтер пишет: «Принц, мало королей, которые обучаются у муз, мало королей, которые просвещают руководимые ими народы... Только двое-трое из них — чудо в истории — заслужили славы философов, остальные — как вам известно — это самые обыкновенные короли, рабы наслаждений, гордые угнетатели законов, обуза природы, бичи земли, спящие на троне или мечущие грома»⁵. Этого французский абсолютизм не мог ему простить и не простил до конца. Несмотря на многочисленные попытки Вольтера предложить свои услуги в качестве дипломата, советника Помпадур, — контакт установить не удалось, ибо Вольтер хотел контакта, основанного на глубоком уважении его личности. Вместо этого французский монарх назначил его придворным историографом и камергером. Нам знакома эта политика королей с поэтами, особенно непокорными, — Россия, 1833 г., камер-юнкер Пушкин. Вольтер горько переживал это назначение: «Не жалко ли вам беднягу, который стал в пятьдесят лет королевским шу-

² Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 1—52. Paris, 1877—1885, éd. Moland, vol. 2, p. 65.

³ Voltaire's Correspondence. Genève, 1954..., éd. Th. Besterman, vol. VII, N 1371, p. 37 (23.I 1739).

⁴ В дальнейшем несомненно большую роль сыграло и влияние Шекспира на творчество Вольтера, который «открыл» его французам и ставил гений Шекспира в один ряд с Локком и Ньютоном (см. письмо Вольтера О. Уолполю 15 июля 1768 г.). Правда, творчество английского драматурга по целому ряду причин (и не только эстетических, как часто говорят об этом) вызывало сугубо отрицательные и подчас даже враждебные отзывы Вольтера.

⁵ Voltaire's Correspondence, vol. V, N 1111, p. 259 (30.IX 1736).

том...— пишет он в 1745 г.— Я мечусь между Парижем и Версалем, пишу стихи в пути. Нужно восхвалять короля торжественно, супругу дофина утонченно, королевскую семью нежно, ублажать двор и не раздражать город»⁶. Из этих начинаний ничего не вышло, чему немало способствовал и сам Вольтер, почувствовавший всю прелесть королевских милостей⁷. Для осуществления эксперимента — союз монарха с философом — пришлось выбрать другого короля и другую страну. «Мне было суждено перебежать от короля к королю, невзирая на то, что я боготворил свободу»⁸, — с грустью вспомнит Вольтер. Много книг, брошюр, статей написано о взаимоотношениях Вольтера с Фридрихом II⁹. Много упреков за 200 лет брошено Вольтеру за дружбу с Екатериной II. Но их переписка представляет пример трезвой, свободной от иллюзий взаимной оценки. И хотя письма пестрят куртуазными льстивыми оборотами со стороны Вольтера — это скорее всего только дань этикету. Это не слова искреннего восторга, которыми наполнены его письма к друзьям или к Тюрго. В своих мемуарах Вольтер напишет: «Эпитеты нам ничего не стоили»¹⁰.

До 1750 г. Фридрих для Вольтера продолжает еще оставаться если не идеалом монарха, то во всяком случае примером для королей, достойным подражания. Французский писатель пытался влиять на образование наследного принца. Вольтер пробовал обучать его международной политике¹¹, отправлял новогоднее пожелание в стихах, где желал всем королям не обременять свои государства тяжестью законов¹². взывал к гражданскому долгу, напоминал, что король «гражданин на троне»¹³. Вольтер подробно рассказывал о деятельности Петра I в России, надеясь привлечь к этому историческому примеру взоры Фридриха, прельстив его созидательной деятельностью¹⁴. Все эти годы, особенно после воцарения Фрид-

⁶ Voltaire's Correspondence, vol. XIV, N 2855, p. 103 (34.I. 1745).

⁷ См. там же, письма от февраля и марта 1745 г.

⁸ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. I, p. 35.

⁹ Вольтероведение сейчас настолько разрослось и расширилось, что превратилось в самостоятельный раздел науки. Литература по Вольтеру огромна, поэтому в данной статье нет перечня работ, посвященных тому или иному аспекту его творчества.— Тема «Вольтер о гражданском долге писателя» слишком широка, и данная статья никак не претендует на ее всестороннее освещение — это попытка высказать некоторые мысли, возникшие в процессе изучения творчества великого просветителя.

¹⁰ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. I, p. 14.

¹¹ Voltaire's Correspondence, vol. VII, N 1506, p. 302—306 (5.VIII 1738).

¹² Там же, т. VII, № 1650, стр. 139—140 (1.I 1739).

¹³ Там же, т. IX, № 1886, стр. 92 (15.IV 1739).

¹⁴ Там же, т. VII, № 1363, стр. 19—21 (15.I 1738).

риха, Вольтер надеялся, что тот со дня на день начнет проводить в жизнь принципы просветительства, гуманизма, культуры. В знаменательные для Фридриха дни 1740 г. он рисует ему в аллегорической форме картину идеального правителя на «серебряном престоле», вокруг которого собрались все науки и искусства¹⁵. Это план преобразований. Конечно, Вольтер понимал, что мерка, с которой он подходит к прусскому королю, несколько великовата, но он считал себя обязанным ободрять его своими письмами, советами, надеждами. Он видел, что в жизни не все так хорошо, как хотелось бы, поэтому и к людям, думалось ему, нужно быть снисходительными тем более, если они носители власти. «Известно, что близость к царствующим особам приводит к страданиям» и «нашему брату, писателям, приходится льстить королям»¹⁶. Фридрих играет в «Марсову науку» — в войну — это плохо, и Вольтер с беспокойством призывает своего «северного Александра» как можно скорее обратиться в «северного Соломона»¹⁷, заняться гражданским переустройством страны. Он предостерегает от искушения презирать простых людей¹⁸, предупреждает, что трудно быть героем на престоле¹⁹, часто напоминает о гражданском долге. Он уговаривает, как наставник, убеждает, сравнивает Фридриха с Ликургом, Аполлоном, Орфеем, создает образ политика, законодателя, победителя и поэта, которому должен следовать Фридрих. Его коробят солдатские увлечения Фридриха. Не скупясь, по многу раз Вольтер доказывает, что поэт-Орфей не может любить кровопролития, грабеж и насилие. Он настаивает на проведении гражданских реформ, ободряет в их начинании.

Но постепенно Вольтеру становится яснее истинный облик прусского короля. Уже в письмах первых лет после воцарения Фридриха проскальзывает горечь разочарования. Его советам не следуют. Попытки предложить услуги в урегулировании международных конфликтов вежливо, но твердо отвергаются Фридрихом²⁰.

Вольтер убеждается, что слова прусского короля о своей единственной страсти — к стихам только слова, ибо по-настоящему он привязан только к войне²¹. Очень осторожно, но весьма заметно

¹⁵ Voltaire's Correspondence, vol. X, p. 90—92 (15.IV 1740). Л. С. Гордон высказывает предположение, что слово «argent» является здесь намеком на то, чтобы будущий государь опирался на деньги, т. е. сделал ставку на буржуазию.

¹⁶ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 1, p. 40, et 17.

¹⁷ Voltaire's Correspondence, vol. XII, N 2441, p. 48 (26.V 1742).

¹⁸ Там же, т. XI, № 2411, стр. 241 (22.XII 1741).

¹⁹ Там же, т. XII, № 2436, стр. 33 (15.V 1742).

²⁰ Voltaire's Correspondence, vol. XIII, N 2664, p. 100 (8.X 1743).

²¹ Там же, письма за 1742—1743 гг.

проглядывает досада на Фридриха: «...вместо дюжины ученых имеете дюжину танцоров»²². К этим годам относится и письмо, где было сказано в стихах: «...Берегите свою кожуру, в другой раз бог не сотворит такой, в которую можно поместить столько ума»²³.

Постепенно Вольтер понимает, что король своенравен и не похож на слабовольного ученика, которым может управлять наставник, тем более эпистолярным образом. И в 1750 г. под влиянием целого ряда причин он решает принять приглашение и переезжает в Потсдам, но уже не как ментор, а как советчик и друг. Много говорили об этом шаге Вольтера и современники и последующие поколения. Но за этим действием стоит не только материальная выгода, за этим стоят раздумье и решение проверить свои теоретические проекты на практике, тем более что возникла на редкость удобная ситуация: давнее знакомство, чуть ли не дружба, настоячивые приглашения, т. е. весьма обманчивый тон равенства. Упустить такую возможность казалось немислимым. Редко философы могли похвастаться такой близостью с монархом. Почему мы восторгаемся Фарадеем, Ньютоном, Галилеем, их действиями, лишениями в частной жизни, настойчивостью в проведении эксперимента, который пужно ставить раз, десять, двадцать, сто? Разве для Вольтера это не такой же эксперимент? Соединить монарха с философией, обвенчать эти разные головы, провести почти что опыт алхимика? Это эксперимент в общественной жизни, ибо, по его убеждению, «опыт — истинный учитель философии»²⁴. И Вольтер, как ученый, — кстати, он имел уже солидный стаж естествоиспытателя, химика и физика, — идет на него с открытыми глазами, отдавая себе отчет в его опасности. Еще в 1737 г. в одном из писем к тому же Фридриху он сказал: «Горе философу, который не умеет сгонять с лица морщин»²⁵. Он знал, что многим рискует — или он будет повержен, обезличен, смят, или станет победителем. Но это ему жизненно необходимо — победа философии даже в далекой Пруссии в конечном итоге исключительно важна и для Франции, ибо если просвещение победит в одной стране, то свет его распространится повсюду²⁶.

Сам эксперимент занял не так много времени. Прусский король был слишком далек от тех античных героев, именами которых его прославляли все, в том числе и сам Вольтер. Надежды на расцвет просвещения в Германии, на разумное правление скоро

²² Там же, т. XII, № 2436, стр. 34 (15.V 1742).

²³ Там же, т. XIII, № 2690, стр. 135—136 (16.XI 1743).

²⁴ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 22, p. 449.

²⁵ Voltaire's Correspondence, vol. VI, N 1297, p. 193 (30.VII 1737).

²⁶ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 43, p. 175.

рухнули. Лживый правитель был далек от теоретического идеала. Нетрудно представить себе тяжелую обстановку в Потсдаме: обеспокоенный крушением своих надежд Вольтер, его негодование, возмущение прусским автократом, который предложение философа сотрудничать на равных правах принял за согласие на наемную службу; недовольство Фридриха в связи с отказом Вольтера править его стихи («полоскать белье»), его поза покровителя, надутая губа из-за непокорности нового вассала. Собранная в Берлине Академия, казавшаяся Вольтеру сначала если не лучше афинской, то во всяком случае равной ей, была всегда и во всем покорна. Она рукоплескала своему патрону, льстиво заглядывала в глаза, доносила, выпрашивала милости. Но унижение не входило в эксперимент Вольтера, с ним он не мог смириться даже в научных целях. Почти подобное положение было у него на родине как у королевского историографа. Ему же нужен союз равный и прочный, хотя бы такой, как в Англии, где ученые и философы вершат часть государственных дел. Ньютон, Гоббс, Локк, Свифт — вот исторические фигуры, которые его пленяют²⁷. Роль прачки его не устраивает, а общество Мопертюи унижает²⁸. Хотя он говорил, что «философ свободен и в кандалах»²⁹, но уж больно крепкими оказались абсолютистские оковы Пруссии, такими же, как и в дорогой ему Франции. И этот человек с кипящей кровью не хочет идти на поклон. «Свобода была мне всегда дороже всего»³⁰, — говорил Вольтер. Здесь не только жажда равенства с королями, не только чувство собственного достоинства (хотя и этого для различия в XVIII в. немало!). В этом — и стремление применить свои знания к делу, как Локк в Англии. В этом — и ответственность за то великое звание писателя, философа, ученого, которым так гордится Вольтер. «Мне приятно было, отстаивая друга, взять под защиту свободу писателей...»³¹ И разве не та же мысль о месте ученого и писателя в обществе, об уважении к нему заставляла бороться Ломоносова с такими же людьми в русской Академии наук, и разве не она терзала сердце Пушкина, десятки раз ранила его в борьбе с Николаем I и привела в конце концов к гибели? «При дворе, — пишет Вольтер, — всякий философ обращается в раба, уподобляясь первому попавшемуся чиновнику дворцового шта-та»³². И если почтенные прусские академики смиренно покоря-

²⁷ См. там же, т. 21, стр. 536; т. 22, стр. 179—180.

²⁸ См. там же, т. 23, стр. 560 (*Diatribes du docteur Akakia*).

²⁹ Там же, т. 10, см. p. 218.

³⁰ Там же, т. 1, стр. 39.

³¹ Там же.

³² Там же.

лись, опуская глаза, требованиям своего патрона, то Вольтер этого делать не стал: «Жить в тоске, петь только по обязанности — для меня это значит не жить»³³, — говорил он. Теперь уже не со сцены, а в жизни Вольтер мог повторить слова одного из героев «Эдипа»: «Царь для своих подданных — это бог, которого почитают; для Геракла и для меня это обычный человек. Я защищал царей; поверьте, что я мог бы сражаться с ними и мстить им»³⁴.

В 1753 г. Вольтер решил привести в действие первую угрозу, провозглашенную им теоретически в начале столетия, — начать сражаться. Недалек тот день, когда сбудется и второй этап его предсказаний — когда королю начнут мстить. Но это будет потом, и делать это будут другие. А здесь, в Потсдаме, Вольтер гневно выпрямился и уехал «с твердым намерением не встречаться с ним больше никогда»³⁵. Вольтер, который так не любил мятежей и страшился народных восстаний, взбунтовался сам. Раньше это были слова, поэтические обороты, теоретические идеи, теперь же — личный пример. И пусть, уезжая из Потсдама, он волновался, взывая о помощи из Франкфурта-на-Майне, — все же акт был совершен, он уехал от короля. Для европейского общественного мнения — это был открытый разрыв, бунт, мятеж. Если до этого он был талантливым писателем и только, то после отъезда от Фридриха он стал примером, личностью в толпе безликих философов. Именно мятеж поднял его на небывалую для профессионального художника высоту. Этим вызовом Фридриху Прусскому он учит смелости и отваге. И это событие из жизни Вольтера — не только частный эпизод в его биографии. Этот случай говорит о сдвигах в общественной жизни. Ведь протестовал же он раньше, в 20-х годах против своего обидчика де Рогана, но это ни к чему не привело, его никто не услышал, так же как никто не услышал и не поддержал в России бедного Тредиаковского. В 50-х годах XVIII в. идеологический климат во Франции был иной. Это бурные годы, о которых маркиз д'Аржансон говорит как о предреволюционных³⁶. Поэтому и вызов, брошенный Вольтером, в конечном итоге понятен — он верил, что теперь его услышат, ему помогут, ибо «ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас»³⁷, — как говорил Ж.-Ж. Руссо. И Вольтер это знал. Во все концы летят его письма. Их так много, что в новом издании его корреспонденции они сос-

³³ Там же, т. 10, стр. 224.

³⁴ Там же, т. 2, стр. 78.

³⁵ Там же, т. 1, стр. 40.

³⁶ La France au milieu du XVIII siècle (1747—1757) d'après le Journal du Marquis d'Argenson. Paris, 1898, p. 133.

³⁷ Ж.-Ж. Руссо. Избр. соч., т. 3. М., 1961, стр. 191.

ставляют более половины тома, посвященного первой половине 1753 г.³⁸ Чувствуя за собой поддержку, Вольтер не сдаётся там, во Франкфурте-на-Майне, где с ним, по приказу его «Орфея», обращаются, как со сбежавшей служанкой-воровкой. В течение двух столетий придется потом наемной немецкой историографии отбеливать действия своего монарха, чернить дурной, взбалмошный характер Вольтера. В этом была острая необходимость, ибо Фридрих II, философ-эпикуреец, проявил себя разъяренным фельдфебелем. Разгневанный отъездом поэта, он немедленно послал за ним в догонку своих агентов, которые, как назло, настигли его не где-нибудь, а в «вольном городе» — Франкфурте-на-Майне, беспеременно на виду у местных «вольных властей» задержали, обыскали и держали под арестом, еще более строгим после попытки побега.

Европейское, точнее французское, общественное мнение с недоумением следило за «дуэлью», удивилось ее эпилогу и немедленно взяло Вольтера под свою защиту. С этого дня заключен обоюдный союз. Обвинения в финансовых операциях, гневно брошенные в лицо Вольтеру из Пруссии, не имели предполагаемого успеха. Сам Вольтер не считал себя виновным — ему понадобились деньги для независимости. Он хотел быть философом — практиком — дельцом, который умел добывать себе средства к существованию, а не ожидает смиренно пенсий и подачек. Со своей стороны представители тогдашнего третьего сословия только усмехнулись подобным обвинениям. Самая разнообразная финансовая деятельность была тогда в духе эпохи, и многие будущие государственные деятели именно так умножали свои капиталы. Джордж Вашингтон, ставший вскоре главнокомандующим повстанческими силами в Америке, Бенжамен Франклин, друг Вольтера, оба жившие на другом материке, проявляли ту же чисто буржуазную активность в приобретении и умножении своих состояний. Пять лет спустя, купив Ферне, Вольтер будет старательно показывать, во что он вложил деньги, и во всем блеске продемонстрирует свои таланты предпринимателя, нового помещика буржуазного типа. «Пожив у королей, я сделался королем у себя»³⁹, — напишет Вольтер. Ф. Меринг вслед за Т. Карлейлем скажет, что можно спорить о добродетельности его финансовой деятельности, но вне сомнения она была только одним из средств стать могущественным и влиять на ход событий, и можно только сожалеть, продолжит Меринг, что в то печальное время нужно было такими сомнительными средствами добиваться осуществления великих целей⁴⁰. Сам Вольтер писал:

³⁸ См. *Voltaire's Correspondence*, vol. XXII.

³⁹ *Voltaire. Oeuvres complètes*, vol. 1, p. 45.

⁴⁰ Ф. Меринг. Литературно-критические статьи, т. 1. М., 1934, стр. 744.

«Мало кто из писателей пользуется такой свободой, как я. В большинстве случаев они бедны; бедность истощает мужество»⁴¹. Он заблуждался в этом. Ведь мог же противостоять, пусть ценой собственного здоровья, сильным мира сего Жан-Жак Руссо, современник Вольтера. В вольтеровском мнении и действиях — противоречия и самого Вольтера и эпохи, но это не дает права забывать всю смелость брошенного им вызова, все его историческое значение.

В Ферне он, некоронованный король Европы, будет дружить, с кем захочет. Его дом станут осаждать толпы именитых гостей. Но, несмотря на славу, Вольтер с нежностью и радостью будет встречать своих братьев по профессии — актеров, писателей, художников. Он дружески примет в Ферне графиню Дашкову — подругу его «Северной Семирамиды», но с большей теплотой — актера Лекэпа или художника Юбера. Постоянно сводя в своем доме людей разного общественного положения, он хотел на практике доказать равенство сословий, а также превосходство таланта и интеллекта над знатностью и богатством.

Вольтер не откажется от дружбы с принцами и королями, хотя эта дружба и вызовет активные протесты его друзей (Даламбера, Дидро)⁴². Он очень неустойчив перед знаками внимания своих коронованных друзей и с удовольствием будет принимать собольи шубы и усыпанные бриллиантами табакерки. Но дружбу с ними будет стараться строить на равных началах. Он не откажется, даже несмотря на свой неудачный эксперимент с Фридрихом, давать советы монархам. Только в эти годы симпатии его переместятся еще севернее — в Россию. К Екатерине II полетят один за другим его проекты, планы, советы.

Переписка с Фридрихом продолжится. Хотя стилистическая мишура будет украшать письма, тон их изменится. Он заявит ему прямо: «Мне стыдно, что я счастливей вас: мое общество состоит из философов, а Ваше — из парядных головорезов»⁴³. Он спокойно скажет, что «ремесло героя и сан государя не делают сердце чувствительнейшим»⁴⁴. Вызывая раздражение Фридриха, он сравнит его с дьяволом, который носится по Европе⁴⁵. Он будет повторять, что его героиней является императрица Российская. Не приходится сомневаться, как было неприятно слушать Фридриху после Се-

⁴¹ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 1, p. 39.

⁴² Кстати, Дидро также попытается лично повлиять на Екатерину II и в какой-то степени повторит «пруссский» опыт Вольтера, и в конечном итоге почти с теми же результатами.

⁴³ Voltaire's Correspondence, vol. XXXVI, N 9617, p. 135 (5.VI 1759).

⁴⁴ Там же, т. XXXVI, № 7586, стр. 97 (19.V 1759).

⁴⁵ Там же, т. LXXXVI, № 17577, стр. 146 (8.XII 1773).

милетней войны любые похвалы России, хотя бы в самой деликатной форме⁴⁶. При всех этих колебаниях Вольтер стремился служить не королям, а обществу, точнее третьему сословию, защищая его не только теоретически, но и практически.

Он призвет собратьев по перу к действию: «Смело и прямо говорите о том, что у Вас на сердце»⁴⁷,— скажет он Даламберу. Но Вольтер знает, что объявленная борьба — опасная борьба. Силы неравны, и он тут же даст практический совет: «Бейте, но прячьте вашу руку»⁴⁸. Для Вольтера и его друзей угроза костра — совершенно реальная угроза. 16 апреля 1752 г. выпла королевская декларация, в которой говорилось, что «виновные в подготовке и напечатании сочинений, направленных к нападкам, к возмущению умов и к покушению на королевскую власть» подлежат смертной казни. Судьбы Джордано Бруно, Мигеля Серветта и других бесстрашных ученых не забыты ни на минуту. А процессы Каласа, Ла Барра, палачи, сжигающие книги то там, то здесь, меньше всего помогали исчезнуть этим мыслям. Достаточно вспомнить, как не в шутку испугался Вольтер, как заматался он между Женевой и Лозанной в поисках безопасного пристанища, когда в вещах де Ла Барра нашли томик его произведений. Не спроста у Вольтера было около 150 псевдонимов, не спроста очень долго не могли достичь единого мнения в расшифровке термина «*ecrasez l'infâme*» («раздавите гадину!»)⁴⁹. Цензура (ей подвергались даже школьные учебники геометрии) прочесывала не только произведения, но даже письма, шедшие в Ферне и уходившие оттуда. Все философы вынуждены подписываться условными именами. Совсем состарившийся Вольтер путает почерки и просит друзей ставить хотя бы первые буквы своих имен, а письма присылать по возможности okazjiей. Страшно было жить в стране сияющего и бездумного Версаля, где все еще колесовали жертвы, применяли пытки, истязали в застенках. Ученый — гордость XVIII в. — в преклонном возрасте

⁴⁶ «Я не буду читать историю этих варваров: я хотел бы даже не знать, что они обитают на нашем полушарии»,— с ужасом и ненавистью пишет Вольтеру Фридрих II 31 октября 1760 г., буквально через 20 дней после того, как русские войска побывали в Берлине, а сам он находился на грани самоубийства. Он никогда не сможет простить русским их победы над ним, а Вольтеру его работы над книгой «История Российской Империи в царствование Петра Великого» и нежелания восхвалять своим пером Пруссию и самого Фридриха (см.: *Voltaire's Correspondence*, vol. XLIV, N 8606, p. 108).

⁴⁷ *Voltaire's Correspondence*, vol. XLVI, N 8928, p. 17 (7—8.V 1761).

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ См.: R. Pomeau. *La religion de Voltaire*. Paris, 1956, p. 310. «*L'infâme — c'est le christianisme*».

должен пользоваться Эзоповым языком и, чтобы обезопасить себя от цензуры, посвящает произведения сильным мира — королям, герцогам, а «Магомета» — даже папе римскому. Полное юридическое и практическое бесправие интеллекта при абсолютизме заставляло прибегать к этим уловкам. Тех же, кто пренебрегал и шел на поединок, подняв забрало, ждала участь Новиковых и Радищевых. И все же, несмотря на постоянную опасность, Вольтер гневно требует пересмотра дел Каласа, Ла Барра, Монбальи и др. Он бросает этим открытый вызов абсолютной власти, а не ограничивается униженным прошением о помиловании. По поводу дела Ла Барра он писал: «Мы организуем всю Европу против трех подлецов в Аббвилле. Это новый способ требовать «юридической справедливости»⁵⁰. И он — поэт — это беспрецедентно — побеждает. Конечно, это его личная победа, но в то же время и огромная победа прогрессивных сил над феодальной Францией. Благодаря Вольтеру, его смелости, имя писателя стало почетным. Правда, не исчезла клевета на писателей, но никто уже не смел бить их палками. Это значило, что буржуазная идеология прочно проникла в сознание общества. Новый класс нуждался не только в таких деятелях науки, которые придумывают машины и ставят опыты с молнией; он чтит и своих идеологов, тех, которые начали, пусть постепенно, готовить новую конституцию, а значит — готовить ему политическую власть. Новый класс ценит и писателей, которые воспевают его жизнь, проповедают его мораль, служат ему.

Лагерь просветителей, объединивший всю оппозиционную мысль и стоявший во главе всей новой идеологии, без жалости яростно боролся за упразднение феодализма, а тем самым — вольно или невольно готовил Францию к штурму Бастилии. И в этом просветители выступают единым фронтом. Для них было ясно, что без сплочения всех сил победа невозможна. Просветители стремились к этому единству, часто шли на компромиссы друг с другом и искали тот или иной центр, который оформил бы существование такого фронта. У истоков «Энциклопедии», несомненно, лежит не бессознательное, а сознательное стремление к выработке объединяющей платформы.

Но тенденция к сплочению была лишь одной из двух тенденций, характеризующих просветительскую мысль. Вторая тенденция была прямо противоположна — это неуклонное и все более нараставшее на протяжении XVIII в. стремление к размежеванию идейных направлений, которые мы лишь условно можем охватить общим понятием Просвещение. Более умеренные элементы реши-

⁵⁰ Voltaire's Correspondence, vol. XC, N 18276, p. 132 (28.III 1775).

тельно отталкивали от себя различные радикально-демократические течения. Так, неприязнь и даже ненависть Вольтера к Руссо — это не столкновение двух индивидуальностей (как зачастую толкуют руссоисты и вольтеристы), но выражение, проявление глубоко противоположных идейных сил. Размежевание сил внутри просветительского лагеря касалось почти всех сторон мировоззрения. Трудно указать такой вопрос, по которому мир просветителей не был бы расколот на полярно противоположные позиции. И все-таки в то же время он весь в целом был полярно противоположным миру официальной феодально-абсолютистской и клерикальной идеологии. Это строение лагеря Просвещения соответствует и строению третьего сословия. Оно не только не представляло единого класса, но состояло из классов со взаимно противоположными интересами. Но оно было едино в той мере, в какой оно противостояло господствующим сословиям — дворянству и духовенству.

И идеологом третьего сословия, вождем Просвещения стал Вольтер. Заслуженно или незаслуженно он оказался в самом центре пересечения многих линий оппозиционной общественной мысли. К нему тяготели не только единомышленники, но и все те, кто искал вождя и для кого нередко имя Вольтера, его слава были важнее его личных мыслей. Такое исключительное положение Вольтера в мире просветителей во многом определялось и его репутацией за рубежом. Именно эта репутация в значительной мере способствовала тяготению к Вольтеру различных группировок просветителей в самой Франции. Иногда даже — не приходится это скрывать — и умеренность его политических и философских позиций сознательно и бессознательно приводила к оценке его как главы Просвещения.

Вольтер, со своей стороны, искал боевого содружества. Фернейский патриарх, бывший учитель энциклопедистов смиренно склоняется перед «братством» философов. Он был готов принять посильное участие в битве, все равно в каком чине. «Я повиновался как только мог вашим приказам, — пишет он Даламберу. — У меня нет ни времени, ни знаний, ни здоровья, чтобы работать, как я хотел бы. Я посылаю вам свои опыты только как материалы, которые вы используете по своему усмотрению для бессмертного сооружения, воздвигаемого вами. Прибавляйте, урезывайте; я вам даю свои неотесанные камни в надежде, что они пригодятся в каком-нибудь углу вашего здания»⁵¹. В «Энциклопедии» соблюдалось равенство — нет мэтров, нет подмастерьев, все откровенно высказывают свое мнение об идеях и сочинениях друг друга. Но и в то же

⁵¹ Voltaire's Correspondence, vol. XXIV, N 5173 (20.V 1754).

время все держатся друг за друга (Даламбер, противник Вольтера из-за его контактов с королями, готов с ним поссориться, но во имя общей борьбы не идет на разрыв). Это идея личного самоотречения (но не идейного!) во имя общего дела. Созвездие «Энциклопедии», звезды первой величины — Дидро, Гельвеций, Гольбах, Даламбер, Руссо — зачастую не разделявшие политических концепций Вольтера, с глубоким уважением относились к нему.

Все великие достижения блистательной мысли XVIII столетия перерабатывались, осмысливались, синтезировались Вольтером, и он, одушевив их своим пламенным талантом, отдавал людям. Величие писателя подчас заключается не только в том, что он говорит, но и как он говорит. А в устах Вольтера даже самые простые и известные мысли звучали особенно. Сам Вольтер говорил, что писать нужно о предметах, доступных и понятных самым простым умам. Писателя должна одушевлять только истина, а не жажда блеска. Его задача — уничтожить ложь и суеверие и учить людей быть справедливыми и терпимыми. И в то же время, используя свое дарование, писатель должен выставлять жестокость и несправедливость и в ужасном и в смешном свете. Людям необходимо почувствовать всю прелесть идей правдивости. По убеждению Вольтера, нужно уметь писать для всех общественных слоев — от канцлера до сапожника⁵². Конечно, не стоит зашуметь агнографическими преувеличениями. О «сапожнике» он писал pour la bourse et la bouche. Хорошо известно, как он боялся широких народных масс (populace) и в своей программе народного просвещения не собирался поднимать «сапожников и служанок» до уровня канцлера.

Но удивительное мастерство Вольтера приводило к тому, что любое его стихотворение, повесть, пьеса, интимное письмо получали резонанс немедленно и с большим успехом, чем многие оригинальные, глубокие, но трудно читаемые трактаты. Не было в те годы мастера слова, любой литературной формы, который бы лучше Вольтера пропагандировал идеи вольнолюбия и использовал бы для этого все оттенки и нюансы виртуозной техники письма. Как грозно и полнокровно звучит его голос в прощении от имени крестьян Юры или в защиту Каласа! Будто это говорит не сухонький, одряхлевший, маленький старичок, а юноша, полный сил и отваги. А замечательные лукавые страницы философских повестей, напол-

⁵² Voltaire. Oeuvres complètes. vol. 23, p. 1—4. Этой проблеме посвящены многие страницы произведений Вольтера, в частности «Épître aux fidèles par le grand apôtre des Délices» и др. Исследование всех оттенков мысли писателя о просвещении народа не входит в задачу данной статьи.

ненные насмешкой — острой, едкой, злой и гуманной! В XVIII в. один он с таким успехом использовал старую народную традицию Средневековья и Возрождения — побежденное смехом страшилище. Ведь издавна ни один карнавал, ни одно народное гулянье на городской или деревенской площади не обходились без ритуала осмеянного и этим уничтоженного чудовища. Но к XVIII в. эта традиция изгоняется из повседневной жизни, ее засушивают и в книгах. Пожалуй, только лионский гиньоль да празднества на юге страны сохранили отзвуки этого ритуала. Вольтер если не возродил, то продолжил смех Рабле. Но у него это — не звонкий раблезианский хохот, а улыбка, усмешка, насмешка, подчиненные дисциплине классицизма. И как она разнообразна, эта вольтеровская улыбка! От злобной и саркастической, через веселую галльскую до доброй и мудрой улыбки философа, прожившего жизнь. Она не только обязательный атрибут его портрета — у Ларжильера, у Гудона, у Шигаля, — она в каждом его произведении (а может быть, потому-то она и в портретах!). Трудно читать его письма к Фридриху II или Екатерине Великой и не заметить за пустыми словами лести эту самую усмешку — с хитринкой, с издевкой, с неверием. От нее, от этой усмешки, родилось «вольтерьянство» — воплощение сомнения и неверия. Этим неверием, этим сомнением он заставлял людей внимательно вглядываться в то, что они видели много раз, и находить там злоупотребления, насилие, несправедливость. Предрассудки, все то, что предшествовало рассудку, он требовал подвергать анализу разума и отбрасывать, как пути старого. Никаких авторитетов: «Не будем доверять никому, кроме себя, будем на все смотреть своими глазами: они наши треножки, наши оракулы, наши боги»⁵³. В этом была разрушительная и в то же время созидательная сила вольтерьянства. «Смех Вольтера бил и жег, как молния»⁵⁴, — удивительно точно сказал А. И. Герцен.

Этот метод Вольтера-философа пришел к нему от Вольтера-естествоиспытателя, который утверждал: «Все предупреждает нас, что материя имеет больше свойств, которых мы не знаем. Мы находимся только на берегу огромного океана; сколько еще остается открыты!»⁵⁵ Этот оптимизм ученого звал бороться за все новые открытия, отвоевывать знания кусочек за кусочком, познавать природу, усовершенствовать ее и общество — и тем самым идти вперед.

⁵³ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 2, p. 80.

⁵⁴ А. И. Герцен. Собр. соч., 1915—1919, т. V, стр. 12.

⁵⁵ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 22, p. 582.

Вольтер внушал людям, что только они могут создать сад. Знаменитая из-за множества толкований мысль из «Кандида» — «Надо возделывать наш сад»⁵⁶ — не призыв к тому, чтобы каждый занимался своим делом. Здесь, по нашему мнению, утверждается другая идея: попробуйте оставить сад без ежедневного труда, и он превратится в лес. Пустое резонерство ни к чему, панглосы — пустые теоретики — смешные фигуры в обществе. Практическое действие — вот истинное призвание философии. В этом, нам думается, финальный призыв «Кандида».

Насмешка (конечно, слишком жестокая) над отчаянием Руссо, отрицание его протеста против цивилизации и несогласие с призывом возвратиться к патриархальной жизни, — это все та же мысль: если оставить детей в лесу, они станут животными. Люди же должны идти только вперед, должны совершенствоваться, развивая свой разум, овладевать природой, техникой, становиться лучше. И в этом процессе большую роль призван играть писатель. Проповедовать принципы — верность, честность, мужество, человеческое достоинство, относиться ко всему без тени равнодушия — в этом, по Вольтеру, первый долг писателя. Заставляя писать и для канцлера и для сапожника, Вольтер требовал полного напряжения творческих и личных сил, предельного профессионального мастерства от каждого ученого. Часто Вольтера упрекают в том, что он слишком прислушивался к «капризному суду» толпы и во имя славы переделывал по многу раз свои пьесы в угоду зрителям. Думается, что этим Вольтер мог гордиться, ибо тем самым он воспитывал своих товарищей по перу в духе уважения к публике. От зрителей и читателей во многом зависит, насколько серьезно будут относиться к своему творчеству деятели кисти, резца и пера. Он требовал от интеллигенции не замыкаться в узкоцеховом высокомерии гениев, а выслушивать суд народа (nation), ибо все творческие силы должны быть отданы ему.

За глубокую связь его творчества с интересами страны, за активность в жизни общество ответило Вольтеру безграничным доверием, приписывая ему много такого, чего он и не делал и не говорил. Очень далек истинный Вольтер от того Вольтера, который остался в народной памяти. Много еще придется написать историкам работ, где они будут пытаться воссоздать облик истинного Вольтера. И много поколений не захотят увидеть его истинного, а будут сохранять в памяти только облик справедливого и мужественного защитника обиженных, отважного ученого, не пожелавшего в угоду Фридриху стать «кожурой от выжатого апельсина». В памяти

⁵⁶ Там же, т. 21, стр. 218.

потомков он останется воплощением лучших качеств ученого — разума, живой мысли, отважного сердца и искристой галльской веселости. Третье сословие станет почитать в нем мыслителя, сказавшего, что «человек рожден для действия так же, как огонь стремится вверх, а камень вниз. Не быть занятым и не существовать для человека — это одно и то же»⁵⁷. Не кабинетного мудреца будут помнить, а воина и трибуна, защитника семьи Каласа, «вольного старца из Ферне», который со всеми своими ошибками и исцаниями, надеждами и разочарованиями, поражениями и обидами был живым человеком, сотканным из плоти и крови, и тем остался близок каждому французу и каждому из нас.

Современники прощали ему многое — и непонимание парламентской борьбы («реформа Мопу»), и грубый, подчас циничный антидемократизм, и боязнь революционной бури, и бесчисленность ликов и обличий. Когда в 1778 г. больной и немощный, на пороге смерти, Вольтер приехал в Париж, он пережил замечательные минуты триумфа, какие в истории достались лишь немногим полководцам. Против высочайшей воли короля не принятого при дворе Вольтера приветствовала французская нация. На представлении «Ирены» ему рукоплескали, ему поклонялись почти как божеству. Пройдет немногим более десяти лет и здесь же в театре на представлении «Брута» встанет один из зрителей и скажет о гражданских заслугах Вольтера-писателя: «Господа! Я требую во имя отечества, чтобы гроб Вольтера был перенесен в Париж. Это перенесение будет последним ударом фанатизму. Великий человек, создавший характер Брута, в настоящее время был бы первым защитником народа!»⁵⁸ И, любя всем сердцем Жан-Жака Руссо, французская нация окажет высшие гражданские почести Вольтеру. Так сохранился авторитет Вольтера, писателя и гражданина, и после смерти. Он продолжает существовать и действовать как могучая сила. И если проблема всемирного авторитета Вольтера вызывала и продолжает вызывать и теперь очень острые споры, то не по вопросу о том, существует ли такой авторитет, а по вопросу о его истоках и основах и о том, каково его значение в нашем современном мире.

Все новые и новые поколения писателей — Пушкин, Герцен, Виктор Гюго, Ромэн Роллан, А. Барбюс, Франц Меринг, чувствуя с ним кровное родство, приветствовали Вольтера. Отвага Вольтера, его страстность в защите высокого звания писателя и в то же вре-

⁵⁷ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 22, p. 41.

⁵⁸ Desnoiresterres. Voltaire et la société au XVIII siècle, vol. VIII. Paris, s. d., Deuxième édition, p. 479.

мя требовательность к общественному долгу были близки им, видевшим всю сложную натуру Вольтера — художника и человека.

Через сто лет после смерти Вольтера горячие слова о нем скажет Виктор Гюго: убеленный сединами, всеми признанный мэтр французской литературы вступится за его светлую память⁵⁹. Он не станет углубляться с профессиональной тщательностью в анализ его творчества. Он скажет о смелости и мужестве писателя, который объявил один на один бой союзу всех социальных несправедливостей, имея в руках только перо. Примечательно, что говорил о Вольтере именно Гюго, своей жизнью поддержавший принципы Вольтера. Слушая его, все понимали, что Гюго говорит и о себе, о своей судьбе, столь схожей даже внешне с вольтеровской: горячо любя Францию, оба жили в изгнании, ибо выше всего ценили гражданскую свободу, дорожили именем и честью писателя. В их жизни были и совпадения главных вех: 1753 год — бунт Вольтера против Фридриха и по сути бунт против своего французского короля — и 1852 год, когда в знак протеста против Луи-Наполеона покинул свою родину Гюго; 28 лет вольтеровской жизни вне Франции и 18 лет изгнания Гюго. А потом триумф — торжественные национальные похороны в Пантеоне. Из XVIII века Вольтер протягивал руку поддержки Виктору Гюго, и тот ответил горячим рукопожатием, полным взаимопонимания. Так боец XIX века чтит память бойца XVIII века — Вольтера, который доказал, что легкое гусиное перо может быть подчас страшнее пушек и целых армий. Своим примером он укреплял уверенность в великой силе писателя, ученого, в могуществе разума, в том, что слову дано многое.

Неспроста в трудные годы кануна первой мировой войны Генрих Манн написал замечательную статью «Вольтер и Гете», в которой не просто ради эффекта сравнил этих двух великанов. Именно тогда, когда особенно остро встал вопрос о том, с кем пойдет интеллигенция — станет ли она подражать смелости Вольтера или замкнется в гетевской кабинетной учености, — Генрих Манн писал: «Вольтер борется во прахе и крови за человечество... Он вопищает бунт человека против... несправедливости и черствости... Он атакует своей язвительной насмешкой, этим самым человеческим оружием. Он ненавидит все традиционное, все закосневшее, все, что стремится уйти из-под контроля мысли, критики... Он *сам* (подчеркнуто мной. — *И. С.*) предъявляет требования... исходя из справедливости и правды. Его голос срывается от гнева и ненависти, его лицо искажено гримасой»⁶⁰. И прав Манн, что имя Вольт-

⁵⁹ В. Гюго. Собр. соч., т. 15. М., 1956, стр. 655.

⁶⁰ Г. Манн. Соч., т. 8. М., 1953, стр. 35.

тера «гремело везде, где правда восставала против выгоды, разум — против власти». И «если бы подняли крышку гроба Воля, который ради защиты несправедливо преследуемого поставил под угрозу военную мощь своей родины, если бы подняли крышку гроба Воля, когда его несли к Пантеону, то увидели бы светлое лицо Вольтера». Это светлое лицо можно увидеть и в художнике Гюставе Курбе, и в кристально чистом физике Поле Ланжевене, и во многих других знаменитых и безвестных представителях французской интеллигенции — артистах, школьных учителях и журналистах, в тех, кто дарил нации свой ум, талант и сердце и которым люди, народ, человечество ответили любовью и бессмертием, потому что в каждом великом французе, в каждом великом писателе живет Вольтер, «возрожденный Вольтер»⁶¹. И не только французы помнили Вольтера. Россия, 1896 год... Писатель В. Г. Короленко упорно борется за спасение семи крестьян-вотяков села Старый Мултан, ложно обвиненных в человеческом жертвоприношении языческим богам. В этой борьбе соратником, опорой Короленко был Вольтер. И Короленко, опираясь на его опыт, помня о его победах, спасает мултановских крестьян от каторги. Известный судебный деятель А. Ф. Кони писал Короленко: «Вам пришлось пойти дальше Вольтера и ратовать против возможной судебной ошибки не только в печати, но и на судебной арене...» Сам Короленко необыкновенно точно дал оценку — суровую оценку Вольтеру как человеку и точную как писателю-борцу. Нам об этих словах рассказывает А. М. Горький в одном из своих рассказов: «...Вольтер, несмотря на свою гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, — это великий подвиг. Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима справедливость! Когда она, накапливаясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот так я думаю»⁶². В этом было его счастье и его величие.

Большой срок отделяет нас от Вольтера. Литература пошла по пути общественной борьбы. Она стала летописью нелегкого исторического пути народов. Писатели и мыслители встали в ряд бой-

⁶¹ Г. Манн. Соч., т. 8, стр. 35.

⁶² А. М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 9. М.—Л., 1947, стр. 709–710.

дов, и положил этому пачало Вольтер. Мы видели, что он шел иногда на компромиссы. Но в целом в своей писательской гражданственности он действовал честно, смело, был верен высокому идеалу человечности. После смерти Вольтера его произведения, его поступки стали жить самостоятельной жизнью, воспитывая и облагораживая ум, чувства многих поколений.

О Гюго и Вольтере, о том, как их «познают», открывают для себя все новые поколения, о том, как «обрел» их для себя самого Ромэн Роллан рассказывают эти строки: «Прошли многие годы. Появилось стремление к другим горизонтам. Стало казаться, что прошлое и старые чародеи от нас очень далеки. Как вдруг на одном из поворотов «поднимающейся зигзагами» дороги мы во время войны, в целях ее обличения, вновь обрели Виктора Гюго и Вольтера. Кто ожидал встретить их в объятиях друг друга? Мы были несправедливы по отношению к ним обоим. Теперь они мстили за себя, приходя к нам на помощь в битве. У меня было время проверить мои суждения, когда я жил изгнанником в Швейцарии. Я перечел вновь все, мною прочитанное. И через голову человека в возрасте от двадцати до сорока лет пятидесятилетний человек протянул руку юноше. Они объединились в общем для них обоих чувстве восхищения. Но это восхищение было вызвано далеко не одинаковыми причинами. Дорога была нам не только ирония Вольтера, нам были дороги человечность и неукротимая сила свободного ума, присущая тому, кто сказал: «Нам приходится жить всего лишь каких-нибудь несколько дней. Нетрудно провести их, пресмыкаясь среди презренных негодяев. Все великое создается лишь умом и твердостью человека, который борется с предрассудками большинства»⁶³.

Субъективно бесконечно далекий от решимости предложить своим соотечественникам путь революции, «бурикуа, который одинаково ненавидит аристокрацию и народ и одинаково их боится»⁶⁴, Вольтер объективно своим творчеством и целым рядом поступков собственной жизни внушал человеку надежду и веру в свои силы и звал этим к действию. По Вольтеру хотеть — значит мочь: «человек свободен тогда, повторяю еще раз, — пишет он, — когда он может то, что хочет»⁶⁵. Это значит, что человек способен поверить в свое могущество так, как Вольтер поверил в него в Потсдаме, как поверил в деле Каласа. Разбуженное чувство человеческого достоинства превращает человека в сильную духом личность, способную

⁶³ Ромэн Роллан. Собр. соч., т. 14. М., 1958, стр. 594—595.

⁶⁴ Г. Манн. Соч., т. 8, стр. 37.

⁶⁵ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 28, p. 532.

творить чудеса. Пусть в глубине души Вольтер был готов к компромиссу, но для французского народа и для всей Европы он выглядел бунтарем, истинным вольтерьянцем.

И совершенно прав Генрих Мани, который утверждал, что «Вольтер, воплощающий веру людей в торжество человечности, близок широким слоям своего народа, который ничего не знает ни о его культуре, ни о его недостатках, ни о его ограниченности, но для которого имя Вольтера навсегда стало символом самой свободы»⁶⁶. И понимая сейчас природу его ошибок и заблуждений, как сгусток противоречий, присущих не только ему лично, но и всей блестящей, но противоречивой мысли третьего сословия, можно согласиться с тем, что воистину, «страстность разума спасла Вольтера»⁶⁷.

⁶⁶ Г. Мани, Соч., т. 8, стр. 40.

⁶⁷ Там же, стр. 37.

МИР ЦИВИЛИЗАЦИИ И МИР ДИКАРЕЙ В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ОСНОВЫ АНТРОПОЛОГИИ У ФИЛОСОФОВ¹



М. Дюше

1. У ИСТОКОВ ЭТНОЛОГИИ

Разговор о «предэтнологии» в связи с описаниями путешествий древними историками — Геродотом или Павзанием, арабскими, китайскими авторами или первыми наблюдателями мира американских и африканских дикарей — не является новостью. Действительно, им мы обязаны первыми «исследованиями на месте», без которых нет науки этнологии. Благодаря им мы можем восстановить древнее состояние человеческих обществ, вырванных с появлением европейцев из их собственного развития, которое так или иначе ускорялось и ввергалось в историю, им уже не принадлежащую. Так, Альфред Метро² считал наблюдения космографа Андре Тевета над племенем тупинамба источником информации неисчислимой ценности; Клод Леви-Стросс часто искал в каком-нибудь древнем описании — например, Лаборда о караибх — следы обычаев, исчезнувших задолго до прибытия на место, в начале XIX в., первых этнологов. Этноистория или наука о мифах вновь возвратила к жизни эту первую этнографическую литературу, которая

¹ Данная статья представляет собой краткое резюме докторской диссертации автора этих строк, озаглавленной: «Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения; антропология и история от Бюффона до Рейналя». Все те большие и сложные проблемы, которые по необходимости лишь очень сжато изложены в этой статье или даже вовсе не затронуты, подробно рассмотрены в диссертации. Она будет опубликована в 1971 г.

² A. Métraux. Les précurseurs de l'ethnologie en France du XVI-e au XVIII-e.— «Cahiers d'histoire mondiale», vol. 7 (1962—1963), p. 721—738.

до сих пор еще не изучена нами полностью. С этой точки зрения «Поучительные и занимательные письма», с которыми миссионеры обращались к своим начальникам, представляют особый интерес: в отличие от большинства «путешественников» миссионеры долгие годы жили с племенами, которые они приходили обращать в христианство (отец Ломбард, один из «информаторов» Ла Кондамипа, прожил в Гвиане около 40 лет; отец Фалькнер, автор «Описания Патагонии», пробыл там почти такой же срок). Стремясь лучше исполнить свой долг, миссионеры изучали язык страны, старались определить, каким правилам этот язык подчиняется, и составляли учебные пособия: первые словари и грамматические учебники ирокезского языка или языка галиби являются плодом их труда.

Сегодня исследование на месте представляется неперенным условием любого этнологического исследования, но этого недостаточно для того, чтобы основывать на нем научную практику. Ни древние историки, ни первые поселенцы Америки и внутренних районов Африки не задавались целью наблюдать и описывать племена, с которыми они сталкивались, абстрагируясь от своей собственной цивилизации, от своих обычаев и предрассудков. Далекий от того, чтобы быть только предметом их изучения, мир дикарей для них существует лишь через некоторую социальную практику³, которая не позволяет им отказаться от своего положения цивилизованных людей и стать наблюдателями — участниками жизни дикарей, как это делают современные этнографы. Торговцы, моряки, солдаты или миссионеры вербуются для какой-нибудь экзотической авантюры, при этом с выгодой для себя, будь то материальная или моральная выгода: завоевывать империю, подготавливать или укреплять колонию, устанавливать пошлины, делать первые шаги к основанию постоянной торговли каучуком и слоновой костью, производить перепись враждебных или дружественных племен, обращать в христианство дикие суеверные народы, — все это множество насущных задач не располагало ни к наблюдению, ни к пониманию. Даже самые интересные описания грешат беспорядочностью, несвязностью, в них перемежаются рас-

³ «...между белым человеком, изолированным в природе, и добрым дикарем отношения носят социальный характер со своим литературным статусом и всеми своими этническими коэффициентами...», кроме того, европейцы никогда не меняли своего поведения цивилизованных людей в своих контактах с миром дикарей, они не придумали новых общественных отношений. Отношения развиваются в одном направлении. Только некоторые отдельные лица «дичают» (см.: M. Foucault. Histoire de la Folie à l'âge classique. Paris. 1964).

сказы о нравах и обычаях с рассказом о тысяче и одной перипетии самого путешествия. Монографии встречаются чрезвычайно редко, поэтому нужно просматривать длинный ряд книг в поисках наблюдений над готтентотами или патагонами. Как пишет Корнелиус Поу, автор «Исследования об американцах»: «Мы подобны ботанику, которому в поисках интересующего его растения часто приходится исходить леса, равнины, скалы, пропасти и, собирая свой гербарий, обыскать целую страну, прежде чем он будет удовлетворен»⁴.

Таким образом, ни по своему содержанию, ни по своей форме эта предэтнологическая литература отнюдь не способствует появлению новой науки. Еще впереди то время, когда возникнут первые большие коллекции (Де Бри в Германии, Релей в Англии, Тевено во Франции), когда появятся многочисленные сборники и переводы («Сборник путешествий голландцев»; «История открытий и завоеваний португальцев»; «Сборник путешествий на Север и путешествий в Южную Америку», — все это между 1700 и 1740 гг.), а с их появлением станут возможными первые попытки обобщений и развитие этнологической мысли. Отец Лафито в своем труде «О нравах американских дикарей сравнительно с нравами первобытных времен» (1724) использует и приводит в порядок массу достаточно значительной информации. Сопоставляя одно за другим верования и обычаи народов, отделенных друг от друга целыми веками во времени или непреодолимыми препятствиями в пространстве, он создает основы науки об универсальном человеке: исторической и географической перспективе он противопоставляет перспективу антропологическую. Конечно, он стремится показать, что никогда не было и не может быть народа-атеиста, что любое человеческое общество порождает богов и культы и свидетельствует тем самым о своей божественной сущности. Но сам тезис менее важен, чем дух синтеза, который, связывая между собой факты, замеченные на всем протяжении мира дикарей, предлагает новое видение этого мира и как бы новое его понимание.

2. МИР ДИКARЕЙ — НЕИЗВЕСТНЫЙ МИР

Знаменательно, что изучение этой экзотической части человечества, которым наука занята уже более двух веков, началось именно с сопоставления. Нравы мира дикарей и их верования теряют свое своеобразие лишь тогда, когда они сравниваются с нравами

⁴ C. de Pauw. Recherches philosophiques sur les Américains, vol. 1. Berlin, 1777, p. 237.

и верованиями «первобытных времен», о которых свидетельствовали тем или иным образом древние. Дикарь представляется теперь первобытным человеком, в котором европеец может узнать черты своей собственной истории. Так окончательно устанавливается пара: «дикарь — цивилизованный», которая посредством параллелей и антитез управляет всей этнологической мыслью до начала XIX столетия. В этом смысле названная книга Лафито и книга Буланже «Разоблаченный античный мир» (1766) имеют одну и ту же тенденцию: в них исследуется не столько мир дикарей, сколько история первобытного человечества. Дикарь человек смешивается с его двойниками — скифом или германцем, и в огромном мифе о сотворении мира он занимает место в их ряду.

Таким образом, недостаточность литературы о путешествиях или ее медленное распространение нельзя считать единственной причиной отставания этнологической мысли от конкретного этнографического исследования. Альфонс Дюпрон⁵ и Жорж Гюсдорф⁶ наглядно показали, что открытие экзотического человечества потрясло до самых оснований старую концепцию мира, в которой доминировала идея Откровения. «Опровержение традиционных доктрин обнаруживало познавательное ничто, которое невозможно было заполнить в то время. Для мудрецов того времени реч шла о первом соприкосновении со смертью Бога!»⁷

Будь то происхождение американцев или цвет кожи негров, церковь стремится примирить экзотическую действительность и проповедь Священного Писания. Сыновья Яфета, сыновья Хама или потомки Каина, американцы и негры перестают быть заблудшими овцами и приобщаются через крещение к великому христианскому миру. Более того, миссионеры выдумывают «добрых дикарей», расхваливая их добродетели и трогательную простоту, так отличавшуюся от безобразной развращенности европейцев. С ними вновь обретает жизнь дух первоначального христианства, идеальную обитель которого вскоре восстанавливают иезуиты в своих «редукциях» в Парагвае. И наоборот, гуманисты и свобододолюбцы видят в этих народах, живущих в неведении и счастье, без законов, без священников, без «твоего и моего», доказательство превосходства естественной морали, основанной на инстинктах и разуме. В борьбе этих противоположных мнений дикарей привлекают в свидетели. Но в основном волнует умы не их реальное существо-

⁵ A. Dupront. Espace et Humanisme.— «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», t. VIII. Paris, 1946.

⁶ G. Gusdorf. Ethnologie et Méthaphysique (dans «Ethnologie générale»).— «Encyclopédie de la Pléiade». Paris, 1968, p. 1772—1815.

⁷ Там же, стр. 1775.

вание, а их мифической, выдуманная жизнь, в которой мечтания о первобытном Эдеме и Золотом веке облекаются в плоть и кровь. Цивилизации, сомневающейся в своих ценностях и в своих возможностях, предоставляется случай подвергнуть самое себя обсуждению, пересмотреть свои источники, отказаться от своих истин. Из этого кризиса победоносно выйдет рационализм, выковав концепцию «человеческой природы», которая даст возможность одновременно мыслить о разнообразии обычаев и верований и их универсальности.

«Начиная с XVI века,— пишет Ж. Гюсдорф,— утверждается мысль о новом экуменизме, который, твердо встав на свои позиции, почувствует вскоре себя достаточно сильным, чтобы прийти на смену угасающим теологическим учениям»⁸.

Переживая эту революцию, европеец отворачивает свой взор от всего, что не есть он сам. От Монтеня до Вольтера дикарь появляется на сцене лишь как статист. Сюжет пьесы — положение цивилизованного человека, его «варварство» или его беды, трудность быть свободомыслящим или философом. Парадокс Монтеня о том, что каннибалы меньше варвары, чем так называемые приобщенные к цивилизации народы, жестокие со своими врагами, даже если они их единоплеменники, имеет исключительную ценность: из этого противопоставления вышльывают варварство и необузданность, таящиеся как угроза или как искушение в самом сердце цивилизованного мира. С XVI по XVIII век аполог в своих бесчисленных вариантах сохранит всю свою силу: Адарио барона Лаонтана, персы Монтескье, простодушный Гурон из вольтеровской сказки, даже мудрый Старик из «Приложения к путешествию Бугенвиля» обличают зло, от которого страдает цивилизованный человек и которое неизвестно дикарю. Критика нравов расширится и углубляется в критику общества и установленных религий, но форма речи почти не меняется.

Так затушевываются изначальные свойства экзотического человечества, от которого сохраняются лишь черты, способные дать модель или, наоборот, обнаружить иллюзорность такой модели. Реальная жизнь мира дикарей теряется в системах отрицаний, которые группируются таким образом, что могут служить для построения моделей, противоречащих друг другу: то презираются народы без истории, без письменности, без религии, без нравов, без культуры и появляется первый тип суждения, где отрицания так сочетаются с чертами, отмеченными как положительные, что создается представление о недостаточности, огромной пустоте дикарства, противопоставленного наполненному миру цивилизо-

⁸ G. G u s d o r f. Op. cit., p. 1780.

ванного человека; то им завидуют, ибо они живут без хозяев, без священников, без законов, без пороков, без «твоего и моего», и эти отрицания в соединении с чертами, отмеченными как негативные, говорят о разочаровании общественного человека и о бесконечном счастье человека естественного. Если в первом типе суждения параллель проводится в пользу цивилизованного человека, во втором — разность обращается полностью не в его пользу. Первый тип часто встречается у Вольтера, второй — у Руссо или Дидро.

Но случается и так, что эти два типа переплетаются: сторонникам «добраго дикаря» неизвестно, что дикий человек ведет тяжелую и опасную жизнь, что он может быть злым и жестоким, а умы, наиболее убежденные в добродетелях цивилизации, не могут отрицать, что цивилизованные люди бывают иногда «настоящими людоедами». От убожества человека-гражданина к варварству цивилизованных людей, от неуверенности жизни дикаря к счастью естественного человека, целая тематика «естественного состояния» свидетельствует о некотором двойственном понимании, в котором сходится к одному уровню восприятие противоречивой действительности: нельзя отделить хороших дикарей от плохих с такой же легкостью, как это делает Прево в «Кливленде», где жестокие ружейники выгодно подчеркивают мудрость абаки. Народы Канады добры и гостеприимны и в то же время страшны для своих врагов; мексиканцы и перуанцы создали высокую цивилизацию, но среди их обрядов были обряды с человеческими жертвоприношениями. Не напоминает ли эта двойственность мира, который называют диким, о природе человека, безусловно способной усовершенствоваться, но раздражаемой между добром и злом и способной на самые худшие падения? Если не достоверно, что человек общественный более счастлив, чем дикий человек, еще менее достоверно то, что он лучше. Спор бесконечен.

Но только ли эта риторика и ее образы должны привлекать наше внимание? Видеть лишь ее и следовать поворотам ее полемики — значило бы плохо разбираться в своеобразных особенностях мыслей философов. Напротив, целью данной работы является определение тех факторов, которые способствовали возникновению между 1750 и 1780 гг. новой науки о человеке, получившей впоследствии название антропологии. Эту задачу мы постараемся выполнить путем изучения синхронных систем: Бюффона, Руссо, Вольтера, Гельвеция и Дидро. Мы сознательно презрели диахронию. Между «Естественной историей» Бюффона, «Рассуждением о неравенстве» Руссо и основными произведениями философов, касающимися науки и человека, не было никакой эпистемологической революции, которая оправдывала бы применение диахрони-

ческого метода. Она происходит раньше, как справедливо отмечает Жорж Гюсдорф, относящий к Локку и сенсуалистам рождение «эмпирической мысли» «в разрыве с рационалистической онтологией Декарта, Спинозы или Мальбранша»⁹. Именно потому, что Бюффон, Руссо, Гельвеций или Дидро тоже являются сенсуалистами, они смогли постигнуть науку о человеке, основанную на перестройке генезиса человеческих идей и действий: теоретическую антропологию, основные принципы которой устанавливает «Естественная история» Бюффона. У Бюффона дикий человек — или его двойники — занимает место «мраморной статуи» Кондильяка. Таким образом, он впервые показывает нам историю развития человеческой личности, не выходя за рамки истории человечества и не прибегая к искусственным призмам. Однако речь идет не о новой философии, а лишь о преобразовании системы сенсуализма, но о коренном преобразовании, так как оно объединяло впервые в одном и том же рассуждении историю индивида и историю рода, историю человека и историю человеческих обществ. Наше исследование ограничивается результатами этого изменения внутри эпистемологического пространства, которое остается неизменным. Означает ли это, что мы должны рассматривать антропологию философов только как продукт этого «преобразования» и вернуться тем самым к диахронному анализу, который соединил бы между собой системы мыслей, как звенья одной и той же цепи? На данный вопрос следует ответить отрицательно, ибо каждое из этих звеньев представляется нам единым целым, неприводимым к сумме тождеств и различий, которые оно заключает в своей массе. У каждого из них своя собственная логика и своя собственная грамматика: они не происходят один от других, они конкурируют друг с другом. Располагая элементы одного и того же знания в ограниченном числе группировок и тасуя идеи, как карты, они находят все возможные комбинации. Антропологию у философов составляет не серия общих для них предположений, а совокупность этих группировок.

Таким образом, эти группировки объединяет и позволяет поставить рядом друг с другом не структурная однородность, а тот факт, что они вписываются в некую «конфигурацию познания» (да будет нам позволительно заимствовать и формулу и саму концепцию у Мишеля Фуко). Географические познания и исторический опыт, знание мира и исторической обстановки, исследования и контакты — таковы условия, в которых сложилось к 1750 г. новое представление о дикаре.

⁹ G. G u s d o r f. Op. cit., p. 1785.

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ГОРИЗОНТЫ И КОНТАКТЫ

Первая часть нашей работы заключается в том, чтобы определить то пространство, в котором вчерашние дикари, превращенные в рабов, грубо брошенные в горнило рас и цивилизаций, полностью изменились сами и изменили свой образ жизни, а «вновь открытые» народы, уже имевшие свою культуру, были подавлены и колонизованы. Так, гуараны, вынужденные выйти из состояния дикарей, чтобы стать «людьми» и «христианами», под руководством своих «наставников веры»¹⁰, перестали существовать как таковые и превратились лишь в символ успешно проведенной колонизации. «История путешествий», которая говорит о «древних мексиканцах» и «древних перуанцах», «Энциклопедия», описывающая мексиканскую империю как «провинцию Новой Испании», наглядно рассказывают о медленной смерти народов, памятники которых существуют лишь как «остатки былого величия». По тому, с какой легкостью испанцам удалось их покорить, некоторые даже начинают сомневаться в их прошлом могуществе. Для Бюффона «...все дикие американцы были и есть еще дикие или почти дикие; мексиканцы и перуанцы так недавно приобщены к цивилизации, что не должны составлять исключения»¹¹.

Возникает привычка называть все народы Нового Света одним родовым именем: американцы. По аналогичным причинам негры, «рассматриваемые как рабы» («Энциклопедия», «Негры»), вызывают больший интерес, чем жители Африки: африканцев оставляют при «их легкомысленности и вероломстве»¹²; положительные же и отрицательные качества различных негритянских рас, используемых для работы на плантациях Антильских островов, тщательно отмечаются¹³. Однако дикие народы, живущие по берегам Амазонки и Ориноко, описываемые Ла Кондаминином и иезуитом Гумиля, индейцы Гвианы, мадагаскарцы, дикое население Северной Европы и Азии, позже таитяне и папуасы оживляют образ нетронутого мира дикарей, где еще уцелело первобытное человечество.

¹⁰ Raynal. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les Deux Indes, vol. IV. Neuchâtel — Genève, 1780, p. 139.

¹¹ Buffon. Variétés dans l'espèce humaine. «Histoire naturelle», t. IX. Paris, éd. Pourrat, 1833—1834, p. 263. В дальнейшем сноска на «Естественную историю» Бюффона дается по этому изданию Пурра.

¹² Raynal. Histoire des... deux Indes, vol. V, p. 159.

¹³ Labat. Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, t. IV. chap. 7.

Таким образом, история прочертила линию раздела внутри пространства, до того времени однородного, как бы обрисовывая древний мир внутри нового. Если канадцы (которых, по данным «Энциклопедии» и «Истории обеих Индий» Рейналя, в 1776 г. насчитывается 28 «наций») или готтентоты и кафры («История путешествий» перечисляет 17 племен) развиваются в свойственной для них обстановке, то карта мира дикарей обогащается крайне медленно. В то время как некоторые дикие народы принадлежат уже прошлому — таковы почти полностью уничтоженные племена карайбов, другие согнаны со своих территорий и превращены в рабов; наконец, есть еще и племена, совершенно утратившие те черты, которыми они обладали к моменту их открытия, — так изменились их нравы и облик. Со временем эти изменения стали настолько значительными, что слово «дикарь» становится близким к бессмыслице: «Что вы подразумеваете под «дикарем»?» — спрашивает Вольтер у Руссо. Для Вольтера коренные жители Канады, «которые обладают искусством сами делать все, в чем они нуждаются», и которые умеют заключать договоры, вовсе не являются дикарями. Но для Руссо первобытным состоянием является то, в котором находились народы Нового Света к моменту открытия Америки, а не современное их состояние. Нужно без конца переопределять состояние дикарства, беря за основу наполовину стершиеся образы, или вновь открывать его на других континентах.

«Я уверен, что мы знаем только европейцев, — отмечает Руссо. — ...Вся Африка и многочисленные ее жители, такие же удивительные по характеру, как и по цвету кожи, требуют еще изучения; вся земля покрыта народами, о которых мы знаем лишь их названия, а беремся судить о человеческом роде»¹⁴.

В гораздо большей степени, чем цивилизованные страны, нужно наблюдать и описывать «дикие края: это самое значительное путешествие из всех, и совершать его нужно самым обстоятельным образом»¹⁵. В век, когда едва вспоминается первобытное состояние Нового Света, дикарь существует лишь в рассказах путешественников. Быть может, он исчезает с поверхности земного шара. «...Образ первобытной и дикой природы уже искажен. Нужно торопиться собрать хотя бы его наполовину стершиеся черты...» — восклицает Дидро¹⁶. «Если подумать о ненависти, которую питают дикари к другому племени, об их трудной и голодной жизни, о постоянных войнах, об их немногочисленном населении, о ловушках,

¹⁴ J. J. Rousseau. Oeuvres. Ed. Pléiade, t. III, p. 212, 213.

¹⁵ Там же, стр. 214.

¹⁶ D. Diderot. Oeuvres complètes. Ed. J. Assezat et M. Tourneaux, t. IV. Paris, 1875, p. 45; Raynal. Histoire des... deux Indes, vol. III, p. 139.

которые мы непрерывно им устраиваем, нельзя не предвидеть, что не пройдет и трех столетий, как они исчезнут с лица земли. Тогда что будут думать наши потомки об этом виде людей, которые останутся лишь в рассказах путешественников? Не будут ли времена диких людей для нашего потомства тем же, чем для нас самих являются легендарные времена античности? Не будут ли наши потомки говорить о них, как мы говорим о кентаврах и о лапитах?¹⁷ Сколько же найдется противоречий в их нравах, их обычаях? Не будут ли рассматриваться те из наших писаний, которые удастся избежать забвения, как романы, подобные сочинению Платона о древней Атлантиде?»¹⁸

Пересмотреть и упорядочить литературу о путешествиях будет значить для всякого философски мыслящего человека спасти архивы рода человеческого.

4. ФИЛОСОФЫ И ЛИТЕРАТУРА О ПУТЕШЕСТВИЯХ

В «Истории путешествий» Прево и «Энциклопедии», вышедших с интервалом в один год — 1745 и 1746 гг., Жан Стар справедливо отмечает «родство вдохновения»: «Оба произведения в некоторой мере дополняют друг друга»¹⁹. Произведение Прево можно назвать толковым словарем, который дает общую картину мира цивилизации и мира дикарей. Затем появляется «Энциклопедический словарь», и он позволяет любопытному читателю получить справку о китайцах или персах, о реке Нигер и о различных торговых пунктах в Африке, о племенах готтентотов, о языке жителей Мадагаскара или о смешении рас в Перу. Метод «редукций», заимствованный Прево у англичан²⁰, отделяет картину нравов, обычаев и верований от самого рассказа; он позволяет пропустить через призму «здравой философии» противоречивые сведения. Обличаются вызывающие подозрения рассказы, предпочтение получают авторы, «достоинные доверия», и путешественники-философы (Фрезе, Ла Кондамин, Уллоа). Во Франции Прево является основоположником критики описаний путешествий в вольтерьянском духе, он предоставляет редакторам «Энциклопедии» и философам уже готовый материал.

¹⁷ Мифический народ, согласно легенде обитавший некогда в Фессалии (прим. перев.).

¹⁸ Raynal. Op. cit., vol. VII, p. 161—162.

¹⁹ См.: «Studies on Voltaire and the eighteenth century». Genève, 1963, p. XXIV—XXVII; см. также: M. Duchet, L'Histoire des Voyages, originalité et influence.— «Actes du Colloque Prévost». Aix, 1965.

²⁰ Речь идет, в частности, о сборнике Астли.

Древние описания становятся предметом методической проверки. Письма иезуитов, которые, по убеждению Локка, хотя и «кажутся читателю жалкими, тем не менее удовлетворяют его любопытство», вызывают теперь недоверие и насмешки философов: Вольтер упрекает Монтескье в том, что он слишком часто черпает свои сведения из этого сборника²¹ и обвиняет иезуитов в грубых ошибках «по поводу обычаев индусов, их науки, их мнений, их нравов и культов»: «Любая статуя для них — воплощение дьявола, всякое сборище — шабаш, всякая символическая фигура — талисман, всякий брахман — колдун» (статья «Альманах» из «Вопросов об Энциклопедии»).

Изданный в 1767 г. Руссело де Сюржи сборник «Записки географические, физические и исторические об Азии, Африке и Америке» ставит цель «собрать все, что есть интересного в Наставительных Письмах... уничтожить все абсурдное и чудесное, чего в них так много». Большинство авторов сборника, впрочем, считают своей заслугой, что дают на «выбор» лучшие описания или собирают, как сам Прево, описания, до того времени не переведенные, как, например, описания голландцев и датчан.

Рвение этих авторов зачастую приводит их к ошибочным суждениям. Если Прево умеет оценить со всей справедливостью дневники Аткинса и де Снельграва, «более приверженных наблюдательности, чем торговле» (т. III), или опубликовать выдержки из Дневника Бошэн-Гуэна, хранящегося в Архивах, то он же несправедливо обвиняет Лас Касаса в искажении фактов. «Заметки о путешественниках», написанные Корнелиусом де Поу²², падают лишь немногих из них: Кемпфера, Шардэна, Пуавра, Ла Кондамина. Аббат Демане поставлен им в ряд блестящих авторов, хотя его «История Африки» вовсе не заслуживает таких чрезмерных похвал. Выдвигаемые Поу критерии зачастую вполне правильны: например, он старается установить, был ли автор в состоянии видеть своими глазами то, о чем он пишет. Но Гарсиласо вызывает у него подозрения потому, что он метис, Лаонтан — своей распущенностью, а иезуиты — потому, что они... иезуиты. Так, Поу воспринимает книгу Лафито лишь как «бредни» и «грубости», несмотря на этнологическую ценность этого произведения. Необходимо учитывать все эти заблуждения, чтобы соответствующим образом оценить информацию философов. Во имя «здравой философии» читателю предоставляются лишь выдержки из лите-

²¹ Voltaire. Oeuvres complètes, vol. 1—52. Paris, 1877—1885, éd. Moland, vol. 30, p. 443.

²² C. de Pauw. Défense des recherches philosophiques sur les Américains. Berlin, 1770, ch. XXXVI.

ратуры о путешествиях, и наиболее осведомленные умы не всегда, однако, обращаются к лучшим источникам. Многие скороспелые суждения, удивляющие нас сегодня, объясняются именно этим.

Нужно принимать во внимание значительный хронологический разрыв между новыми открытиями и публикацией или переводом посвященных им описаний. Если речь идет о каком-нибудь русском, датском или даже немецком произведении, разрыв может быть в 15—20 лет. Так, описание путешествия Беринга и его спутников (1725—1728 и 1741—1743) было опубликовано лишь в 1759 г. в XV томе «Истории путешествий». А чтобы иметь точное представление о новых открытиях русских, пришлось ждать XVIII и XIX тома, вышедшие только в 1768 и 1770 гг. И наоборот, Бюффон может в 1777 г. ссылаться уже в своих «Приложениях», в главе «Разнообразие рода человеческого», на наблюдения над неграми Нубии, которые ему были переданы кавалером Брюсом (хотя «Описание» Брюса появилось лишь в 1790 г.), и на неизданные сведения о готтентотах, собранные во время путешествия Паттерсона (публикация же относится к 1789 г.). Антропологические и географические сведения философов имеют, таким образом, свою собственную хронологию. Этим можно объяснить некоторые пробелы в знаниях или, наоборот, некоторые неожиданные познания. Однако существует еще один путь: чтобы данная работа была полной, надо было бы исследовать многочисленные «отрывки» из отчетов и рассказов о путешествиях, которые появлялись в газетах того времени. Одному человеку не под силу изучить весь круг проблем, связанных с периодикой XVIII в. В настоящее время эта тема является предметом исследований целого коллектива ученых (в Научном центре Сорбонны по изучению XVII и XVIII вв.). Когда их работа будет закончена, мы получим более точное представление о распространении новых идей и знаний вне цепи книжной торговли.

Несомненно, что сама эта литература обновляется. Известна роль, которую сыграли ученики Линнея в истории великих открытий²³. К середине XVIII в. появляется обычай включать в состав каждой длительной экспедиции натуралиста, в обязанности которого одновременно входило зарисовывать все, что они видели. Так, Филибер Коммерсон сопровождает Бугенвиля в его кругосветном путешествии, сэр Джозеф Бэнкс и Соландер сопровождают Кука во время его первого путешествия, Форстер и его сын сменяют их во втором его путешествии, Андерсон — в третьем.

²³ См. *Histoire Universelle des Explorations*, t. III. Paris, 1955, p. 130 et suiv.

Целая плеяда натуралистов, ботаников и врачей, побывав в Африке, Гвиане, на Мадагаскаре, на острове Бурбон, в Южной Америке, посылают в Академию наук результаты своих наблюдений. Бюффон черпает многие сведения от этой сети информаторов, созданию которой он сам способствовал. Так, Филибер Коммерсон отправляется в плавание с программой наблюдений, представленной герцогу де Прален под названием: «Перечень наблюдений по естественной истории», в которой вопрос о разнообразии рода человеческого занимает первое место.

«Действительно, что может быть важнее для изучения в какой-нибудь стране, куда попадаешь впервые, чем люди, ее населяющие, — расы, на которые они разделены, их лица, обычаи, население, одежда, оружие; их лица могут давать много разных вариаций как в отношении черт лица, так и в отношении цвета кожи, их рост может быть больше или меньше обычного...»²⁴

Здесь мы находим элементы физической антропологии (рост, черты лица, цвет кожи) и культуры (обычаи, одежда, оружие), принцип которых установил Бюффон в своей «Естественной истории человека». Верный своей программе, Коммерсон записал свои наблюдения над патагонцами, таитянами и даже над «карликовым народом» Мадагаскара — кимоссами. Наконец, «Энциклопедия», придававшая огромное значение искусствам и ремеслу, орудиям труда, различным видам деятельности человека, способствовала тому, что в своих отчетах путешественники стали описывать с большой точностью предметы и «инструменты» дикарей. На рисунках, иллюстрирующих рассказы о путешествиях Бугенвиля или Кука, изображены человеческие лица, оружие, ширóги, орудия охоты или рыбной ловли, что свидетельствует о росте общего интереса к жизни диких племен. Во время своего пребывания в Перу натуралист Жозеф Домбэ производит раскопки древних захоронений и находит в них мумии, вазы, украшенные изображениями человеческих голов, а также голов обезьян или птиц, и даже весы с одинаковыми коромыслами (о том, что древние перуанцы пользовались такими весами, до сих пор никто не знал). Такая коллекция дает представление об исчезнувшей культуре этих народов. Литература о путешествиях выходит, таким образом, далеко за рамки описаний, приводившихся в «Естественной истории», и позволяет теперь восстановить облик целой цивилизации²⁵.

²⁴ Bibliothèque de l'Arsenal, mss. 6600. Частично опубликовано в кн.: Montessus. Martyrologue et Biographie de Commerson. Paris, 1859.

²⁵ Мы опубликовали инвентарный список, составленный Домбэ, в «Cahiers du Sud», IX, 1967.

5. ПРОБЛЕМЫ КОЛОНИЗАЦИИ: «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» ДИКАРЕЙ И РАБСТВО НЕГРОВ

За исключением литературы о крупных научных экспедициях (на Север, вокруг света, открытие Океании и Австралии), большая часть документов имеет непосредственное отношение к колониальной политике. Так, наблюдения Бугенвиля над народами Канады должны были помочь установить связь с местными племенами и тем самым благоприятствовать новым поселениям: как и многие другие офицеры, Бугенвиль был принят в одно канадское племя (у него даже был сын от индианки) и его «Дневник», так же как и «Записки о Новой Франции»²⁶, свидетельствуют о том, что он действительно хорошо знал племена, которые предстояло завоевать. Поездки натуралиста Адансона в Сенегал и в Гвиану были поездками для «информации» в современном значении слова: его «Естественная история Сенегала» дополняется секретными записями, предназначенными для Управления по колониям, где они соседствуют с различными записями административного характера как элементы одного и того же дела²⁷. Целью поездки Коммерсона на Мадагаскар, совершенной по просьбе Пьера Пуавра, было исследование южной части острова, где граф Модав основал в 1768 г. колонию. Во всяком случае в задачу «исследований на месте» входило досконально изучить страну и ее жителей, а также установить, какими средствами можно добиться их расположения. Коммерсон превосходно понимал эти задачи, когда писал:

«Знание побережья (Мадагаскара), даже очень глубокое, не может иметь никакой пользы для проникновения в глубь страны, которую вовсе не нужно завоевывать открытой силой и в которой поселение должно основываться на любви народов, ее населяющих»²⁸. Вся политика Модава основывалась именно на «цивилизации» туземцев, как же как и деятельность Бесснера и де Малуэ в Гвиане. Термин «цивилизация» (в смысле «приобщение туземцев к европейской культуре») встречается поминут-

²⁶ Опубликовано в: «Rapport de l'Archiviste de Quebec». [Montréal], 1925; см.: M. Duchet. Bougainville, Diderot, Raynal et les sauvages du Canada.— «Revue d'histoire littéraire de la France», 1963.

²⁷ Об Адансоне см. работы Альфреда Лакруа и Анри Фруадво, в частности статью: A. Lacroix. Les mémoires inédits d'Adanson sur l'île de Gorée et la Guyane Française.— «Bulletin de Géographie historique et descriptive». Paris, 1899.

²⁸ Comerson. Mémoire sur Madagascar. Muséum d'Histoire Naturelle, mss. 887.

но в «Истории обеих Индий», где Рейналь защищает взгляды администраторов-философов, которые с момента поступления одного из них, Дюбюка, на службу в Управление колоний придумывают все новые и новые «планы цивилизации»²⁹. В результате этих цивилизаторских устремлений снова возрождается образ «добротого дикаря». В то время как в «Истории путешествий» жалобы, например, обрисовываются самыми темными красками³⁰: «развратники», «трусы», «мстительные», «лжецы», «пьяницы», продающие своих детей и своих соплеменников, Адапсон хвалит их прекрасные природные свойства и мягкость их нравов. Коммерсон утверждает, что если португальцы, голландцы и французы одни за другими подвергались нападению со стороны жителей Мадагаскара, то это потому, что островитяне заставили «изменить свой характер» жестокими притеснениями, сами же по себе они «по-настоящему добры и гостеприимны». Рейналь говорит об «антипатии злопамятства» («История обеих Индий», VII, 138), порожденной жестокостями европейцев, что вовсе не следует смешивать с «натурой» дикарей. Этот оптимистический взгляд на мир дикарей согласуется с «цивилизаторскими» планами, в которых они старались, преодолевая противоречия колониальной обстановки, совместить человечность и выгоду. Подавленные рабством или «жестокими притеснениями», жители Мадагаскара — или канадцы, или негры — стали «злыми»; при помощи же убеждения и ласки, «вливаясь»³¹ в мудрую нацию, которая сумеет их цивилизовать, они обретут вновь свои добродетели, росток которых был задушен³². В фарватере слова «цивилизация» миф о добром дикаре находит новую силу.

«Цивилизация» индейцев, как и начавшаяся раньше христианизация мира дикарей, требует создания модели: пусть речь идет о Парагвае, Гвиане или Мадагаскаре, портрет дикого человека никогда не обрисовывается с точки зрения истинного положения вещей, он уже является как бы «черновым наброском» того человека, которого заботы церкви или результаты деятельности мудрой администрации доведут до полного совершенства. Только такая перспектива позволяет выработать политику, принципы которой оказываются совершенно идентичными в планах цивили-

²⁹ A. Duchêne. La politique coloniale de la France. Paris, 1928, ch. 3.

³⁰ Prevost. Histoire des Voyages, t. III, p. 140.

³¹ Выражение Модава: «...цивиловать свободный народ и слить его с нами». См. «Дневник» Модава, опубликованный в кн.: Pouget de Saint André. La colonisation de Madagascar sous Louis XV. Paris, 1886.

³² Буффон писал об африканцах: «... в них заложены ростки всех добродетелей» (см.: Buffon. Histoire Naturelle, t. IX, p. 223).

лизации губернатора Модава, относящихся к туземцам Мадагаскара, в планах Бесснера, относящихся к индейцам Гвианы, или в планах физиократов по поводу Северной Америки³³: определить местонахождение племен, направить их на путь земледелия, умело навязывая им различные нужды, обучать их, содействовать их ассимиляции скрещиванием рас, цивилизовать дикие народы и слиться с ними, — т. е. обеспечить основу для длительной и преуспевающей колонии. Повсюду деятельность иезуитов в Парагвае служит тому примером³⁴, и все образы, созданные в течение двух столетий оптимистичным миссионерством, преобразованные, приобретшие чисто светский характер, переведенные в терминологию «цивилизации», поддерживают иллюзию возможного примирения мира дикарей и мира цивилизации.

Мы впадем в глубокую ошибку, если это воскрешение мифа о «добром дикаре» сочтем влиянием руссоизма. Дикарь у Руссо является лишь абстракцией: его доброта, чисто негативная, является добротой существа из времен, предшествовавших существованию общества. И напротив, мадагаскарцы, доброту и гостеприимство которых восхваляет Коммерсон, обладают общественными добродетелями, активными, позитивными, которые являются очевидным признаком способности к цивилизации. Миф о «добром дикаре» функционирует здесь как обряд заклинания: стирая противоположный образ, порожденный грехом насилия, он отмечает возврат к состоянию первобытного неведения.

Так понимание мира дикарей направляется логикой истории, которая наложила на него свою печать. Опустошенный и изуродованный, он хранит следы насилий, завоевания или жестокости первых контактов. Истребление индейцев, порабощение негров, варварство цивилизованных людей — все это большие темы, которые без конца перебираются и варьируются, превращая историю диких народов в героический акт или в медленную трагедию: «Я не могу писать их историю, — восклицает Бюффон по поводу африканских рабов, — без грусти об их положении»³⁵.

От Монтескье до Дидро нет ни одного философа, который не осуждал бы преступлений завоевателей и не защищал бы индей-

³³ См. упомянутый выше «Дневник» Модава, а также материалы, хранящиеся в Национальном архиве (шифр F 395): проскты Бесснера, «Королевские приказы 1787 года о Гвиане» и «Эфемериды гражданина».

³⁴ Бесснер даже требовал, чтобы прислали в Гвиану, «не доводя до сведения публики», иезуитов, изгнанных из испанских и португальских поселений, в целях «собрать чрезвычайно ценные сведения относительно языков различных народов, духа этих народов и способа управления ими» (Archives, F 395. Précis sur les Indiens).

³⁵ Buffon. Op. cit., t. IX, p. 233.

цев или негров. От «Истории путешествий» Прево до «Истории обеих Индий» Рейналя нет ни одного философского труда, который не подводил бы итог злу, порожденному «самой большой несправедливостью, которая когда-либо была совершена на земном шаре»: имеется в виду «завоевание Нового Света испанцами, которые перерезали там всех, кого только было возможно», как пишет Корнелиус де Поу в «Философских изысканиях об американцах». Правда, он считает слишком преувеличенной цифру в 50 миллионов жертв, названную Лас Касасом, но обличает «жестокость, жадность, неуживчивость европейцев», которые опустошили Новый Свет.

«Не осталось почти ничего от старой Америки, кроме неба, земли и воспоминания о ее ужасающих несчастьях», — пишет он во «Введении» к своей книге.

Большинство историков отмечает, что повсюду соприкосновение европейцев с различными дикими народами влекло за собой быстрое снижение числа племен. Шарлевуа пишет в своей «Истории Новой Франции» (III, 429): «Целые народы полностью исчезли самое большее за 40 лет. Те же народы, которые еще существуют, являются лишь тенью того, чем они были».

Был придуман способ, который должен был прекратить истребление индейцев, — перегон рабов из Африки в Америку, но лекарство это оказалось худшим, чем сама болезнь. Опустошалась Африка, жители ее угонялись на работу на плантации, где смертность рабов росла катастрофически. Поу отмечает, впрочем, что это явление можно наблюдать повсеместно: например, число гренландцев, насчитывавших 30 тыс. в 1730 г., упало до 7 тыс. в 1768 г. Поу задает себе вопрос, не судьба ли всех диких народов «угаснуть, как только цивилизованные нации смешиваются с ними и начинают жить среди них»³⁶. Но если известны внешние причины такой смертности (заразные болезни, чрезмерное употребление алкоголя) и внутренние ее причины (войны между племенами, голод), на первое место все же ставят причины исторические, и клеймится политика завоевателей Нового Света.

«Сколько же нужно повторять, — добавляет Поу, — что с уничтожением американцев совершается, даже в политическом смысле, непоправимая ошибка: наоборот, нужно было бы их сохранить и расселиться среди них, как это было сделано в восточной Индии с яванцами, малайцами, малабарцами, монголами и всеми другими народами этой части Азии»³⁷. А де Бросс пишет:

³⁶ C. de Pauw. Op. cit., vol. 1, p. 280.

³⁷ Там же, стр. 100.

«...до последнего человека уничтожена раса из ста народов, как будто есть какая-то выгода во владении страной с недостаточным количеством жителей»³⁸.

Этому мрачному событию оба противопоставляют ловкое поведение голландцев в их колонии на мысе Кап и, конечно, поведение иезуитов в Парагвае. Во времена, когда богатство государства измерялось количеством его жителей, было разумнее выбрать более человеческие и менее дорогостоящие методы. Кроме того, свойственная эпохе Просвещения концепция истории — согласно которой ее ход определяется не случаем и не волей Провидения, а представляет из себя четкую цепь причин и следствий, — находит в этой «непоправимой ошибке» первых завоевателей основной грех истории колонизации. В «Истории путешествий» Прево обличает непрочность системы господства, которая оставляет угнетенным лишь один выход: восстание. Угроза восстания в испанской Америке, учащающиеся побеги рабов с Антильских островов, проблемы народонаселения и администрации — таковы основные черты «колониального» положения, которое анализируется в книге с большой трезвостью³⁹. Во Франции так называемая «кампания гуманности» берет свое начало в стремлении к реформам некоторой части администрации. Эти люди осознали внутренние пороки унаследованной от испанцев и португальцев системы, в которой торговля больше не в состоянии играть свою регулирующую роль. Существовало мнение, что следовало бы смягчить судьбу рабов и хорошо к ним отношением усыпить их стремление к свободе. Физикораты, однако, доказывают, что труд рабов экономически нерентабелен, а самые рьяные предлагают освободить рабов, что установило бы «новые отношения между владельцами земли и людьми, призванными ее обрабатывать»⁴⁰. Изучение административных записей и взаимной переписки между Управлением по колониям и некоторыми философами — Сен-Ламбером, Дидро, Рейналем — не оставляет никакого сомнения в реформистском характере их «антиколониализма». И, напротив, интересно отметить влияние Руссо на Пьера Пуавра, который рисует своим подчиненным картину будущего острова Иль-де-Франс, преобразованного в соответствии с его взглядами, где «...хозяева, чувствительные к тихому, но

³⁸ De Bross. Histoire des navigations aux Terres Australes, t. 1, p. 17.

³⁹ См. нашу упомянутую выше статью: M. Duchet. L'Histoire des Voyages, originalité et influence.

⁴⁰ Archive de la France d'Outre-mer, DFC. Guyane, Pièce 221, «Le esclavage des nègres». Этот доклад Бесснера был включен Рейналем в упомянутую нами «Историю обеих Индий» (т. 5, стр. 285—286).

мощному крику угнетенного человечества, вкусят чудесную радость смягчать судьбу своих несчастных рабов, никогда не забывая, что рабы такие же люди, как и они. Раб будет служить своему господину с радостью и верностью. Он будет себя чувствовать свободным и счастливым даже в рабстве»⁴¹. Здесь все строится на стремлении «смягчить тех, кто командует», чему будет ответом счастливое «усердие» «тех, кто подчиняется»⁴².

Таким образом, политика и «святая философия» взаимно влияют друг на друга, так как обе равным образом впадают в реформистскую иллюзию. Если европейские общества могут найти противоядие крайнему имущественному неравенству, колониальные общества тоже могли бы избежать опасностей, которые порождаются антагонизмом «хозяин — раб», и лишь «жадность, настолько же жестокая, насколько ненавистная, до сих пор делала колонизатора бесчувственным... к воплю человеческому»⁴³. Дикие народы вовсе не предназначены к рабству или смерти, они могут «влиться» в цивилизованный мир и пользоваться его благами. Как и в романтическом мире или в городах-утопиях, искусство и умение могут восстановить природу в ее правах и исправить неисправимое зло истории. Так оптимистически и безмятежно человек эпохи Просвещения любит власть усовершенствованного разума и наслаждается зрелищем своего собственного превосходства. Освобождение негров и цивилизация индусов, стирая преступления времен завоевания, знаменуют собой разрыв с варварской еще эпохой и гонят прочь призрак насилия.

6. АНТРОПОЛОГИЯ У ФИЛОСОФОВ

Так ограниченное в пространстве и постоянно зависящее от какого-то события познание мира дикарей остается отрывочным, неопределенным, подчиненным изменчивости мифов и требованиям политики. Затрудненность контактов, опасение, которое внушают народы без закона, естественные преграды отвращают путешественников от попыток проникнуть в глубь земель, если речь идет не о торговле, не о поселении, не о христианизации: смелое предприятие Ла Кондамина остается исключением. Мыслители XVIII в., не находя помощи со стороны этнологии, рассуждают об абстрактном понятии «дикий человек», которому история, естественная история и философия истории предоставля-

⁴¹ P. Poivre. Discours au Nouveau Conseil Superieur de l'Île de France.— «Voyages d'un Philosophe» [Paris], 1769. (Первая публикация этой «Речи» Пуавра относится к 1767 г.)

⁴² Rousseau. Oeuvres Romanesque, éd. Pleiade, vol. II, p. 548.

⁴³ P. Poivre. Op. cit.

ют привилегированное положение. Первая — потому, что видит в нем предка человека исторических времен, вторая — потому, что ставит перед собой проблему разнообразия рас и специфических особенностей человеческого общества, наконец, последняя потому, что намеревается восстановить его историю и генезис. Антропология философов участвует в этих трех направлениях до момента, когда она определяет для себя свой собственный предмет: «общую науку о человеке».

В середине XVIII в. слово *антропология* принадлежит лексикону анатомии и означает: «изучение человеческого тела». «Человеческая анатомия, которая точно и подлинно названа анатомией, имеет своим предметом изучения, или, если хотите, темой, человеческое тело. Это отрасль знания, которую многие называют антропологией», — пишет Дидро в «Энциклопедии», в статье «Анатомия». Статья «Антропология» напоминает о теологическом смысле: «...способ выражения, при помощи которого составители священных книг приписывают богу внешний вид, действия или чувства, свойственные только людям», и далее уточняется: «С точки зрения науки о строении живых организмов, это — изучение человека». Примерами такого подхода к антропологии являются трактаты Тейкмейера (Иена, 1719) и Дрейка (Лондон, 1707).

Первая «Антропология, или Общая наука о человеке» появляется в 1788 г., в то же время, когда выходит в свет последний том «Естественной истории» Бюффона. Автором был некий Шаванн, профессор теологии в Лозанне. Книга состоит из восьми частей: Физическая антропология, Этнология, или «наука о человеке, рассматриваемом как принадлежащий к виду, распространенному на земном шаре и разделенному на многие разные общества», Ноология, или «наука о человеке как о разумном существе»... Булология, или «наука о человеке как о существе, наделенном волей», Глоссология, или «наука о говорящем человеке», Этимология, Лексикология, Грамматология, Мифология. Менее чем за 30 лет родилась общая наука о Человеке, большую часть которой составляет антропология, тогда как «наукой о говорящем человеке» скорее является лингвистика, а Мифология вновь стала одной из второстепенных тем антропологии.

Но этим дело не ограничилось. Уже в 1749 г. в «Естественной истории Человека» Бюффона выделяется один обширный раздел: центром в нем является человек, рассматриваемый как одно целое и выделенный из всех других видов своей способностью мыслить, продолжительностью роста и жизни, существованием «высшего принципа», который позволяет ему умножать до бесконечности операции своего ума и увеличивать дистанцию, отделяю-

щую его от животного, пластичностью, которая ему позволяет распространяться и существовать во всяком климате, сложностью и разнообразием обществ, которые он образует вместе с себе подобными. Человек, повсюду чувствующий, живущий, действующий как человек, — таков предмет изучения Бюффона. Он написал трактат о человеке, не упоминая в то же время бога, тем самым коренным образом разделив два понятия, до того времени смешанные. Конечно, Бюффон провозглашает возвышенное достоинство человеческого рода, занимающего первое место среди живых существ. Но, провозглашая, что человек по своей природе выше животных, он опирается лишь на фактические аргументы. Ему достаточно сравнить «результаты естественных операций» человека и животного. «Человек походит на животных в том, что у него есть материального», но «самого глупого из людей хватит на то, чтобы руководить животным... Он руководит им и заставляет служить своим нуждам меньше силой или ловкостью, чем превосходством своей природы и тем, что у него разумный план, порядок действий и цепочка средств, которыми он заставляет животное себе подчиниться»⁴⁴.

И еще: «... дикарь говорит, как и цивилизованный человек», тогда как ни одно животное не имеет «этого признака мысли». И наконец, животные «ничего не изобретают и ничего не усовершенствуют», «последовательность их действий присуща целому виду, она не свойственна какому-либо индивиду». Из этих трех доказательств, которые устанавливают «бесконечную дистанцию между способностями человека и самого совершенного животного», вытекает двойное утверждение: у человека «другая природа» и нельзя спуститься «незаметно и едва уловимыми переходами от Человека к обезьяне»⁴⁵. Тогда как идея последовательной шкалы существ и видов располагала по порядку всякое живое существо по божественному проекту, Бюффон отделяет Человека от Бога и акта Сотворения, и именно этот отказ от антропоцентризма позволяет Бюффону заложить основы антропологии, науки о Человеке и его специфической деятельности — о его «естественных операциях», — которые определяют его как составляющего «отдельный класс»⁴⁶. Само единство рода человеческого перестает быть догмой и становится научным фактом, потому что оно естественным образом вытекает из определения вида, которое уже было проверено опытным путем: «Особь следует считать принадлежащими к одному виду, если при скрещивании они дают по-

⁴⁴ Buffon. Histoire naturelle, t. VIII, p. 356.

⁴⁵ Там же, стр. 358—360.

⁴⁶ Buffon. Histoire naturelle, t. VIII, p. 360.

томство, способное к размножению и сохраняющее основные черты данного вида»⁴⁷.

«Разновидности» человеческого рода объясняются, таким образом, внешними причинами, они столь многочисленны потому лишь, что человек является «единственным из всех живых существ, природа которого достаточно сильна, достаточно обширна, достаточно гибка, чтобы продолжать свое существование, размножаться повсюду и приспособляться к любым климатическим условиям на земле»⁴⁸.

Так, под всеми широтами человек пользуется большими преимуществами, которые отличают его от всех других видов животных: он один из всех существ «двурукий и двуногий» и может создать повсюду условия для своей жизни и своего развития, повсюду та самая «мыслительная способность», которая является продуктом высшей «организации», позволяет ему приспособиться к себе подобным и создавать с ними общества, общающиеся между собой при помощи языка, где будут расцветать все ростки мысли. Таким образом, можно свести человека к самому грубому из его образов — это для Бюффона дикарь готтентот, — не выходя из границ вида. Нигде еще не были найдены «человекоподобные животные, лишенные речи»⁴⁹ и не сформировавшие никакого вида общества. «Человек в любом состоянии, в любых положениях и в любом климате одинаково стремится к обществу; это постоянный результат необходимости, потому что она относится к самой сущности вида, то-есть к его размножению»⁵⁰.

Когда Бюффон пишет, что «все действия, которые можно назвать человеческими, имеют отношение к обществу»⁵¹, он провозглашает основной принцип антропологии, который не отделяет историю индивида от истории вида, а эту последнюю — от истории человеческих обществ. Так, «половая зрелость, обстоятельства, которые ее сопровождают, обрезание, кастрация, девственность, половое бессилие» рассматриваются в главе «О половой зрелости» как «основные в истории человека»: природа и культура — лишь две стороны одной и той же действительности, лицевая и обратная стороны одного и того же становления. Внутри вида каждая «разновидность» или «раса» отличается от других рядом соматических свойств: цвет, рост, телосложение, склад лица. Климат, пища, образ жизни являются причинами этих различий, кото-

⁴⁷ Там же, стр. 7.

⁴⁸ Там же, т. XI, стр. 385.

⁴⁹ Там же, стр. 91.

⁵⁰ Там же, стр. 93.

⁵¹ Там же, т. XIV, стр. 27.

рые влияют в свою очередь на натуру и нравы. Но «если бы эти же самые причины больше не существовали или если бы они изменились в других обстоятельствах и другими сочетаниями», эти разновидности «со временем исчезли бы мало-помалу или даже... стали бы другими, чем они являются сегодня»⁵². Так, стабильность свойств, полученных под влиянием внешних и случайных причин, не заключает в себе их неизменность, но указывает только на постоянное и продолжительное действие одних и тех же причин. Это точное определение расы позволяет Бюффону превзойти спор моногенизма и полигенизма и предложить вместо поисков истоков и филиаций «естественную историю» вида, все разновидности которого лишь продукт: «Откуда бы люди какой-нибудь страны ни вели свое начало, климат того места, где они обоснуются, будет влиять так сильно на протяжении времени на их первое природное состояние, что после нескольких поколений все эти люди будут походить друг на друга, даже если они пришли из разных мест, очень удаленных одно от других, и если вначале они очень различались между собой. Пусть гренландцы произошли от американских эскимосов или от исландцев, пусть лапландцы произошли от финнов, норвежцев или русских... не будет менее верно, что все эти народы, живущие за полярным кругом, стали людьми одного и того же вида на всем протяжении этих северных земель»⁵³.

Историческому восстановлению прошлого он противопоставляет то, что Жорж Гюсдорф называет «этнологическим пониманием человеческой действительности»⁵⁴. Поэтому сведение основных мыслей Бюффона к линнеевской идее «классификации», как это предлагает Мишель Фуко в книге «Слова и вещи»⁵⁵, нам кажется недостаточным. Его система не является только «таксономией, которая охватывает еще и время, и, следовательно, всеобъемлющей классификацией», — как пишет этот автор. Создавая из приспособления к среде закон, управляющий развитием человеческих групп, Бюффон делает возможной историю рода человеческого.

Однако его понимание человеческих обществ остается под властью философии истории. В самом деле, именно существование цивилизованных народов, которые являются, по его мнению, также лучшими и самыми красивыми, именно расцвет белой расы в умеренном климате позволяет ему привести все разновидности людей к одной и той же системе координат и провести кривую их станов-

⁵² Там же, т. IX, стр. 275.

⁵³ Buffon. Histoire Naturelle, t. IX. Addition.

⁵⁴ G. Gusdorf. De l'histoire des sciences à l'histoire de la pensée. Paris, 1966, p. 83.

⁵⁵ M. Foucault. Les Mots et les Choses. Paris, 1965.

ления. Лапландцы или готтентоты считаются «худшими» представителями своего вида лишь потому, что под широтами, более благоприятными, другие люди кажутся привносящими в этот вид высшую степень совершенства. Антропология Бюффона зиждется на сумме и разнице не потому, что он верит в неравенство рас, а потому, что он постоянно обращается к одной модели, к одному типу развития, общему для всех разновидностей людей. Дистанция, отделяющая каждую из них от вершины кривой, есть вместе и историческая отсталость и биологическое отклонение: если она оказывается слишком большой, это означает, что история данной группы людей «отклонилась от своего пути» и само становление этой группы поставлено под угрозу. Цивилизация же, напротив, — продукт продолжительного воздействия человека на природу, самого процесса, в ходе которого он меняет мир, чтобы сделаться его хозяином и владельцем. Тогда как «необработанная природа безобразна и отмирает», как и народы, которые в ней живут; природа, обработанная рукой человека, развивается и расцветает и являет ему образ его собственного совершенства. Дикарю, развитие которого препятствуют климатические крайности, американцу, остановившемуся, как говорится, у порога своей собственной истории, на континенте, где он обосновался сравнительно недавно, Бюффон противопоставляет торжествующее лицо человека цивилизованного, который как «хозяин земли изменил, обновил всю ее поверхность», открывая свету «своим искусством все, что она скрывала в своих недрах»⁵⁶.

Этот европоцентризм лишь показывал достигший тогда своего максимума разрыв между миром дикарей и миром цивилизации. Но основными своими принципами — единством рода человеческого и возможностью его усовершенствования — антропология Бюффона даровала цивилизованным народам право «цивилизации». Конечно, конкистадоры осуждаются, потому что, «опустошая Новый Свет, они его исказили и почти уничтожили»⁵⁷; колонизаторы и торговцы неграми осуждаются, потому что обращаются со своими рабами, как со скотом; но тема варварства цивилизованных людей питает другую тему, которая ей служит противоядием: цивилизация дикарей, единственная моральная основа гуманности завоевания. История имеет определенное направление, а вид конечен, поэтому человек не может оставаться в состоянии дикаря, не утратив при этом чего-то очень существенного; поэтому общество, которое не усовершенствуется, осуждено на гибель и поэтому все

⁵⁶ Buffon. Op. cit., t. XII, p. 113.

⁵⁷ Там же, т. V, стр. 268.

должно стремиться к состоянию цивилизации, дабы все, что возможно, существовало бы⁵⁸.

По своему объему, силе анализа и убедительности выводов «Естественная история человека» занимает первое место в антропологии XVIII столетия. В ее трех частях: рассуждении о «Природе человека», анатомической части, которая говорит о человеке в различном возрасте его жизни и о деятельности его органов чувств, и в главе о «Разнообразии рода человеческого» содержатся все элементы этой «общей науки о человеке», названной Шаванном «Антропологией». Энциклопедия заимствует в ней материал для многочисленных статей об анатомии человека и этнологии: статьи «Животное» и «Человеческий» (Род), статьи «Рост», «Окостенение», «Жизнь» (продолжительность), особенно статья «Негры», и еще очень многое. Идет ли речь о происхождении американских индейцев, о цвете кожи негров, о человеческих расах, о росте патагонцев, о белых неграх, об антропоморфных обезьянах, о миграциях или об уродах, чье отклонение от нормы является следствием каких-либо телесных недостатков, телесных излишков или делом рук человеческих, Бюффон пытается с помощью сравнительной анатомии, географии и критики текстов отклонить все предположения и предоставить слово одним лишь фактам. Если его интерпретация часто спорна, а сведения неточны, его заслуга по крайней мере в том, что он ставит в должном ракурсе проблемы, казавшиеся до него неразрешимыми загадками. Все темы — или схемы — антропологической мысли он выделил и расположил в цепь: человек и животное, животный мир и человеческое общество, способность к мышлению и способность усовершенствоваться, мысль и язык, состояние дикарства и прогресс общества, природа и культура, антропология и история, варварство цивилизованных людей и цивилизация дикарей. На основе этой тематики вполне можно было бы написать историю антропологической мысли между 1750 и 1780 гг. От Бюффона происходит спиритуалистический сенсуализм Руссо, так же как и материалистические тезисы Дидро и Гельвеция.

Но, как мы уже говорили, антропология философов в наших глазах нечто другое, чем сеть тождеств и различий, которые соединяют между собой системы и обеспечивают свободное течение идей от одной системы к другой. Тогда как «наука о человеке» есть единственный предмет «Естественной истории» Бюффона и его антропология может предстать как эта самая наука, приведенная в си-

⁵⁸ В 1970 г. выйдет в свет подготовленное автором этих строк издание «Естественной истории человека», во введении и примечаниях к которому вопрос об антропологических воззрениях Бюффона анализируется более полно.

стему, — хотя естественно-научная мысль в ней еще смешивается с философской мыслью — она интересует философов только в той мере, в какой она может служить фундаментом Морали, Философии, Истории, Политики. Таким образом, именно совокупность их мыслей о природе человека, о генезисе и эволюции общества можно назвать их антропологией — в философском, а не в естественно-научном смысле этого слова.

Известно, что Бюффон считал невозможным найти более интересный для философа предмет изучения, чем дикарь, «из всех животных самый своеобразный, наименее известный и самый трудный для описания». Он подразумевал «дикаря абсолютно дикого», такого, как, например, литовский ребенок-медведь, отличающийся своей уединенностью даже от всех известных дикарей, живущих в обществе; наблюдая за ним, можно было бы «правильно оценить силу appetitов природы» и измерить разрыв между дикарем и общественным человеком⁵⁹. Но (знаменательный факт) сам он говорит об этом довольно мало. В своей книге «Дикий человек, homo ferus и homo sylvestris» Франк Тинленд хорошо показывает эту разницу между homo ferus, еще мало человеческая жизнь которого является жизнью «чудовища», и homo sylvestris, единственным, благодаря которому можно проникнуть в «некоторые из черт первобытного человека»⁶⁰. Руссо сам отказывается видеть в «одичалом человеке» образ «природного» человека тех времен, когда обстоятельства и развитие его еще не изменили; его дикарь может быть человеком доисторическим, лишь отличаясь и от homo ferus и от homo sylvestris. Таким образом, у всех философов историческая точка зрения преобладает над антропологической. Точнее, поиск последовательных состояний, отмечающих историю человеческого общества, становится основным предметом антропологии, призванным заполнить пробелы истории народов. Идя по «забытым и затерянным дорогам, которые от естественного состояния должны были привести человека к его гражданскому состоянию», и восстанавливая «промежуточные позиции», мы найдем, писал Руссо, «решение бесконечных проблем морали и политики, которые философы не могут разрешить»⁶¹. С «познанием действительных основ человеческого общества» и «природы человека» будут решены «многие трудные проблемы, как-то: происхождение морального неравенства, действительные основы полити-

⁵⁹ Buffon. Op. cit., t. IX, p. 249.

⁶⁰ F. Tinland. L'homme sauvage, homo ferus et homo sylvestris. Paris, 1968, p. 255.

⁶¹ J. J. Rousseau. Op. cit., vol. III, 191—192.

ческой системы, взаимные права ее членов...»⁶² Дидро тоже считает, что: «важно для будущих поколений не потерять картину жизни и нравов дикарей. Может быть, именно этому знанию мы обязаны прогрессом, который философия морали сделала среди нас»⁶³.

Также и для Гельвеция всякая политика, которая не опирается на теоретический анализ развития человеческого общества, не может понять величайшей опасности деспотизма и неспособна его избежать. Сам Вольтер догадается к 1765 г., что «история начинается с предыстории»⁶⁴ и что есть предыстория человеческого разума, этапы которой можно восстановить, наблюдая различные дикие народы.

Но, как это хорошо увидел Руссо, в этом поиске истоков и основ общества всегда идет речь о «природе человека», о его месте на ступенях лестницы живых существ, о его естественном или приобретенном превосходстве, об его «организации», о воспитании чувств, об изобретении речи и о прогрессе разума. Вся человеческая история меняет свой облик применительно к «свойствам» вида: если человек вегетарианец по природе, как это утверждает Руссо, он мог бы свободно существовать без помощи себе подобных, и общество не есть непосредственный результат нужд вида, как это думают Бюффон и Дидро; если подобно Гельвецию человека определять как животное в одно и то же время «травоядное и плотоядное», он мог выжить лишь в обществе и посредством общества. Если язык — не естественное свойство человека, орангутанга можно считать человеком, оставшимся на стадии чистой природы; если дикий человек говорит «естественно», как и цивилизованный человек, антропоморфные обезьяны походят на него только формой: Руссо сожалеет, что невозможно, спаривая эти два вида, убедиться в факте, столь важном для истории человека.

Таким образом, для понимания эволюции человеческого общества нужно обращаться именно к науке о человеке. Нельзя рассматривать историю сквозь призму антропологических схем, не высказываясь об истинности или ложности этих схем, не рассматривая основные принципы антропологии. Так, для Гельвеция и Дидро человек обязан прогрессом своего разума только преимуществам своей «организации», для которой диалектики нужд и страстей достаточно, чтобы привести в движение всю социальную систему. Для Руссо человек был сотворен, чтобы всегда пребывать в счастливой инерции одинокой и дикой жизни, и лишь «обстоятельства»

⁶² Там же, стр. 124, 126.

⁶³ Raynal. Histoire des... deux Indes, t. VII, p. 162—163.

⁶⁴ René P o m e a u. Essai sur les moeurs. Paris. 1966, Introduction, p. XVIII.

путем резких скачков, равнозначных подлинной революции, привели его «к совершенству индивида, а в действительности — к упадку вида» (Речь вторая). Для Вольтера человек в чисто природном состоянии — лишь дикий зверь и только стечение обстоятельств смогло привести к рождению искусств и науки.

Для одних природа человека смешивается с его социальным состоянием — все в нем приобретенное: «В человеке, рожденном без мысли, без порока и без добродетели, все, вплоть до человечности, — приобретено», — скажет Гельвеций (О разуме, Отдел II, гл. 7). По мнению других, общительность, способность усовершенствоваться, чувство свободы являются врожденными качествами, которые бог дал лишь роду человеческому, и процесс, в котором он цивилизуется, не порождает ничего, что не было бы заложено изначально в его натуру. Материалистической антропологии Дидро или Гельвеция противопоставляется у Руссо и Вольтера — как ни различны их концепции истории — преформизм, который делает бога хозяином «обстоятельств», до тех пор, пока, наконец, все, что должно быть, да будет, и пока люди не станут «всеми, чем они могут быть в добре и в зле»⁶⁵.

Таковы вкратце линии раздела между системами, которые мы постарались описать. Но лишь их внутренний анализ, — а мы здесь только оговариваем его выводы, — может дать полную картину глубины и своеобразия этих систем.

Эти системы, ни один элемент которых, да будет позволено нам так выразиться, не теряет своего специфического веса и внутри конфигурации приобретает смысл своего места и своей функции. Только своеобразное заблуждение позволяет нам сегодня рассматривать их как нечто второстепенное. Сложная цепь промежуточных взаимосвязей помешала нам заметить качественные изменения.

Только проследившая этот качественный сдвиг, мы увидим внутреннюю логику произведений и систем, свойственную всей идеологической литературе XVIII в. Именно этому сдвигу мы обязаны «Речами» Руссо, его «Общественным договором» и «Новой Элоизой», этими системами, зародившимися как произведения, и этим произведением, составляющим систему. В то время, как история идей, следуя путем, заимствованным у чисто описательной истории, пытается совместить на одной плоскости свойственные ей конфигурации, чтобы понять их диахроническую последовательность, изучение этой логики удвоения, которая заимствует у литературы систему формализации, чтобы вписать туда свои понятия, изучение этой логики еще предстоит провести. Мы, со своей стороны, надеемся продолжить нашу работу в этом направлении.

⁶⁵ J. J. Rousseau. Op. cit., vol. III, p. 533.

РУССО В ОЦЕНКЕ БАБЕФА

(К 250-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо
и к 200-летию «Общественного договора»)



В. М. Далин

1

Из всех великих мыслителей XVIII в. Жан-Жак Руссо оказал, это можно утверждать с полной уверенностью, наиболее глубокое и серьезное влияние на Бабефа, особенно в период его идейного созревания.

Первые документы о Бабефе, которыми мы располагаем,— это его письма к отцу 1779—1780 гг. Но в этих юношеских письмах, с их наивным описанием «изгнания червей» и трогательными жалобами на отсутствие приличной одежды для посещения замков, ничто еще не предвещает будущего «Трибуна народа». За последующие пять лет мы имеем только деловую переписку Бабефа-февдиста. Но начиная с 1785 г. мы располагаем первоклассным источником — перепиской Бабефа с секретарем Арасской академии Дюбуа де Фоссе. И эта переписка позволяет судить о том огромном скачке, который произошел в интеллектуальном развитии Бабефа за предельно короткий срок. Он не только чрезвычайно расширил круг своих знаний, — к 1786 г. у Бабефа сложились уже определенные, довольно зрелые социальные идеи. Под чьим влиянием? Конечно, решающую роль играла социальная обстановка, но все же должны были быть определенные авторы, определенные произведения, которые помогли оформить наблюдения и размышления Бабефа. И мы едва ли ошибемся, если выскажем предположение, что этим автором стал Руссо, а этим произведением — «Речь о происхождении и основах неравенства между людьми», представленная на конкурс Дижонской академии в 1758 г.¹

¹ J. J. Rousseau. Oeuvres, t. II. Amsterdam, MDCCLXIX. (Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes).

Разумеется, Бабеф, как и тысячи передовых людей его века, знал и высоко ценил Руссо как автора знаменитого «Эмиля», и педагогические идеи этого произведения едва ли имели другого более страстного приверженца, чем скромный пикардийский февдист². Но прежде всего и раньше всего Руссо был для Бабефа автором «Речи о происхождении неравенства»; именно эта работа оказала на него самое сильное и самое прочное влияние.

В этом убеждают нас все произведения Бабефа, в частности его рукописная тетрадь «Философский свет». Во всех своих рассуждениях о связи между развитием земледелия и установлением частной собственности, о значении собственности для развития общества и государства Бабеф исходил именно из этого произведения Руссо, из которого он чрезвычайно много заимствовал. «Учение Руссо в первом своем изложении, можно сказать, блистательно обнаруживает печать своего диалектического происхождения», — писал Энгельс, имея в виду как раз эту «Речь» Руссо. Можно не сомневаться, что те элементы диалектики, которые мы находим в высказываниях Бабефа о собственности, идут прежде всего от Руссо и его «Речи». Знаменитые слова — «Истинным основателем общества был тот, кто первый огородил свой участок земли, решился сказать «это мое» и нашел достаточно простых людей, чтобы ему поверить. От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля — никому», — давали ответ на все те мучительные вопросы, которые ставила перед Бабефом социальная обстановка предреволюционной Франции. В идейном развитии Бабефа «Речь о происхождении неравенства» была важнейшей вехой, и недаром именно это произведение и как раз эти слова напомнил он в своей последней речи на Вандомском процессе, когда утверждал, что, «не колеблясь», мог бы назвать Руссо «председателем общества флореальских демократов» (как известно, бабувисты были арестованы в флореале IV года — мае 1796 г.). С горькой иронией Бабеф говорил о том, что аргументы, выдвинутые в обвинительном заключении против взглядов бабувистов на губительную роль частной собственности, могли бы быть целиком обращены и против Руссо: «И вот и ты, Руссо, и вот твоя знаменитая речь о неравенстве (курсив наш. — В. Д.) победоносно опровергнута. Получил ли бы ты эту премию Дижонской академии,

² См.: M. Dommanget. Babeuf et l'éducation.— «Annales Historiques de la Révolution française», 1960, № 162.

если бы глубокомысленный автор обвинительного заключения по флореальскому заговору там присутствовал бы? О, в наши дни свободы он не был бы допущен к конкурсу, обвинитель его разоблачил бы, ему предъявили бы приказ об аресте... и он оказался бы здесь на скамье подсудимых»³.

Трудно сказать, когда Бабеф изучал «Общественный договор», — он конспектировал эту книгу уже в первые годы революции, и его отношение к ней было более сложным, чем к «Речи о происхождении неравенства». Но он очень высоко ценил девятую главу первой книги, содержащую суждения о социальном равенстве. Эта глава привлекла к себе и внимание молодого Маркса, когда он впервые в 1843 г. конспектировал «Общественный договор», и чрезвычайно любопытно, что некоторые из их выписок почти буквально совпадали. Особое значение Бабеф придавал следующей мысли Руссо: «При других правительствах это равенство является только мнимым и иллюзорным, оно служит только для того, чтобы сохранять бедняку его нищету, а богачу — возможность узурпации. В действительности их законы всегда полезны для тех, кто владеет, и губительны для тех, кто ничего не имеет; отсюда следует, что пребывание в обществе (*état social*) только тогда полезно для людей, когда все они чем-нибудь владеют, но никто не имеет слишком много (*l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun n'a rien de trop*)»⁴. Эту мысль Руссо Бабеф повторял многократно, он называл ее «эликсиром» «Общественного договора».

В своеобразном коммунистическом катехизисе, составленном им в 1795 г. в Арасской тюрьме и распространявшемся в парижских тюрьмах накануне 13 вандемьера (он сохранился в личном архиве М. А. Жюльена), мы находим эту же, чуть перефразированную ссылку на Руссо: «Пусть все имеют достаточно и никто не имеет слишком много (*il faut que chacun ait assez et qu'aucun n'ait de trop*). Эта мысль является эликсиром Общественного договора Женевский философ не мог развить ее более подробно в то время, когда он жил, но ее совершенно достаточно для тех, кто умеет понимать»⁵. Вполне возможно, что как раз эту мысль Бабеф и имел

³ «*Défense générale du Gracchus Babeuf devant la Haute-Cour de Vendôme*» (V. Advielle. *Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme*. Paris, 1884, vol. 2, p. 44—48).

⁴ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (далее — ЦПА ИМЛ), ф. 223, оп. 1, № 307 («*Chronique. Sur la loi agraire*»).

⁵ ЦПА ИМЛ, ф. 317, № 767. Эту же мысль мы встречаем почти дословно и в «Манифесте плебеев» в № 35 «Трибуна народа» («*J.-Jacques a mieux*

в виду, когда говорил в Вандоме о том, что «несколько слов» Руссо иногда стоят «целых томов»⁶.

Но на Бабефа оказали влияние не только социальные идеи Руссо: уже в годы революции его внимание привлекли некоторые его политические идеи. Первый год Французской революции глубоко разочаровал тех демократов, — к их числу принадлежал Бабеф, — которые искренне верили, что провозглашение великих принципов Декларации прав принесет с собой установление подлинного народовластия, подлинного народного суверенитета. Все чаще убеждаясь в призрачности провозглашенной демократии, Бабеф задумывался над возможными гарантиями ее осуществления, и в этих поисках он очень часто возвращался к Руссо, с его скептическим отношением к «представительному» правительству. В неопубликованной рукописи третьего номера «Газеты Конфедерации», отстаивая необходимость сохранения парижских дистриктов, он писал: «Старайтесь возможно реже быть представленными и будьте возможно чаще своими собственными представителями... Если народ является сувереном, он должен сам, поскольку это возможно, осуществлять свой суверенитет, и именно это должно составлять его главное занятие. Иначе, как говорит Жан-Жак, когда общественные дела перестают быть главным занятием граждан и они предпочитают служить им кошельком, а не участвовать в них лично, государство уже близится к своей катастрофе»⁷.

Именно к этому периоду (1790—1791) относятся упомянутые уже нами выписки Бабефа из «Общественного договора». Одна мысль Руссо уже тогда привлекала его внимание: «С того момента, как народ дает себе депутатов, он уже не имеет свободы, он уже ее лишен»⁸.

Эту мысль Руссо Бабеф напоминал не раз, в частности в 1792 г., в своей речи на аббевильском собрании выборщиков в Конвент, где он отстаивал необходимость лишить депутатов возможности искажать волю своих доверителей⁹. Но характерно, что, внимательно задумываясь над пессимистическими оценками Руссо, Бабеф по-

précisé ce même principe, quand il a écrit: Pour, que l'état soit perfectionné, il faut que chacun ait assez, et qu'aucun n'ait trop. Ce court passage est, à mon sens, l'elixir du contrat social. Son auteur l'a rendu aussi intelligible qu'il le pouvoit faire au tems où il écrivait. et ce peu de mots suffit à qui sait entendre.— «Le Tribunal du Peuple», № 35).

⁶ См.: «Défense générale...», p. 46 («quelques mots de lui sont des volumes»)

⁷ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 179—180.

⁸ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 307.

⁹ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 338 («...После того как закончены выборы народ проявляет себя только через своих посредников, он уже теряет свою полную свободу»).

стоянно и настойчиво искал форм, которые все-таки надежно обеспечивали бы народный суверенитет при представительном образе правления. Так, уже в первые месяцы термидорианской реакции, подчеркивая значение народных обществ для осуществления контроля народа над агентами государственной администрации, Бабеф писал, что «таким путем может быть опровергнут в значительной мере принцип Жан-Жака, который утверждает, что представительное правительство является чисто аристократическим, потому что народ не участвует непосредственно в законодательстве»¹⁰.

Руссо являлся для Бабефа в известной мере образцом жизненного поведения. Его «Исповедь» он прочитал в 1789 г. с восторгом и охарактеризовал ее, как «шедевр анализа»¹¹. В самые различные периоды своей жизни он вспоминает Жан-Жака, ссылаясь на него, сравнивает себя с ним. «Полезное, полезное! — пишет он в 1791 г. Купе, — вот что подавляет во мне все второстепенные заботы... из-за чего я кажусь нелюдимым, стеснительным, сконфуженным, как и Руссо, который никак не мог этого преодолеть. Он, вы и я, вероятно, мы немного похожи друг на друга, всегда нас занимает одна цель, она нас целиком поглощает»¹². «У меня до известной степени философский характер, — пишет он о себе голландцу Макерстроту весной 1793 г., — у меня нет обычного недостатка французов, их болтливости. Я, наоборот, лаконичен, как спартаец, я размышляю, задумываюсь так же, как в свое время это делал Руссо. Как и для него, поиски способов осуществления общественного благосостояния составляют мою постоянную заботу»¹³. Руссо для него — высший образец правдивости: «Предъявлять мне обвинения в подкупности, в подделках так же абсурдно, как если бы такие обвинения выдвигались против Руссо»¹⁴.

Даже тогда, когда он не следует примеру Руссо, он считает себя обязанным как-то перед ним оправдаться. Испытывая весной 1793 г. невероятную нужду, он часто жалеет, что не обладает тем ремеслом, которое выручало Руссо, — не умеет переписывать ноты. Но даже в этих условиях полнейшей нищеты Бабеф, очень нежный отец, не решается последовать примеру Руссо и расстаться со своими детьми. В письме Сильвену Марешалю он взывает к Жан-Жаку: «Избыток твоей чувствительности не давал тебе возможности примириться с мыслью, что когда-либо ты не в состоянии будешь обес-

¹⁰ «Journal de la liberté de la presse», № 6.

¹¹ «Confessions de Rousseau... chef d'oeuvre d'analyse».

¹² A. Espinas. La philosophie sociale du XVIII^e siècle et la Révolution. Paris, 1898, p. 404.

¹³ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 210.

¹⁴ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 395.

печить своих детей; сразу после рождения ты отдавал их по-этому на попечение правительства. Но скажи мне, мог ли бы ты покинуть их в том возрасте, когда первые проявления разума делают их столь интересными. О, мой семилетний сын, точная копия прекрасного и невинного Эмиля. Нет, я не способен тебя покинуть, я буду охранять твою юность... Я не выполню этой задачи только, если мне придется умереть»¹⁵.

Весь тон этого обращения не оставляет никакого сомнения в том, с каким удивительно искренним чувством признательности относился Бабеф к «нашему учителю, Жан-Жаку»¹⁶.

2

Тем поразительнее, с какой настойчивостью и решительностью Бабеф уже с первых же шагов своей сознательной идейной жизни проявляет к некоторым идеям Руссо определенно критическое отношение. Уже в переписке с Дюбуа де Фоссе в 1786 г. он советует-ся с ним «о пределах доверия к Жан-Жаку»¹⁷. В первый раз это коснулось педагогических идей автора «Эмиля». Бабеф собирался обучать свою первую дочь — он назвал ее Софией в честь героини Руссо¹⁸ — в очень раннем возрасте, но Жан-Жак высказывался против этого, а «мнение женеvского гражданина пользуется у меня слишком большим весом»¹⁹.

Но эти сомнения, это выяснение «предела доверия» к Руссо относятся не только к его педагогическим, но и к социальным идеям. При всем преклонении Бабефа перед «Речью о происхождении неравенства» он совершенно открыто ее критикует. Он не согласен с идеализацией первобытных отношений, с призывом вернуться к естественному состоянию. Он решительно отдает предпочтение автору другого проекта общественной реорганизации, с которым ознакомил его Дюбуа де Фоссе: «Первый, кто огородил землю, — считал автор «Эмиля», — кто решился сказать «это принадлежит мне» был автором всех зол, угнетающих человечество. Жан-Жак утверждает, что все эти бедствия привели к изобретению всех зна-

¹⁵ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 364; см. также: V. Advielle. Op. cit., vol. 1, p. 105—109.

¹⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 364.

¹⁷ «Correspondance de Babeuf avec l'Académie d'Arras, publiée sous la rédaction de M. Reinhard». Paris, 1961, p. 40. («Daignés, Monsieur, me donner votre sentiment sur l'étendue de ma confiance en Jean-Jacques».)

¹⁸ Своего старшего сына, Робера, Бабеф стал именовать Эмилем. Свою жену Бабеф в письмах часто сравнивал с подругой жизни Руссо — Терезой Левассер.

¹⁹ «Correspondance de Babeuf...», p. 40.

ний, которые мы с тех пор приобрели. Но Жан-Жак считает, что все эти приобретения сделали нас менее счастливыми, чем мы были в естественном состоянии, поэтому он как будто бы хочет вернуть нас к тому, чтобы обеспечить нам наибольшее возможное благосостояние. Мне кажется, что наш Реформатор делает больше, чем женеvский гражданин, *который иногда кажется мне чистым мечтателем* (курсив наш. — В. Д.). он хорошо мечтал, но наш человек мечтает лучше. Как и тот, он считает, что все люди совершенно равны, что они ничем не должны владеть в отдельности, но пользоваться всем сообща и так, чтобы от рождения каждый человек не был бы ни более богатым, ни более влиятельным, чем все остальные, его окружающие». Но преимущество «Реформатора» в том, что он «не отсылает нас, как г. Руссо... в чащу лесов, чтобы посадить нас под дубом, утолять нашу жажду из первого же ручейка и отдыхать под тем же дубом, где мы найдем сперва свое пропитание»²⁰. Но эта фраза представляла собой буквальный пересказ одной страницы из «Речи о происхождении неравенства». Преклоняясь перед Руссо Бабеф все-таки уже в 1786—1787 гг. заметил ахиллесову пяту «женеvского гражданина», ограниченность его общественных идеалов; он уже тогда склонен был считать Руссо только автором «чисто идеальных схем», «мечтателем» и притом недостаточно смелым.

Еще более ясно критическое отношение к Руссо Бабеф формулирует в своей уже упоминавшейся нами теоретической тетради «Философский свет». Он критикует «метафизиков», «догматиков», людей, которые вместо того, чтобы исходить из «конкретных фактов», руководствуются только собственными предположениями. Этому правилу до сих пор не следовали даже самые «уважаемые писатели», не только Тюрго, Кондорсе, де Лолм, но и Монтескье, и даже Руссо «наиболее известный и уважаемый из всех, который сам многим был обязан Монтескье, но у которого остальные черпали все свои первоначальные представления»²¹. Критический отзыв о Руссо является одной из интереснейших страниц этой неопубликованной бабефской рукописи. Бабеф подчеркивает, что он нисколько не преуменьшает очень больших заслуг Руссо, все значение мыслей, разбросанных в его многочисленных произведениях. Однако ниже всех работ Руссо он ставит его «Общественный договор». Он дает ему такую же оценку, как платоновской «Республике»: «Я считаю Платона выдающимся человеком и благодаря его таланту, и благодаря красноречию. Но совсем не «Республика» внушила мне

²⁰ «Correspondance de Babeuf...», p. 111.

²¹ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 139, стр. 148.

такое высокое представление. Я нисколько не сомневаюсь, что, если бы он не был занят относительно маленькими греческими республиками, он дал бы произведение, гораздо более достойное его»²². Такой же упрек он делает и Руссо, «Общественный договор» которого «разумнее и точнее» было бы назвать «Предположения о природе общественного договора и принципах политического права»: «Жан-Жак Руссо видел только Женеву, занимался только Женевой... делал предположения только для Женевы. И этот тип правительств, едва ли мыслимый для Европы, непригодный в других частях света, догматически представляется нам, как тип правительства для всего человеческого рода». И Бабеф сопровождает эту критику поистине блестящей социальной характеристикой Руссо: «Это вызывает представление о маленьком, вдумчивом, трудолюбивом, по необходимости экономном землевладельце, который пожелал бы уничтожить все крупные владения по той причине, что в Швейцарии невозможно использование крупных зданий, снабжение транспортом и земледельческими орудиями, скотом, работниками, которые оживляют все эти крупные сельскохозяйственные владения. Ему кажется, что он открыл все, что необходимо для процветания его маленького поля, его небольшого луга, его крохотного виноградника, его маленького птичьего двора, — все остальное кажется ему не только излишним, но чудовищным и разрушительным для разумной культуры»²³. Эту совершенно своеобразную и исключительно интересную критику мелкобуржуазных черт учения Руссо В. П. Волгин считает одним из свидетельств «большой оригинальности социальной мысли» Бабефа, делавшего уже тогда несомненный шаг вперед по сравнению с идеями Руссо.

Не менее интересна и критика отношения Руссо к Иисусу Христу, которая относится косвенно и ко всей главе «Гражданская религия», добавленной к «Общественному договору» вскоре после разрыва Руссо с энциклопедистами. В оставшейся незаконченной рукописи 1793 г. «Новое жизнеописание Иисуса Христа» Бабеф собирался «беспощадно напасть» на «главного идола, которого до сих пор чтит и боятся наши философы, осмеливавшиеся нападать только на его свиту и все окружение». Он критикует в ней «наиболее смелых антипапистов», «всех республиканцев, вооруженных наилучшими принципами», но не решившихся доказать «ничтожество основателя христианства». И эту критику Бабеф начинает как раз с Руссо: «Ты первый, Жан-Жак, почему ты прод-

²² ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 139, стр. 149.

²³ Там же, стр. 148.

лил иллюзии людей в отношении того, кто причинил им больше всего зла, чье странное непостоянство в жизни принесло столько мучений нашей земле и обогрило ее таким количеством крови? О, насколько ты кажешься ниже себя (первоначально в рукописи было — «О, как я сержусь на тебя!» — В. Д.), когда ты искренне восхищаешься евангелием и как будто бы чистосердечно сомневаешься в том, был ли его автор только человеком»²⁴. В почти одновременно написанном письме к издателю «Парижских революций» Прюдомму Бабеф отзывался о Руссо еще более резко: «Руссо никогда не казался мне столь мелким (*si petit*), как тогда когда он хвалил его (Иисуса. — В. Д.) и его справедливость»²⁵. Критикуя одновременно Эбера, называвшего Иисуса санкюлотом, Бабеф писал: «Жан-Жак, отец Дюшен... я не боюсь опровергнуть вас всех. Христос был только человеком, он не был ни санкюлотом, ни честным якобинцем, ни мудрецом, ни моралистом, ни философом, ни законодателем»²⁶. Со стороны Бабефа это была критика не только позиции Руссо по отношению к Христу, но и всей руссоистской концепции «гражданской религии», оказавшей такое огромное влияние не только на робеспьеристов с их «культом Верховного существа», но даже и на Буонарроти.

Историки социальной мысли всегда интересовал вопрос об отношении между идеями Руссо и социализмом. Здесь не место подробно разбирать эту проблему. Но, как нам представляется, оценка Руссо, которую мы находим у Бабефа, дает очень многое для правильного решения этой проблемы.

Уже в месяцы, а возможно, недели, предшествовавшие аресту, Бабеф читал ответ Руссо лионскому академику Борду на его возражения по поводу первого трактата «*Sur les sciences et les arts*». Одна из выписок Бабефа — она фигурировала впоследствии на процессе — особенно любопытна: «Я не предлагаю довести людей до такого состояния, чтобы они довольствовались самым необходимым. Я хорошо знаю, что не нужно составлять химерических проектов... Но я считал себя обязанным сказать, не скрывая, всю правду, которой от меня требовали... Я видел зло и попытался обнаружить его причины. *Другие, более смелые или более безрассудные, попытаются найти средства излечения (les remèdes)*»²⁷. Эти последние слова Руссо были Бабефом выписаны крупными буквами

²⁴ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 399.

²⁵ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 240—241.

²⁶ ЦПА ИМЛ, ф. 223, оп. 1, № 399.

²⁷ Archives Nationales, W³ 561/15 (по фотокопии в ЦПА ИМЛ, ф. 223); см. также: «*Suite de la Copie des pièces saisies dans le local, que Babeuf occupoit lors de son arrestation*», vol. 2. Paris, an V [1796], p. 74—76.

и подчеркнуты резкой чертой, — они отвечали его мыслям. Нет сомнения, что к числу этих «более смелых» он относил себя и других участников движения «во имя равенства». Но к числу своих предшественников, своих «суфлеров», как он говорил на суде в Вандоме, он всегда относил Руссо, как бы решительно и иногда очень резко он его ни критиковал.

В этой оценке Руссо виднейшим революционно-утопическим коммунистом XVIII в. историк найдет для себя очень много ценного и поучительного. В ней уже явственно обозначается водораздел между передовой, но все же ограниченной мелкобуржуазной социальной мыслью Руссо и еще незрелым, утопическим, но уже коммунистическим мировоззрением Бабефа.

ФРАНСУА БУАССЕЛЬ И ИДЕЯ СОЦИАЛИЗМА В ГОДЫ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



А. Р. Иоаннисян

Семьдесят лет назад Андрэ Лиштанберже опубликовал свою ценную монографию «Социализм и Французская революция»¹, в которой давал общий обзор социалистических и коммунистических идей этой эпохи. В настоящее время на основании изучения новых материалов мы имеем возможность составить себе более полную картину распространения социалистических и коммунистических идей в годы революции.

Для народных масс города и деревни провозглашенные революцией идеалы равенства и братства отождествлялись не только с равенством политическим, но и с равенством социальным. Конечно, совершенно несомненно, что этот идеал равенства выражался в годы революции главным образом в форме эгалитаризма, т. е. идеала имущественного равенства, ликвидации крупной собственности, «аграрного закона», равного раздела земли. Но этот идеал находил подчас свое выражение и в социалистических и коммунистических идеях, связывавших уже истинное социальное равенство и братство не с уравниванием, а с полным упразднением собственности, с установлением общности имущества.

Возникший в первые же годы революции радикальный эгалитаризм во многих точках соприкасался уже с коммунистической идеологией. Руководитель «Социального кружка» Бонвиль, выдвигавший лозунг «социального равенства», ссылался для его обоснования на первоначальную общность имущества. Бабеф мечтал о

¹ A. Lichtenberger. Le socialisme et la Révolution française. Paris, 1898.

«совершенном равенстве» и отвергал частную собственность на землю. С самого начала революции с последовательной коммунистической программой выступали три выдающихся представителя коммунистической мысли — Ретиф де ла Бретон, Шапюи и Буассель. Сильвен Марешаль, Колинбон, Юпей, как и авторы некоторых анонимных брошюр, также не скрывали свою приверженность к коммунистическим идеалам².

Падение монархии и установление республики дало значительный толчок распространению социалистических и коммунистических идей. Весной 1793 г. радикальный эгалитарист Освальд³ от планов уравнительного землепользования переходит к идее совместной обработки земли и высказывается за сокрушение железного ярма собственности. Марешаль публикует свой теоретический трактат с резкой критикой хода революции и обоснованием общинного коммунизма. Ланж, исходя из практических предложений по кооперированию населения в целях борьбы с частной торговлей и спекуляцией, все более приближается к идеям «кооперативного» социализма. Коммунистические идеи начинают проникать и в провинцию. Уже в октябре 1792 г. из местечка Серрьер от Жака Сабаро поступает в адрес Конвента план коммунистического переустройства Франции.

Якобинская диктатура оказала самое непосредственное воздействие на развитие социалистической мысли. Мероприятия революционного правительства и прежде всего экономическая политика максимума с ее системой реквизиций и централизованного снабжения продовольствием показали на деле возможность государственного регулирования экономики. Такие распространенные в дни якобинской диктатуры идеи и представления, как обязанность всех граждан республики принимать участие в общественно-полезном труде, долг государства обеспечивать всем членам общества средства к существованию, «амбары изобилия», общие трапезы и т. п., содействовали выработке социалистического мировоззрения. Именно в период якобинской диктатуры Бабеф окончательно переходит на коммунистические позиции. Такие радикальные эгалитаристы, как Доливье, Кольмар, Борье, доходят до самой грани коммунизма, причем Борье открыто признает общность имущества основой наилучшего общественного устройства⁴. Многие, подобно Дюфурни де Вилье, приходили к убеждению, что в подлинной республике,

² См. А. Р. Иоаннисян, Коммунистические идеи в годы Великой Французской революции. М., 1966.

³ Об Освальде см. А. Р. Иоаннисян. Указ. соч., стр. 35—38.

⁴ О Борье см. А. Р. Иоаннисян. Указ. соч., стр. 77—83.

основанной на социальном равенстве, собственность также должна быть «социальной», а Греню считал коммунизм неизбежным конечным следствием системы максимума и провозглашал общность «великим принципом республики». Рядовые граждане и из столицы и из провинции высказывали критическое отношение к частной собственности и представляли даже развернутые проекты установления во Франции коммунистического строя, вроде «Изыскания во имя счастья свободного народа».

После термидорианского переворота, превратившего поступательный ход революции, коммунистические идеи продолжают распространяться. В годы Директории коммунизм становится уже программой политического движения, вошедшего в историю под названием «заговора во имя равенства».

Если после термидора коммунистическая идеология отождествляется прежде всего с именем Бабефа и находит свое наиболее яркое выражение в бабувизме, то до падения якобинской диктатуры наиболее выдающимся коммунистическим теоретиком и политическим деятелем был Франсуа Буассель.

Франсуа Буассель известен в исторической литературе как автор коммунистического трактата «Катехизис человеческого рода», опубликованного в 1789 г.⁵ Но дальнейшее развитие общественно-политических идей Буасселя и его политическая деятельность в годы революции оставались неизученными. Между тем в различных фондах Национального архива имеются обращения и письма Буасселя, как и другие относящиеся к нему многочисленные документы; там хранится и его обширный архив — бумаги, переписка, рукописи и черновики, конфискованные во время его ареста в 1795 г.⁶ Эти архивные документы, как и его работы, брошюры и памфлеты, дают возможность воссоздать картину политической деятельности и общественных взглядов Буасселя в период революции. В моей монографии, посвященной социалистическим и коммунистическим идеям в годы Французской революции⁷, приведены и подробно рассмотрены все эти материалы, относящиеся к Буасселю. Здесь я могу дать лишь краткое резюме его социальных воз-

⁵ См., например: C. Grünberg. Einige Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des modernen Sozialismus. I. François Boissel.—«Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft», Bd. 47, 1891. S. 207—252; J. Jaurès. Histoire socialiste de la Révolution française, t. VII. Paris, 1924, p. 99—111; В. П. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, стр. 390—392.

⁶ Archives nationales, T. 1557.

⁷ А. Р. Иоаннисян. Коммунистические идеи в годы Великой Французской революции, стр. 249—363.

зрений, почти совершенно не касаясь его разносторонней политической деятельности, очень интересной с точки зрения изучения некоторых проблем истории Французской революции.

Буассель пришел к революции с уже вполне сложившимся коммунистическим мировоззрением, изложенным им в «Катехизисе человеческого рода»⁸, в котором он осуждал существующий продажный, человекоубийственный и антисоциальный строй, основанный на частной собственности, и выдвигал идеал общности имуществ. С первых же дней революции Буассель развил бурную деятельность: он представил свой трактат Учредительному собранию⁹, разослал его многим политическим деятелям. В своих письмах и обращениях он указывал, что лишь осуществление социального равенства и ликвидация существующего общественного строя, основанного на собственности, может быть истинной целью революции. Уже 3 сентября 1789 г. в одном из своих писем он подверг резкой критике только что принятую Декларацию прав человека и гражданина, поскольку она не упраздняла основ общественного неравенства. Он писал, что эта Декларация является «лишь видоизменением средств, с помощью которых самые сильные и самые хитрые первоначально присвоили себе привилегии в ущерб более слабым и более легковверным», и требовал положить в основу конституции «Декларацию потребностей человека и средств их обеспечения».

Среди многочисленных бумаг Буасселя 1789—1791 гг. особый интерес представляют два его адреса Национальному собранию¹⁰, несколько мемуаров по различным текущим политическим вопросам, ряд обращений и писем по вопросу о судопроизводстве и судебной реформе, как и написанные в форме вопросов и ответов «Заметки о новой французской конституции». В 1790 г. Буассель опубликовал также свой проект новой конституции под названием «Гражданский кодекс Франции или факел свободы»¹¹. Все эти документы дают возможность составить надлежащее представление о его политической позиции и общественно-политической программе в начале революции.

Программа Буасселя отличалась прежде всего своим демократизмом. Буассель решительно осуждал любой ценз, предусматри-

⁸ «Le Catéchisme du genre humain», [Paris], 1789.

⁹ Archives nationales, D I, § 2, 1.

¹⁰ Archives nationales, D IV, 50, N 1440; «Adresse de l'auteur du Catéchisme du genre humain aux utiles et vrais Représentants de la Nation Française» (Bibliothèque nationale, Lb³⁹ 2245).

¹¹ «Le Code civique de la France ou le Flambeau de la liberté. Débié à la Fédération française». Paris, 1790 (Bibliothèque nationale, Lb³⁹ 3572).

вая наделение всех французов совершенно одинаковыми политическими правами и введение всеобщего избирательного права. Сохраняя монархическую форму правления, но лишая короля всякой реальной власти, Буассель предусматривал сосредоточение в руках единого Национального собрания не только законодательной, но всей исполнительной власти. Он последовательно проводил принцип сосредоточения всей власти в руках представителей народа, устанавливая выборность всех гражданских и военных должностей. Так уже в 1790 г. Буассель формулирует идею народного государства, резко противоречившую конституционным проектам Учредительного собрания.

Новый политический строй мыслился, однако, Буасселем в тесной связи с коренным общественным переустройством Франции и ликвидацией старого общественного строя. Под «старым режимом» Буассель подразумевал отнюдь не только абсолютистско-феодальные порядки, а весь, веками существовавший, социальный строй, основанный на частной собственности и общественном неравенстве. Упразднение этого «старого режима» и представлялось ему основной целью революции. Причину того, что все предыдущие революции оканчивались поражением, что другие народы, завоевавшие в прошлом свободу, не могли ее удержать, он видел в сохранении общественного строя, основанного на собственности. Французской революции суждена та же участь, если она не добьется упразднения подобного строя. Такова должна быть поэтому ее главная, основная цель. Задача новой конституции — обеспечить достижение данной цели.

Исходя из этого, в конституционном проекте Буасселя предусматривается осуществление целого ряда мероприятий: провозглашается обязанность всех граждан заниматься каким-либо полезным для общества трудом; государство берет на себя заботу о нетрудоспособных; создаются общественные мастерские и дома призрения; «бюро контроля» муниципалитетов устанавливают надзор за правильным использованием земель и деятельностью всех граждан. Государство берет на себя регулирование собственности, и собственники обязаны не только подчиняться этому регулированию, но и выплачивать все налоги. Поступления от этих налогов используются для вознаграждения за физический и умственный труд, для перестройки городов и деревень и других аналогичных целей, т. е. для улучшения условий существования граждан-несобственников, живущих своим трудом. Все эти многочисленные мероприятия преследуют цель подготовить полную ликвидацию старого режима и его основы — частной собственности. Для этого вводится также всеобщее единое национальное

воспитание, задача которого — воспитать молодое поколение в духе новых социальных идеалов. В результате с течением времени продажный, человекоубийственный и антисоциальный строй будет полностью упразднен и новое поколение будет жить уже в условиях коммунизма.

Буассель не скрывал своих симпатий к обездоленным народным массам. Если раньше, говоря об угнетении народа, он прежде всего клеймил «ненасытный эгоизм высшего духовенства и высшей знати», то теперь, приветствуя конфискацию земель духовенства и упразднение сословных привилегий, он уже по-иному характеризовал господствующую верхушку общества. Он говорил о «классе богачей и спекулянтов», «классе крупных собственников и спекулянтов, особенно в крупных городах», жиреющих и обогащающихся за счет всех видов труда и таланта. Этому «классу бездельников» он противопоставлял наиболее трудолюбивый, полезный и многочисленный класс общества, «класс бедных», «класс граждан, обеспечивающих себе средства существования своим трудом и своим промыслом», «наиболее ценный класс», который составляют «люди таланта, рабочие, земледельцы». Буассель решительно защищал народ от обвинений в анархии и убийствах, разоблачая козни его врагов. Он призывал проявлять терпение и благоразумие, даже в случае эксцессов со стороны народных масс, и считал первоочередной необходимостью удовлетворить их насущные нужды, обеспечить им возможность жить своим трудом. В противном случае он считал вполне правомерной их расправу с крупными собственниками и спекулянтами. Он требовал немедленно положить конец денежной спекуляции, прекратить выплату процентов по государственному долгу, установить способ обложения, наиболее благоприятный для неимущего народа. Именно в интересах этого самого трудолюбивого и многочисленного класса общества Буассель выдвигал свой план демократического народного государства, облагающего собственников налогом в пользу людей труда, исправляющего ущерб, нанесенный собственностью, и способного подготовить окончательное упразднение строя, основанного на общественном неравенстве.

Уже в 1790 г. Буассель вступил в Якобинский клуб, трибуну которого пытался использовать для публичной пропаганды своих идей. В его архиве сохранился полный текст речи, произнесенной им в Якобинском клубе 29 марта 1791 г., в прениях по вопросу о предоставлении королю права назначать министров. Резко возражая против этого предложения, как и против права вето и цивильного листа, Буассель призывал установить такие политические порядки, которые были бы способны обеспечить торжество нового

социального строя, основанного на подлинном равенстве и общем счастье, и предвещал грядущую Эпоху Счастья¹². Так с трибуны Якобинского клуба Буассель открыто провозглашал коммунизм конечной целью революции. Неудивительно, что его выступления в клубе в 1790—1791 гг. встречали крайне враждебный прием. На заседании 29 марта он закончил свою речь среди самого невообразимого шума. Еще до этого, 26 ноября 1790 г., его силой заставили покинуть трибуну.

После Вареннского кризиса Буассель одним из первых открыто перешел на республиканские позиции, потребовав в своем мемуаре от 30 июня и своем обращении к Якобинскому клубу 6 июля 1791 г. упразднения королевской власти, как несовместимой с новым порядком вещей. Одновременно он все более усиливал свои нападки на Учредительное собрание, обвиняя его в «декретировании контрреволюции». 16 июля он роздал печатное «уведомление», в котором требовал его роспуска, называя депутатов предателями и клятвопреступниками.

На выборах в Законодательное собрание Буассель попытался выдвинуть свою кандидатуру. В своем обращении к избирательному собранию Парижского департамента¹³ он ссылаясь на свои работы, в том числе на «Катехизис человеческого рода» и «Гражданский кодекс», и указывал, что его целью как депутата было бы способствовать осуществлению средств, необходимых для достижения Всеобщего счастья, т. е. для установления нового социального строя.

С осени 1791 г. Буассель развертывает кампанию за пересмотр конституции и за установление основанного на народном суверенитете демократического образа правления как необходимой предпосылки перехода к новому общественному строю. Кульминационным моментом этой кампании явилось представление им Законодательному собранию 13 марта 1792 г. «Адреса французской нации»¹⁴. В этом «Адресе» Буассель заявлял, что нация была предана и продана, что Франция никогда не станет свободной, пока существуют новые цепи, выкованные вместо старых. Он резко выступал против политического строя, установленного Учредительным собранием, а также против провозглашения собственности естественным правом человека. Он требовал устранения со всех общественных должностей лиц, связанных со старым режимом, обосновывал право народа отзываться депутатов, высказывался за прямой контроль народа над деятельностью Национального

¹² Archives nationales, T. 1557.

¹³ Archives nationales, B I, 11.

¹⁴ Archives nationales, AD I, 68.

собрания, департаментских властей, муниципалитетов, всех административных и судебных органов. Он недвусмысленно призывал к свержению монархии и угрожал Законодательному собранию восстанием народа. Неудивительно, что этот «Адрес» вызвал в Законодательном собрании бурю негодования. Депутаты обрушились на Буасселя, называя его негодяем, предлагали отправить его «Адрес» общественному обвинителю. Буассель, однако, не думал сдаваться, он посылал еще более резкие обращения в адрес Якобинского клуба и пытался поставить свой «Адрес» на обсуждение общих собраний парижских секций.

Народное восстание 10 августа 1792 г., низвергшее монархию, застало Буасселя на боевом посту. Избранный в состав новой революционной Парижской коммуны от своей секции Палэ-Рояль, он как представитель Коммуны принял активное участие в различных обысках и допросе арестованных контрреволюционеров¹⁵.

При выборах в Конвент Буассель вновь официально представил Парижскому избирательному собранию свою кандидатуру. В своем «обращении к избирателям»¹⁶ он открыто провозглашал свою коммунистическую программу, указывая, что все существовавшие до настоящего времени человеческие институты были противоестественны и что необходимо установить лучший порядок вещей. Выдвижение Буасселем своей кандидатуры в депутаты при выборах в Законодательное собрание и Конвент представляет особый интерес, так как это была первая в истории попытка выдвижения «красной» кандидатуры, кандидатуры в депутаты с социалистической программой.

Сразу же после открытия Конвента Буассель преподнес ему 400 экземпляров второго издания «Катехизиса человеческого рода», заявляя в своем обращении, что в настоящее время, когда перед Конвентом стоит вопрос об установлении истинного социального порядка, представителям народа необходимо проникнуться принципами, содержащимися в этой работе.

С осени 1792 г. Буассель стал принимать все более активное участие в деятельности своей секции Мельничного холма (бывшей секции Палэ-Рояль) и в выступлениях парижских секций¹⁷. Другим центром политической деятельности Буасселя был Якобинский клуб, где он все чаще выступал против жирондистов¹⁸. В декабре

¹⁵ Archives nationales, F⁷, 4390^A.

¹⁶ Archives nationales, B I, 17.

¹⁷ См., например: Archives nationales, C, 237.

¹⁸ «La Société des Jacobins. Recueil des documents pour l'histoire du club des jacobins de Paris». Par F. A. Aulard. Paris, 1889—1895, t. IV, p. 442, 550, 645—646, 668, 680; t. V, p. 42, 125, 168 et suiv.

Буасселя избрали архивариусом клуба или, точнее, председателем Комитета архивов.

Являясь членом Комитета по конституции Якобинского клуба, Буассель 17 февраля 1793 г. выступил в клубе при обсуждении проекта конституции. Заявив, что проект Декларации прав «является лишь видоизменением старого порядка вещей и освящает интерес присваивать лишь себе, вместо того, чтобы присваивать лишь государству», он изложил свой собственный проект, содержащий все его основные социалистические принципы. 22 апреля в ответ на проект Декларации прав, представленный накануне Робеспьером, Буассель зачитал своей Декларации прав санкюлотов.

К концу апреля вышло из печати новое произведение Буасселя — «Беседы отца Жерара о политической конституции и революционном правительстве французского народа»¹⁹. Вместе с сохранившимися в его архиве многочисленными черновиками, рукописями, обращениями и письмами, относящимися к этому периоду, работа знакомит нас с его новой политической программой, разработанной им весной 1793 г.

Французскую революцию Буассель рассматривал теперь как классовую борьбу между «порядочными людьми» и санкюлотами. Под этим углом зрения он оценивал и обстановку, сложившуюся во Франции после провозглашения республики. Обстановка эта характеризовалась, по его мнению, борьбой не на жизнь, а на смерть между «порядочными людьми», стремившимися из любви к собственности и богатству сохранить старый порядок вещей, прежний общественный строй, и санкюлотами, хотевшими установить новые общественные порядки. С этой классовой борьбой Буассель и связывал политическую борьбу между жирондистами и якобинцами. Интересно, как он пытался увязать даже текущие политические лозунги, такие, как лозунг единой неделимой республики, как обвинение жирондистов в «федерализме» с борьбой «порядочных людей» и санкюлотов по вопросу об общественном устройстве Франции. «Федерализм» он трактовал, как стремление «порядочных людей» и их политических представителей — жирондистов все разделить и изолировать, вплоть до отдельных лиц, сохранить старый общественный строй, основанный на противоречии интересов и всеобщей войне друг с другом. Лозунг же единой, неделимой республики он связывал с созданием нового коммунистического общества, так как только общественный строй, гарантирующий всеобщее счастье, сплачивающий людей в единую семью,

¹⁹ «Les entretiens du père Gérard sur la constitution politique et le gouvernement révolutionnaire du peuple français» (Bibliothèque nationale, Lb⁴¹, 2882).

все члены которой совместно трудятся ради общего блага, способен обеспечить подлинное единство и неделимость республики.

Выход из сложившегося положения Буассель видел в «святом восстании» санкюлотов и в установлении ими временного революционного правительства до полного торжества «нового порядка вещей», нового коммунистического общественного строя. Это революционное правительство должно было быть ничем иным, как революционной диктатурой санкюлотов.

В своей рукописи, посвященной изложению и анализу этапов развития Французской революции, Буассель следующим образом сформулировал эту мысль: «Эта политическая конституция или этот образ правления для поддержания свободы, равенства, естественных и неотъемлемых прав человека, единства и неделимости республики, не может не быть временным до эпохи полного возрождения человеческого рода. Этот образ правления, говорю я, может быть установлен лишь санкюлотами, руководимыми светочем их народных обществ, так как, будучи менее испорченными старым порядком вещей и наиболее пострадавшими от него, они более годны, более способны и имеют большие права предписать его»²⁰.

Восстание санкюлотов должен возглавить Революционный семейный совет, проводящий чистку Конвента и всех органов власти и назначающий новых депутатов Конвента взамен исключенных. За этим последует чистка первичных собраний с исключением всех подозрительных лиц; лишь прошедшие эту чистку санкюлоты, преданные революции, получают удостоверения о гражданских правах; очищенные таким образом первичные собрания превращаются в народные общества. Только пользующиеся гражданскими правами санкюлоты могут и должны быть вооруженными, а лица, лишенные гражданских прав, обязаны немедленно, под угрозой ареста, сдать все оружие. Народные общества выбирают всех должностных лиц, членов местных органов власти и депутатов Конвента, подотчетных им и находящихся под их непосредственным контролем. Следует при этом отметить, что в состав народных обществ, по плану Буасселя, не входят все санкюлоты, пользующиеся гражданскими правами. Членами народных обществ могут быть лишь признанные и испытанные санкюлоты, способные своими познаниями служить общественному делу, т. е. лишь самые передовые, закаленные и сознательные революционеры. Остальные санкюлоты могут лишь присутствовать на заседаниях народных обществ, принимая, однако, участие в выборах должностных лиц и депутатов, т. е. используя свое избирательное право; но

²⁰ Archives nationales, T. 1557.

выбранными могут быть лишь члены народных обществ. Таким образом, народные общества, возглавляемые Якобинским клубом в Париже, являются, согласно проекту Буасселя, передовым отрядом санкюлотов, руководящим всей политической жизнью страны и контролирующим все революционные органы власти.

Необычайно интересно отметить также следующее. Буассель, конечно, хорошо знал, что в состав санкюлотов входят не только лица, лишенные собственности, но и мелкие собственники. Поэтому, говоря о Конвенте и его комитетах, руководящих всеми отраслями управления, он специально предусматривал, чтобы в состав этих комитетов, в частности в состав комитетов по продовольствию, сельскому хозяйству и торговле, входило минимальное количество собственников, т. е. чтобы абсолютное большинство членов состояло из лиц, не обладающих собственностью. Тот же принцип он считал необходимым применить и при комплектовании всех органов местной власти²¹. Таким образом, Буассель совершенно недвусмысленно стремился обеспечить преобладание в органах революционного правительства санкюлотов-несобственников.

Основная задача революционного правительства санкюлотов — подготовить постепенный переход к новым общественным порядкам, так как собственность, как противоестественный институт, причинивший столько бед, не может быть истинной основой общества. Как и раньше, Буассель прекрасно понимает невозможность немедленного упразднения частной собственности, особенно земельной собственности крестьян. Поэтому, развивая свои прежние взгляды, он выдвигает следующую программу. Революционное правительство должно сразу же установить полный контроль над собственностью, в частности — земельной. Обязательная обработка земель под надзором республиканских властей, сдача всего урожая государству, распределение продовольствия по утвержденному Конвентом общегосударственному плану, полное подавление спекуляции — таковы должны были быть ближайшие мероприятия революционного правительства. Собственники ограничивались в своих правах, лишались права свободного распоряжения своей собственностью в ущерб общественным интересам. В случае нарушения революционных законов они должны были подвергаться суровым наказаниям, вплоть до смертной казни, а их земли конфисковаться в пользу коммун. Одновременно революционное правительство должно было ввести обязательную трудовую повинность для всех граждан республики, организовать общественные мастерские и дома призрения для нетрудоспособных. Все эти мероприя-

²¹ Archives nationales, T. 1557.

тия имели целью подорвать устои собственности, упразднить ее наиболее вредные общественные последствия и подготовить почву для ее полной ликвидации. Единое национальное воспитание молодого поколения должно было создать необходимые материальные (обучение всех будущих граждан различным видам труда) и морально-идейные предпосылки для последующего перехода к коммунизму.

Политическая программа Буасселя, разработанная им весной 1793 г., представляет двойной интерес. В период ожесточенной борьбы между жирондистами и якобинцами он одним из первых выступил с требованием установления революционной диктатуры для успешной борьбы с внутренними и внешними врагами республики. Многие из предложенного им предвосхищало организационные формы и практику якобинской диктатуры. Он предлагал установить революционное правительство, центром которого являлся бы Конвент с его комитетами. Он требовал вооружить народ, арестовывать и сурово наказывать всех врагов революции, поставить во главе администрации и армии преданных революционеров для самой беспощадной борьбы с внутренними и внешними контрреволюционерами, подавить ажиотаж и спекуляцию, ввести реквизицию зерна и государственное распределение продовольствия. Уже в начале 1793 г. Буассель предвосхищал то, что еще не было ясно для многих руководителей якобинцев и к чему они постепенно пришли лишь с осени этого года. Буассель имел поэтому полное право в дальнейшем утверждать: «Я дал план революционного правительства, которое установили и организовали приблизительно лишь год спустя»²².

Но политическая программа Буасселя не являлась простым предвосхищением якобинской диктатуры. Его проект революционного правительства санкюлотов выходил далеко за пределы революционного правительства, установленного в 1793—1794 гг. якобинцами. То был план революционной диктатуры общественных низов в целях полной ликвидации существующего общественного строя, основанного на собственности и социальном неравенстве. Именно поэтому план этот предусматривал такие мероприятия, которые не были и не могли быть осуществлены якобинцами: предоставление гражданских прав, в том числе и права носить оружие, лишь санкюлотам, с лишением этих прав и разоружением всех представителей общественной верхушки, ликвидацию первичных собраний и сосредоточение всей власти в руках народных обществ, избрание на все общественные должности лишь членов этих об-

²² Archives nationales, T. 1557.

шество, преобладание в органах революционной власти санкюлотов-несобственников, конфискацию земельной собственности в пользу коммун и т. п. Все это шло уже значительно дальше якобинской диктатуры и предвосхищало проекты бабувистов.

В политической программе Буасселя 1793 г. содержится неоспоримо ряд основных положений бабувизма: идея об установлении революционной диктатуры общественных низов в целях построения коммунистического общества; установление государством полного контроля над собственностью и всей экономической жизнью страны; сочетание экономических мероприятий по ограничению собственности с национальным воспитанием молодого поколения в целях последующего установления коммунистических порядков.

Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. преисполнило Буасселя энтузиазмом. Он принял самое непосредственное участие в решающей борьбе за изгнание жирондистов из Конвента. Летом и осенью 1793 г. он также активно участвовал в политической жизни. Буассель неоднократно выступал по продовольственному вопросу, требуя вместе с левыми якобинцами Венсаном, Шометтом и другими самых суровых мер для подавления спекуляции и обеспечения бесперебойного снабжения Парижа продовольствием. В Якобинском клубе он настойчиво боролся за чистку государственных учреждений и армии от контрреволюционных элементов (к числу которых причислял не только бывших дворян, но и всех богатых людей) и за репрессивную расправу с врагами народа²³.

В первые месяцы после установления якобинской диктатуры Буассель еще надеялся, что революционное правительство, пришедшее к власти в результате «третьего народного восстания», превратится в конечном счете в то революционное правительство санкюлотов, о котором он мечтал, что якобинская республика явится тем истинным республиканским строем подлинного равенства и братства, который полностью ликвидирует «старый порядок вещей», основанный на собственности. Эта его надежда выражена во многих написанных им в то время документах: в черновом наброске «Проект универсальной конституции и временного правительства Французской республики», в письме к Давиду и во многих других.

Наиболее интересными являются разработанные им летом 1793 г. проекты различных декретов и постановлений. Воспользо-

²³ «Adresse des citoyens républicains de Paris à leurs frères des départements et des armées. Imprimé aux frais de la République le 9 juillet 1793» (Bibliothèque nationale, Lb⁴¹, 3150); «La Société des jacobins», t. V, p. 224—225, 244, 267, 310, 324, 375, 387, 409, 420, 456—457.

вавшись собранием комиссаров секций, заседавшим в здании Епископства с 31 июля по 25 августа, т. е. новым секционным движением в Париже, Буассель предпринял попытку осуществить через это собрание представителей секций свою политическую и экономическую программы. Он разработал целую серию проектов постановлений, предусматривавших чистку секций и превращение их в революционные народные общества, лишение всех лиц, враждебных «новому порядку вещей», гражданских прав, провозглашение всех земельных собственников депозиторами хлеба, подотчетными государству, государственное распределение продовольствия и т. п. Все эти проекты, вместе с разработанными им еще до этого проектом декрета о чистке Конвента и установлении революционного правительства санкюлотов, представляют исключительный интерес. Буассель был первым, кто еще до бабувистов попытался придать форму законодательных актов своим проектам установления и организации революционной диктатуры, предназначенной обеспечить переход к новому социальному строю.

В ноябре 1793 г. Буассель был исключен из Якобинского клуба и восстановлен в нем лишь некоторое время спустя. Постепенно все усиливалось его разочарование режимом якобинской диктатуры. В своем письме к Сен-Жюсту от 26 жерминаля II года (15 апреля 1794 г.) он писал: «В демократическом государстве власть не может существовать вне закона, и те, кого ты называешь властями, являются лишь общественными служащими, получающими или не получающими жалование, которые вследствие этого могут иметь лишь обязанности, кои они должны выполнять. Если бы было иначе, существовал бы, как при старом режиме, разряд лиц, стоящих над общим классом народа, что не может согласоваться с основными принципами свободы, равенства и братства». Буассель, как видим, противопоставлял уже свои политические принципы, свое представление о революционном правительстве принципам и практике якобинской республики, органы власти которой все более принимали самодовлеющий характер и все более утрачивали связь с массовыми народными организациями.

Мы не можем, хотя бы кратко, остановиться здесь на политической деятельности Буасселя после термидора, когда он самоотверженно боролся против термидорианской реакции, гневно разоблачал термидорианцев, страстно осуждал в своих новых памфлетах²⁴ социальный строй, в условиях которого «нужно, чтобы бездельники определяли участь трудящихся, чтобы богатый собственник

²⁴ «La Régence de Pitt, dévoilée et dénoncée en prose rimée, tant bien que mal, par un ennemi du système de sang, chassé des jacobins et échappé à la guillotine». — Archives nationales, AF III, 269.

имел исключительную привилегию создавать в конечном счете благосостояние или нужду, делать зло или добро себе подобному, ничего не имеющему, а самому жить, ничего не делая». Мы не имеем возможности рассказать о той политической деятельности Буасселя после термидорианского переворота, которая привела к его аресту в феврале 1795 г. и заключению в тюрьму Форс.

Подведем лишь некоторые итоги.

Выступив накануне революции с теоретическим коммунистическим трактатом, Буассель разработал в годы революции конкретную политическую программу, предусматривавшую построение коммунистического общества как конечную цель революционного переустройства Франции, установление нового социального строя, основанного на общности имущества и общем труде. Не строя при этом иллюзий о возможности немедленного осуществления коммунизма, Буассель намечал постепенный переход к коммунизму, переходный период, необходимый для достижения этой цели. Программу эту, которую он все более развивал и конкретизировал, Буассель активно выдвигал и пропагандировал в течение всего периода революции.

Борьбу за завершение революции, за построение нового общества Буассель рассматривал как общественно-политическую классовую борьбу. От исхода этой борьбы и зависела, по его убеждению, судьба революции. Лишь установление революционного правительства санкюлотов, их революционной диктатуры, могло, по его мнению, обеспечить решение основного вопроса революции — ликвидацию «старого порядка вещей» и дальнейший переход к коммунизму. Тем самым Буассель выступает как один из основоположников революционно-коммунистического течения периода Французской революции, которое нашло свое наиболее яркое проявление после термидора в заговоре Бабефа.

Это революционно-коммунистическое течение в социально-экономических условиях конца XVIII в. неизбежно носило еще утопический характер. Буассель, как и бабувисты, не мог еще в силу этих условий составить себе четкое представление о классовой структуре общества, раскрыть законы его развития. Представление Буасселя, как и представление бабувистов, о коммунизме носило еще черты грубой уравнительности. Если Бабеф считал необходимым обеспечить всем совершенно равные личные доли и «не более чем достаток», то и Буассель рассматривал как главную задачу общества обеспечить всем гражданам «все необходимое для самой умеренной жизни».

Подобный характер революционного коммунизма эпохи Французской революции не умаляет, разумеется, его огромного истори-

ческого значения. Это полностью относится и к Буасселю как одному из основоположников этого течения, сыгравшего такую большую роль и в политической жизни Франции и в истории общественной мысли.

Изучение политической деятельности и идейного наследия Буасселя дает возможность уточнить наши представления о якобинском блоке. Известно, что якобинский блок носил неоднородный характер. Он объединял всех революционеров-демократов — радикальных буржуазных деятелей, мелкобуржуазных революционеров, плебейских идеологов. Среди последних были не только сторонники эгалитаризма, как обычно принято думать, а и лица, стоявшие уже на коммунистических позициях, выдвигавшие уже идеал республики без частной собственности и общественного неравенства. Таковым был архивариус Якобинского клуба Франсуа Буассель. В идейном отношении на самом левом фланге якобинского блока находились, таким образом, не деятели типа Эбера и Шометта, не шедшие дальше идей эгалитаризма; самую левую идейную позицию среди якобинцев занимал Буассель.

После термидора в рядах последних монтаньяров остаются наиболее радикальные, демократические деятели, часть которых переходит затем на коммунистические позиции и вливается в бабувистское движение. Знаменательно, что в последние недели существования Якобинского клуба его вице-председателем был избран именно Буассель. Буассель еще в годы революции как бы воплощал ту связь между якобинством и революционным коммунизмом, которая установилась в период Директории и нашла свое организационное выражение в заговоре Бабефа.

ОТ ТЕРМИДОРА ДО БРЮМЕРА: РЕВОЛЮЦИЯ ГОВОРИТ О САМОЙ СЕБЕ



М. Озуф

Та печать ретроспективности, которая характерна для больших дебатов термидорианского Конвента, уже отмечалась ранее. Поглощенное заботою об очищении своего прошлого, Собрание старается изгнать неотступно преследующие его призраки и главным образом два из них: призрак Робеспьера и призрак Капета. Это особенно хорошо дает почувствовать Колло 4 жерминаля III года при открытии дебатов по делу четырех представителей монтаньяров: «Она здесь, тень Капета, она парит над вашими головами и считает их. Вы, приговорившие его к смерти, вы первыми будете отмечены; а вы, те, кто не спасли его, вы не замедлите последовать за первыми...»

То, что в крупных политических дискуссиях (таких, как эти дебаты жерминаля III года или шедшие в вантозе прения о восстановлении депутатов-жирондистов) находит отражение представление депутатов Конвента об истории революции и об их собственном месте в этой истории,—неудивительно. Более знаменательно видеть, как упоминания о революционных событиях недавнего прошлого возникают снова и снова даже в дебатах по второстепенным вопросам, например об учете серебряной утвари в церквях или о пенсиях литераторам. Еще интереснее наблюдать, как до конца Директории Собрания, несмотря на все свои усилия, не могут избавиться от навязчивых воспоминаний: затянувшиеся прения VII года о присяге для национальной гвардии раздуваются в Советах до того, что приходится переворосить все воспоминания о революции.

Однако самый интересный материал для изучения нашей темы — это речи депутатов, посвященные празднествам. Праздновать исторические даты — это значит закреплять и заново переживать события. В своих речах депутаты говорят французам, какие именно воспоминания о революционном прошлом они должны сохранить и как им надлежит вспоминать об этом. Поводов для такого рода выступлений было очень много: в первую очередь, конечно, большие революционные годовщины, но также и дебаты о гражданских учреждениях, о декадных праздничных днях или постоянные рассуждения о возрождении общественного духа, которые являлись навязчивой идеей в послетермидорианскую эпоху. Из этой массы речей, предложений к порядку дня, «мнений», «соображений», напечатанных по постановлению Собраний, мы в конечном счете выделили все те, которые посвящены празднованию крупных революционных событий: их оказалось ровно сто пятьдесят.

Следует отметить характерную черту этих речей. В большинстве случаев в них говорится не о реально проведенных, а о предполагаемых праздниках или о праздниках, которые состоялись, но, по мнению выступающих, прошли совершенно не так, как надо. Поэтому ораторы злоупотребляют будущим временем и условным наклоном, они постоянно говорят о том, что «надо будет» или что «надо было бы» сделать по случаю празднования очередной победы или годовщины смерти короля.

Такой «условный» характер изученных нами речей несколько не уменьшает их ценности как исторического источника. Напротив, ораторы охотнее и подробнее говорили о том, что они желали бы видеть, чем о том, что в действительности было у них перед глазами. Правда, в этих выступлениях отсутствовал элемент импровизации. Но в ораторском искусстве времен Великой французской революции письменный текст всегда занимал господствующее положение. Кроме того, такая заранее подготовленная речь показывает нам тот образ Революции, который она сама хочет о себе сохранить, лучше, чем свободная импровизация.

Среди ораторов термидорианского Конвента, понятно, очень мало бывших монтаньяров. Выступают примерно в равном числе депутаты Равнины и люди, связанные с Жирондой. Первые упорно стремятся использовать празднества в качестве тормоза, гарантирующего Революцию от бесконечного повторения революционных потрясений. Вторые же очень сдержанны в упоминании своего собственного политического прошлого. Став режиссерами истории революции, эти бывшие актеры больше склонны забывать, чем помнить: очень редко в их речах находишь воспоминания о массовых осуждениях, тайных убежищах, где приходилось скрываться, «тех

долгих, тревожных, мучительных ночах, когда с глазами, закрытыми для сна, с ухом, открытым для всякого крика доносчика, для всякого шага убийцы, наши несчастные коллеги столь долгое время претерпевали смерть»¹. Чаще всего эти лица довольствуются напоминанием о том, что восемнадцать месяцев монпаньярской диктатуры «заклучили в себе все преступления двадцати столетий тирании».

Те же самые люди сохраняют интерес к воспоминаниям и в Советах времен Директории. Здесь больше всего ораторов представляет бывшую Жиронду. Что касается тех членов обоих Советов, которые не были раньше депутатами Конвента, то из их числа, как и следовало ожидать, об ознаменовании памяти революционных событий заботятся главным образом республиканцы, а не реакционеры. Такие люди, как Дебри, М. Ж. Шенье, Буле де ла Мэрт, Ж. Б. Леклерк, Дону, Эшасерио, Лантена и другие, постоянно поднимаются на трибуну, как только речь идет о революционных праздниках. Они же систематически берут слово при обсуждении вопросов о школах, начальных и центральных², о преподавании иностранных языков, о театрах и культах, с республиканской морали. Такое совпадение показывает, что для всех этих людей праздники в ознаменование прошлых событий — это школа гражданственности, их основная установка — воспитательная.

Существуют две категории революционных праздников. Праздники Молодости, Супругов, Старости, Земледелия — это праздники природы. Их очарование — в их всеобщности. Тот, кто хотел бы от них отвернуться, отступил бы от законов человечности: если «холодный холостяк» или человек бессердечный их игнорирует, это не важно. С другой стороны, такие моральные праздники вряд ли даже следует считать национальными: ведь и деспотизм мог бы их соблюдать. Это обстоятельство делает их менее ценными для сердца республиканца.

Зато праздники в ознаменование революционных событий — это как бы речь Французской революции о самой себе. Только народ свободы может торжественно праздновать великие моменты

¹ Dusaulx, député de Paris, frimaire an III. Прения в Конвенте и Советах времен Директории см. в: «Réimpression de l'ancien Moniteur». Paris, 1850—1854. (Здесь и в дальнейшем в ссылках на тексты Конвента будет даваться только дата представления. В текстах Директории сверх даты указывается соответствующее Собрание: Пятисот или Старейшин.)

² Центральные школы были учреждены Конвентом для преподавания естественных, математических и гуманитарных наук. После учреждения университетов эти школы были превращены в коллежи и лицеи (*прим. перев.*).

своего возрождения³. Но как бы они ни были связаны со стремлением сохранить революционную преемственность, коммеморативные праздники не обладают естественной всеобщностью моральных праздников, и это вызывает несколько ностальгические настроения у людей, научившихся у Руссо противопоставлять аристократическому празднику модель праздника, который объединил бы весь народ⁴. В самом деле, победы, которые чествует революционная память, предполагают наличие побежденных. Стало быть, в исторических праздниках есть элемент раскола: они утверждают исключение кого-то и, раздражая их, имеют тенденцию увековечить этот раскол. Обоснование этих праздников поэтому — дело не бесспорное. Наконец, организация подобных праздников с течением времени требует всяких изменений больше, чем прославление верных супругов или добродетельных старцев. Ибо рассказы о событиях прошлого изменяются, и эти изменения подчеркивают ту зависимость, в которой рассказ об истории находится от переживаемой или проектируемой истории.

ПАМЯТЬ БЕЗ ИСТОРИИ

Большинство ораторов сходятся в одном: при помощи празднеств надлежит сохранить память о Революции. Для детей республиканцев праздники будут отражением всей истории Революции⁵: прогрессирующие успехи свободы, победы армий, создание учреждений, образующих общественный порядок. Да и взрослый найдет, чему поучиться в памятных обрядах⁶.

Исторический обряд, перенося прошлое в настоящее, сообщает последнему достоинства первого. До Брюмера все еще ожидают чудес от напоминаний о 14 июля, как если бы это обращение к на-

³ «Французская нация не нуждается (для установления своих праздников) в иностранной помощи. Хотя ее предки пользуются громкой известностью, нынешнего момента вполне достаточно для ее славы. Не прошло и пятилетия, а уже тысяча выдающихся событий вписана в летописи ее славы» (Baraillon, 15 nivôse an III).

⁴ См. Ж.-Ж. Руссо. Избр. соч., т. I. М., 1961, стр. 65—177 («Письмо к Даламберу о зрелищах»).

⁵ «Ребенок прочтет там (на празднике) имена и описания подвигов героев, его душа пропитается там любовью к родине и к добродетелям» (Daubermesnil, Cinq-Cents, 7 floréal an IV).

⁶ И даже наряду со школами, учрежденными для детей, республиканские праздники — подлинные школы для взрослых. «Ибо там образ получает воплощение, исполненный жизни пример становится самым красноречивым учителем. Таким образом, все возрасты успешно будут просвещаться» (Heurtault-Lamerville, Cinq-Cents, 28 messidor an VI).

чалу должно было стать неким новым крещением для гражданина.

Таковы открыто провозглашаемые мотивы. Есть и другие. Если судить по словарю этих торжеств, цель праздников чисто охранительная: речь идет только о сохранении, об увековечении. Однако воспоминание, не поддержанное никакой перспективой, задыхается. Призыв к памяти должен отвечать какому-то представлению о будущем. Но организаторы праздников считают, что за ними должны следовать дни, представляющие исключительно только повторение: такова функция присяги, этого сердца революционного праздника, придающая ему, по контрасту с фривольною мгновенностью аристократического праздника, серьезный характер. Но что такое присяга, как не обещание, что завтрашний день будет похож на сегодняшний? Следовательно, назначение праздника в том, чтобы осуществить великую надежду термидорианского Конвента и Директории: положить конец Революции⁷. Именно поэтому некоторые ораторы предлагают провозгласить общенациональным праздником день 9 термидора: «Какой это полезный урок — 9 термидора! Стало быть, есть в Революции предел, за который нельзя перейти!»⁸

Но уверенность в том, что 9 термидора представляет собою последнее звено революционной цепи, не всеми разделяется в равной мере. Особенно, когда жерминаль, а затем прериаль показали, что предместья способны еще создавать новые события. Но не важно. Можно придать этой развязке ту видимость, которой ей недостает: можно *сделать* ее последним революционным событием. Вот это-то волевое и произвольное заключение и должен воплотить, самым точным образом, памятный праздник. Ибо, чтобы выйти из полосы волнений — эта навязчивая тема придает единство всем речам, — необходимы два условия. Во-первых, надлежит принять прошлое Революции и объявить его необратимым. Исторический праздник, узаконяющий беззаконие, есть некая гарантия. Он не позволяет идти назад, он исцеляет от расслабляющей мысли, что жертвы, принесенные героями, могли быть напрасными⁹. Он

⁷ В своей речи от 22 нивоза III года Лантена утверждает, что именно в праздниках Конвент должен почерпнуть «силу и средства» для того, чтобы положить конец Революции. Это также тема «Refléxions sur le moment présent», сочинения, предложенного Феликсом Ле Пельтье Национальному Конвенту во флореале III года: надо посредством праздников, «без кризисов, без судорог, подвести республиканскую революцию к цели, которую мы ей наметили».

⁸ Laveaux. Anciens, 7 thermidor an VI.

⁹ «Я клянусь долгом и честью в том, что мы никогда не пойдем назад к какому-либо виду тирании. Кровавое ярмо Террора не будет больше

дает эту гарантию всем тем людям, которые безвозвратно связали свою судьбу с судьбою Революции и которых Председатель Совета Старейшин перечислил в своей речи по случаю праздника 1 вандемьера: приобретатели национальных имуществ и «все те, кого собственность или сельское хозяйство привязывают к земле Франции: многочисленный, полезный и достойный уважения класс, имевший счастье пройти через Революцию»¹⁰. Но если для успокоения этих людей необходимо спасти прошлое, то нужно также обещать и некое будущее без судорог и даже без событий, которые, дополняя Революцию, угрожают вывести ее из равновесия. Тут рисуется будущее без происшествий, в виде какого-то спокойного созревания, где изменения имеют не исторический, а некий биологический характер.

Таким образом, чтобы заключить Революцию и освободить будущее от его угрожающей неопределенности, самым неотложным делом было раз и навсегда установить, как следует излагать революционные события. Если удастся навязать «сугубо подвижной» нации некое общее истолкование ее прошлого, все будет достигнуто¹¹. Организаторы исторических праздников отдают себе отчет в трудности этой задачи: «...природа революционных времен такова, что очень трудно маневрировать против бури и строить для спокойного времени»¹².

Фиксировать рассказ — значит совершить выбор. Но как выбрать среди множества событий Революции? В отличие от летописей, рассказывающих обо всем, что задевает человеческое любопытство, праздники обращены только к чувствительности. Если б они говорили обо всем, они не достигли бы своей цели. Ибо в то время, как Старый режим настолько ушел в прошлое, что память людей уже не видит больше его «контрастов, его несообразностей», непосредственное прошлое Революции представляется, по справедливому замечанию Мишле в «Истории XIX в.», «миром развалин». Поэтому праздники будут отбирать только то, что может укрепить примирение нации, вызванное сознанием, что революция завершена. Поэтому рассказ, который они предложат, будет с пробелами.

отягощать Францию. И не напрасно засиял для нее день 9 термидора II года» (Dumolard, Cinq-Cents, 8 thermidor an V).

¹⁰ Discours du Président du Conseil des Anciens, 5-e jour complémentaire an V.

¹¹ Jean Debry; Cinq-Cents, 14 pluviôse an VI.

¹² Праздник есть «одно из самых эффективных средств закрепления во всех головах представления, которое надлежит иметь об этой Революции, и создания столь желательного единства умов...» (Lanthenas, 12 germinal an III).

В этих пробелах исчезнут некоторые события: 12 жерминаля и 1 прериаля III года, деморализующее воспоминание о коих подорвало бы волю зафиксировать 9 термидора как конец революции. Выпадет 31 мая I года, связанное для Конвента с невыносимыми воспоминаниями, 2 сентября 1792 г., от которого потускнел бы блеск 10 августа. Между отдельными ознаменованиями памяти простираются обширные полосы забвения. Многие ораторы рекомендуют изъять из коллективной памяти «множество жертв»¹³, ибо следует не увековечивать несчастье, а напоминать о нем лишь постольку, поскольку оно дает правильные уроки.

Такой же отбор произойдет и в отношении действующих лиц драмы. Наиболее часто упоминаемый ораторами Робеспьер (за ним идет Кондорсе) упоминается все же очень мало, если сопоставить это с числом речей, в которых говорится о 9 термидора. Ораторы, как правило, умудряются не называть его, прибегая ко всевозможным словесным околичностям. Ведь Робеспьер — это также «государь анархии, тиран II года, желчный человек, французский Катиллина». Но в проектах празднеств не много места оставлено и для положительных образов — к великому разочарованию тех, кто хотел бы воздать почести «основоположникам французской республики», всем «Верньо» и «Кондорсе»¹⁴. Дело в том, что очень мало чистых героев и трудно при ознаменовании памяти все рассказать о жизни того или иного деятеля. Да и не рано ли чествовать память политических деятелей? Не лучше ли предоставить это потомству?

Таким образом, в речах, посвященных ознаменованию памяти, с памятью соперничает забвение. В стремлении забыть доходят требования очистить язык от слов, получивших особый смысл во время Революции. Еще во фрюктидоре II года М. Э. Пети, депутат от департамента Эн, предлагает карать тюремным заключением ораторов, употребляющих слова «гора», «равнина», «болото», «умеренные», «фельяны», «якобинцы», «федералисты», «мюскадены», «алярмисты». Другие идут еще дальше, полагая, что для укрепления Республики необходимым условием является общее ослабление памяти: «Вместо воспроизведения печальных воспоминаний, я желал бы, чтобы следующее поколение могло быть в неведении о том, что Францией некогда управляли короли и, что особенно

¹³ Например, Mangelst, Cinq-Cents, 4-e jour complémentaire an IV.

¹⁴ Речь Кабаниса (Cinq-Cents, 18 thermidor an VI), дарящего Совету Пяти-сот гравюру с портрета Мирабо: «Этот дар невольно оживляет воспоминания, относительно которых сегодня, пожалуй, еще нельзя подобающим образом прервать молчание».

важно, что у Республики были дети-отцеубийцы»¹⁵. В этой пессимистической речи незнание происхождения Революции считается лучшей гарантией ее прочности.

Но есть ли хоть одно событие, память о котором не представляла бы никакой опасности? Даже самые решительные сторонники забвенья высказываются за ознаменование побед над деспотической коалицией, за прославление памяти победоносных генералов. Но не такими праздниками можно воспитывать народ, так можно воспитывать только для войны¹⁶. Такие праздники были бы направлены против той цели, которой они должны служить.

Надо найти торжества недвусмысленные, праздники, не вызывающие смеси различных воспоминаний. 14 июля, 10 августа? Но даже и в этих лучших примерах рассказ должен быть арранжирован, чтобы обеспечить чистоту воспоминания. Нужно множество предосторожностей: «Вызывая в памяти 14 июля и 10 августа, мы не ставим себе целью восхвалять пролитие французской крови и наказание преступников. Мы прилагаем, наоборот, усилия к тому, чтобы удалить это из нашей памяти, дабы не отравлять чистой радости, внушаемой нам победами Свободы»¹⁷. «Не будем отравлять этого праздника (10 августа) воспоминаниями о часах, последовавших сразу вслед за этим днем. Победители не причастны к сентябрьским убийствам. Подлинные французы умеют драться и побеждать; они никогда не унижаются до убийства»¹⁸. Но мало отделить подлежащее забвенью от того, что надлежит сохранить. Надо еще знать, как это сделать.

Для читателей Руссо истинный праздник должен быть только душевным излиянием. Когда Жан-Мари Купе, член Совета Пятисот, дает связное изложение идей республиканского конформизма относительно праздников, он говорит в заключение, что место праздников,— только в сердцах¹⁹. Следовательно праздник должен выражать только свободное и непосредственное проявление радости. Вот почему ораторы непрестанно требуют, чтобы республиканские праздники были освобождены от чрезмерно жесткого ритуала, от отработанных приемов красноречия. Зачем так много предосторожностей, столько заранее заготовленных программ? Если до

¹⁵ Mangelst, Cinq-Cents, 4-e jour complémentaire an IV.

¹⁶ Это тема «Мнения» Депланка о Республиканских Учреждениях: «Именно потому, что французский народ свободен, именно потому, что он могуществен, надо остерегаться воспитания его для войны, надо погасить в нем все зародыши честолюбия» (Cinq-Cents, frimaire an VI).

¹⁷ Grelier, Cinq-Cents, 3 vendémiaire an VI.

¹⁸ J. F. Philippe-Delleville, Cinq-Cents, 8 thermidor an V.

¹⁹ J. M. C o u r é. Des fêtes en politique et en morale. Paris, s. d.

такой степени бояться импровизации на празднике, что «никакому гражданину не дозволяется сказать все, что у него на сердце, нельзя ничего ни говорить, ни прочесть, что не было точно предписано Законодательным Корпусом»²⁰, то это потому, что не доверяют истории. Ведь в то же время, когда ее торжественно чувствуют, надлежит спасти Революцию от импровизации событий! Поэтому лучше, отказавшись от мечты о стихийном празднестве, установить в нем точное соответствие между тем, что видят, и тем что говорят. Вместо идеального праздника, протекающего, по словам Куже, «на траве, в веселых играх и вполне заслуженном отдыхе», постепенно примиряются со спертою атмосферой и жесткою торжественностью Советов.

Важно и то, что цель, которую преследуют (т. е. поддержание существующего порядка вещей), не импонирует. Изображать в качестве завтрашнего дня сохранение Конституции III года — это не значит указать особенно вдохновляющую перспективу. Узкая дорога термидорианского конформизма проходит между двумя параллельными опасностями: назначение праздника в том, чтобы увековечить порядок, который бы не превратился ни в монархию, ни в анархию. На этом двойном исключении зиждется уравновешенная риторика коммемораций.

При описании счастливых событий, ознаменованных праздниками, тоже избегают упоминания о личностях. Ведь надо создать атмосферу единодушия. Итак, когда народ восстает, он восстает весь. Конвент рвет свои цепи единодушно. Ни слова о действующих лицах первого плана, это навело бы на мысль о вожаках, о каких-то личных мотивах. Победы народ всегда достигает одним ударом. Эти победы совершаются всегда, как чудеса: «Народ поднял свою могучую голову, он взмахнул своею дубиною и исчезли все чары монархии»²¹. Это рассказ о 14 июля. «Народ французский сказал: да исчезнет трон» и трон исчез». Это рассказ о 10 августа²². «Какой друг родины, какая чувствительная душа не вспоминает с волнением о днях, когда звуки гимна свободы поднимали всех граждан и побуждали их схватиться за оружие, покрыли все дороги солдатами, создали те памятные мастерские, откуда внезапно вышло огромное количество военного снаряжения, оружие, пушки и штыки, столь грозные для деспотов, столь верные друзья свободы»²³. Это рассказ о 1 вандемьера. Одною жестом народа, одною словом Конвен-

²⁰ *Op. cit.* Fête à la pudeur proposée comme modèle. 16 nivôse an III.

²¹ Marbot, Anciens, 26 messidor an VI.

²² Guyomar, Anciens, 17 thermidor an VI.

²³ Discours du Président du Conseil des Anciens, 5-e jour complémentaire an V.

та, одной увлекательной песни достаточно, чтобы свершилась магия Революции.

В этих условиях легко понять, что революционный праздник представляет своей публике не столько хорошо увязанную историю, сколько серию «картин», весьма отличных друг от друга. Этому способствует также желание представить каждый праздник как воплощение той или иной добродетели. В проекте организации национальных праздников Лекинио предлагает связать каждое ознаменование памяти с восхвалением какой-либо добродетели. 10 августа выдвигает на сцену Свободу, 21 января — Равенство, тогда как 9 термидора воплощает Мужество²⁴. Драматический рассказ о 9 термидора сводится к конфликту двух вечных ценностей, противопоставление которых порождает две картины с противоположными знаками. «Резец истории» вычерчивает здесь, с одной стороны, «картину ужасных и ранее неслыханных преступлений М. Робеспьера и других сектантов», а с другой, картину «мужества, преданности, постоянства, мудрости Национального Конвента»²⁵. Что же, собственно, произошло между робеспьеристами и Конвентом? Об этом ничего не известно. История испарилась, уступив место перечислению добродетелей и пороков.

СИСТЕМА БРЮМЕРА IV ГОДА

Те празднества, которые справлялись от потрясения 9 термидора до последних дней Конвента, отражают испытываемое режимом чувство неуверенности. Первые два праздника перешли в наследство от монтаньяров. В последний день II года во исполнение декрета от 26 брюмера II года останки Марата переносят в Пантеон. Но можно ли это считать ознаменованием памяти Марата? Читая доклад, который Леонар Бурдон посвятил этой торжественной церемонии²⁶, можно в этом усомниться, хотя процессия несла эмблемы, точно соответствующие событиям жизни Марата. Этот праздник Марата оказался также праздником национальных побед, армий Республики, братства. Такая перегрузка позволила очень мало напомнить о Марате довольно немногочисленной публике. Конвент, воспользовавшись предложением неожиданно понадобившегося заседания, отсутствовал на церемонии. Двумя декадами позднее пришла очередь Руссо, праздник которого был тоже частью робеспье-

²⁴ Lequinio, 16 nivose an III.

²⁵ Lamy, Cinq-Cents, 8 thermidor an V.

²⁶ L. Bourdon, 26 fructidor an II.

ровского наследства. Но проведенный под музыку из «Сельского колдуна»²⁷, украшенный присутствием в кортеже ботаников и матерей семейств, выдержанный в чувствительном и пасторальном духе XVIII в., этот праздник создает впечатление большого тепла и единодушия!²⁸ На сей раз Конвент присутствовал! Еще через одну декаду, 30 вандемьера, справляют праздник Побед. Это уже чисто термидорианский праздник. Тремя днями раньше Конвент выслушал доклад Мари-Жозефа Шенье, выступившего против «диктатуры» Давида в этой области и предложившего полную реорганизацию национальных праздников²⁹. Действительно, 30 вандемьера вместо поставленных Давидом сцен мы видим военные упражнения и штурм крепости, исполненные учениками военной школы.

Но с обещанной реорганизацией дело затягивалось. Конвенту трудно выработать доктрину национальных праздников. Лишь после бесконечно долгих прений был принят большой закон 3 брюмера IV года о народном просвещении, дающий делу организации праздников четкое направление и законченный план. Самый выбор праздников претерпевает в первые месяцы IV года некоторые изменения. Закон от 23 нивоза IV года восстанавливает празднование годовщины казни Людовика XVI, а декрет от 10 термидора IV года устанавливает окончательно празднование 14 июля и 10 августа. Следовательно, во время Директории существует пять больших национальных празднеств: 14 июля, 10 августа, 1 вандемьера, 21 января, 9 термидора.

В речах, которыми сопровождается введение этого нового «календаря» праздников, явно проглядывает дух системы. Барайон, открывший в термидорианском Конвенте дискуссию о декадных праздниках, подверг критике порядок, установленный Робеспьером. Закон от 18 флореаля II года был плохо продуман, в течение года один и тот же праздник возвращался несколько раз под различными названиями. Не соблюдалось естественное сочетание праздника со временем года, память об историческом событии не связывалась с той добродетелью, которая ярче всего проявилась в нем. Бессвязно и случайно Бескорыстие следовало за Честностью, за Воздержанностью, за Дружбой. Ни один праздник не был связан ни со следующим, ни с предшествующим.

²⁷ «Сельский колдун» — опера Ж.-Ж. Руссо, сочинившего и либретто и музыку. Впервые была исполнена при королевском дворе в 1752 г., имела большой успех, арии ее стали популярными (*прим. перев.*).

²⁸ И в нем есть как бы обет общего замирения. Вот что писал «*Courcier Républicain*» 21 вандемьера: «Нет! Конвент не потерял пролития крови после того, как во французском Пантеоне поместили человека, написавшего, что свобода, добытая ценою одной жизни, стоит слишком дорого...»

²⁹ M. J. Chénier, 27 vendémiaire an III.

Настаивая на необходимости такой цепной связи, термидорианский Конвент не боится сослаться на Кондильяка. Своими праздниками он хочет также выковать «хорошо построенный язык». Мерлен из Тионвиля, выступая 9 вандемьера III года со своим мнением о национальных праздниках, воскликнул: «О, если бы решение, о коем я сейчас говорил, могло сопровождаться тем решением, необходимость которого так хорошо показал Кондильяк, которое так хорошо подготовили Л'Епе и Сикар и которым Сенглен, по-видимому, успешно занимается; если когда-нибудь совершенная ясность и точная определенность речи сможет сочетаться с достоинством, яркостью и гармонией языка; одним словом, если искусство рассуждения будет когда-либо сведено к искусству говорить на хорошо построенном языке..., то вскоре французский народ, легче просвещаемый своими ораторами и сам легче просвещаясь, достигнет высшего уровня мудрости и истинного величия»³⁰.

От праздников требуется также, чтобы они были бесспорными. Они должны быть школою единодушия: если под гнетом тирании «летопись всего народа стучевывалась перед историей одной семьи, и только в ней нация была обречена искать поводы для радости и ежегодных общественных увеселений, то граждане свободных стран празднуют и освящают только бессмертные события национальной семьи»³¹.

Отвечают ли в действительности всем этим требованиям праздника, сохраненные законом брюмера IV года? При чтении посвященных им речей создается впечатление, что это верно по крайней мере в отношении трех из них.

14 июля — молодость Революции. Во множестве проектов организации праздников и речей, посвященных воспоминаниям о самом дне 14 июля, мы не находим никаких упоминаний о борьбе, ни даже о каких-либо усилиях. 14 июля представляется как некий танец, как шедевр чистой деятельности, в котором движения единодушного народа чудесным образом построены в фигуры изящного и бесплатного балета³². Таким образом, у этого праздника есть особое преимущество; он лишь повторяет то, что само по себе уже было праздником. Поэтому 14 июля всегда описывается только языком душевных излиятий: «Сколь прекрасны были эти первые мгновения свободы! Эта одновременность мужества, это прелестное

³⁰ Merlin de Thionville, 9 vendémiaire an III.

³¹ Daunou, 25 thermidor an III.

³² «Это армия, которая без всякой вербовки, без командующего, без платы формируется в разгар боя и организуется посредством победы» (Baudin des Ardennes, Anciens, 26 messidor an VII).

распространение доверия, это единство чувств!»³³ К тому же 14 июля — акт о рождении Революции, с которого начинается вся цепь событий Революции. Это перелом, отделяющий две эры, и потому праздник 14 июля — первый из праздников. Есть, однако, на этой лучезарной картине легкая тень: незавершенность 14 июля, не разрешившегося сразу революцией в целом; неопытность революционеров-новичков, которые подвели под прогнивший трон фундамент плохо составленной конституции, в достаточной мере объясняет необходимость новых битв в дальнейшем. 10 августа является поэтому уроком не только для королей, но и для законодателей. Ибо вследствие их несообразительности оказались разделенными во времени два события, которые для людей Директории парят в некоей идеальной одновременности³⁴.

Следовательно, 10 августа дополняет известное событие 14 июля... И обратно, 14 июля сообщает ему свою живительную энергию. 10 августа вместе с федератами штурмуют дворец жители предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо, все те же люди 14 июля. На всем протяжении Революции эти этикетки «патриоты 89 года» обозначают некий источник молодости. Это так политично и успокоительно — видеть в жителях предместий, которых иногда, скрепя сердце, приходится все же вербовать, видеть в них только победителей Бастилии! Во всяком случае они, участвуя в событии 10 августа, переносят на него магические свойства 14 июля. Ведь 10 августа, на первый взгляд, заключает в себе нечто огромное и грозное³⁵, противоречащее веселью 14 июля и располагающее к суровым размышлениям. Но, как и 14 июля, все совершается так быстро! Победители монархии в изумлении от столь легкой победы. Через них народ открывает то, что до тех пор скрывалось: слабость тиранов. Рассказы о событии соответствуют форме празднования: как только раздается набатный звон, как только начинают бить сбор всех частей, скипетры и короны уже пылают на кострах, рвется завеса и появляется статуя Свободы, и множество птиц взлетает к небу. На следующий день после таких ознаменований

³³ Marbot, Anciens, 26 messidor an VI.

³⁴ Иногда простодушно подчеркнутой: «Эти два достопамятных события оказались бы естественно рядом одно с другим, если бы Учредительное собрание обладало большим революционным опытом и, используя первый порыв народа к свободе, провозгласило республику». Речь Петерм-Сольнье, цит. по кн.: В. Bois, Les fêtes révolutionnaires à Angers de l'an II à l'an VII (1793—1799). Paris, 1929.

³⁵ «Ночь, предшествовавшая этому великому дню, была прекрасна. Погода стояла ясная и спокойная, величайшее спокойствие царило в Париже. Но в этом мертвом молчании, в этом глубоком покое было что-то внушительное и даже страшное...» (Dubois-Dubais, Anciens, 23 thermidor an VII).

некоторые газеты не без основания замечают, что такая картина божественного «Явления» неправильно отражает существо события³⁶. Но дело в том, что в свете воспоминаний оно потеряло свою материальность; оно стало чистым осуществлением «прекрасных концепций Мабли, Руссо, Рейналя и других новейших философов»³⁷. Чтобы отдалиться его очарованию, не следует особенно углубляться в его последствия: следуя за ходом событий, мы натолкнемся на 2 сентября, на 31 мая. «Когда следишь за ходом событий в течение трех лет после 10 августа, то представляется, будто одновременно пробегаешь по двум поприщам». Первое, конечно, полностью триумфальное: это путь республиканских армий. Но второе — путь тирании, хотя и порожденной тем же лучезарным 10 августа. Чтобы достигнуть этого чудесного результата, народ вынужден был чрезмерно усилить свой порыв, увлечься за пределы своей законной энергии: «Чтобы подготовить свержение трона, ринулись слишком сильно за пределы свободы; слишком сильно поколебали те твердые принципы, которые одни только могут в большом государстве сохранить уважение к законам»³⁸. Стало быть, чтобы дать дню 10 августа его истинное значение, нужно поскорее остановить перечисление его последствий; во всяком случае на 1 вандемьера.

В троице бесспорных праздников 1 вандемьера занимает особое место. Это единственный из исторических «дней», когда не было пролито ни одной капли крови. Это обстоятельство лишает его драматизма, но создает его респектабельность. 1 вандемьера отличается неким чисто юридическим приличием. Во время Директории празднование этого дня увязывают с принятием Конституции III года и подчеркивают «существующее в истории Французской революции полное соответствие между основанием Республики и принятием Конституции». Следовательно, праздновать 1 вандемьера — значит славить благодеяния Конституции.

Затем, с точки зрения законодателей, 1 вандемьера, как и 14 июля, есть некое начало. Но в то время, как 14 июля открывает бурную историю, 1 вандемьера открывает своего рода естественную историю. Это отправная точка республиканского календаря, это освящение социального возрождения французов: отныне движение Республики будет протекать с безмятежною регулярностью движения звезд. Закрепленная в речах эмблематика празднования

³⁶ Например, «Journal des Patriotes de 89», le 25 thermidor an IV: «Разве празднование 10 августа не должно заключать черты, которые бы напоминали о великом и грозном результате этого события?»

³⁷ Dubois-Dubais, Anciens, 23 thermidor an VII.

³⁸ Там же.

1 вандемьера всегда остается «небесною»³⁹: солнечные колесницы следуют в кортежах за колесницами времен года, возносятся воздушные шары, а Солнце проходит через созвездие Весов. Будучи началом мирной истории, 1 вандемьера отмечает также конец истории конвульсивной. Оно завершает Революцию или во всяком случае оно бы ее завершило, если бы...

Ибо в созданной в брюмере IV года системе два празднества, по меньшей мере, встречают сопротивление. Их трудно представить в качестве истинных праздников. В самом деле, как можно славить смерть Людовика XVI на прозрачном руссоистском языке? Неудобно приглашать людей «танцевать на могиле». Нужно как-то нейтрализовать его жестокость, отказаться от изображения события, отдать предпочтение аллегории перед символом; народ не увидит здесь никакого эшафота. Но он увидит, как и в годовщину плювиоза IV года, эстраду, на которой колоссальная фигура, тяжело восседающая на кубе, попирает ногами «знаки рабства»; это Свобода. Никаких следов «справедливой казни».

Зато после 9 термидора кажется, что радость, захлестнувшая решительно все, снимает все колебания. «Казнь тирана — это подлинно праздник для мира», — пишет 11 термидора «*Le journal des hommes libres de tous les pays*». Еще немного, и эту годовщину превратили бы в праздник праздников: «В истории нет сюжета, равного уничтожению заговора»⁴⁰.

9 термидора «Собрание внезапно сбрасывает свои оковы, в свою очередь заковывает в них негодяев, предаёт их мечу правосудия, закрывает вертеп якобинцев, преследует анархию в самом ее логове, спасает от смерти миллионы французов»⁴¹.

Но очень скоро начала ощущаться потребность не столько восхвалять, сколько оправдать 9 термидора. В приводимых аргументах нет ничего неожиданного. Во-первых, 9 термидора было необходимо; усилие, развернутое в целях уничтожения одной тирании, породило другую; существует близкое родство между 9 термидора, 21 января и 10 августа: это поражения узурпаторов, противоположных, но связанных тайным родством. С другой стороны, 9 термидора напоминает 1 вандемьера содержащимся в нем

³⁹ Не всегда удачно, судя по газетным отчетам. Иногда куча песка мешает проходу солнца под знаком зодиака (*Ami des Lois*, 3 vendémiaire an V), иногда зрелище очень невзрачно. «Представление подхода Солнца к знаку Весов на Марсовом поле, как и следовало ожидать, оказалось нелепым зрелищем, жалкою детскою игрой, которая вызвала бы общий смех, если бы не приходилось сожалеть о напрасных расходах» (*Sentinelle*, 3 vendémiaire an V).

⁴⁰ Gregoire, 14 fructidor an II.

⁴¹ Lamy, Cinq-Cents, 8 thermidor an V.

призывом обосноваться в такой Республике, которая, наконец, стала предметом наслаждения: «После Термидора отец семейства, ремесленник, богатый собственник, защитник родины уверены в том, что найден после долгого плавания столь необходимый путешественникам отдых от их трудов. Пусть каждый из нас устроит свое жилище, осуществляет свой промысел, разложит свои богатства, добивается своей славы, распространяет свои знания».

Это значит сказать, что, наконец, 9 термидора положило конец Революции: это последний и наиболее зрелищный эпизод того цикла испытаний, через который Революция должна была пройти прежде, чем установиться. 9 термидора замыкает круг, возвращает Революцию к ее истокам. Оно поэтому обеспечивает блеск и других праздников. Послушаем Дону, выступающего по случаю третьей годовщины 10 августа: «Да, граждане, только сегодня мы впервые по-настоящему можем праздновать годовщину Республики. В 1793 году мы присутствовали на траурном торжестве, и свобода, вся в слезах, оплакивала заранее своих самых верных и самых красноречивых защитников, уже готовых пасть от ножа убийц... В прошлом году вы праздновали 10 августа после того, как поразили главу тирании децемвиров, но вы все еще были в окружении большинства его сообщников, и добродетель еще не могла ликовать...»⁴²

Подлинное значение 9 термидора в том, что с ним все начинается сначала. Лучшее всех это выразил Бабеф: «...нам нужно лучше знать нашу историю, внести больше правды в нашу хронологию; мы должны ныне датировать революцию не пятью годами, а только одним месяцем и несколькими днями. Мы должны условиться, что мы возобновляем наши революционные анналы с 10 термидора, со времени нашего освобождения от жестокого рабства и что, как я уже сказал, мы — люди, которым всего лишь один месяц...»⁴³.

Так, по мысли законодателей, установленные в IV году пять праздников образуют некое органическое целое; от их равновесия зависит целая система конформизма золотой середины. Праздники по-своему иллюстрируют слова Бенжамена Констан: народ высказался за свободу — это 14 июля, за Республику — 10 августа,

⁴² Daupou, 23 thermidor an III. Эта тема уже разрабатывалась и в предыдущем году, например, в «Gazette française» от 25 термидора II года: «...в последнем празднестве хотелось бы перенести к достопамятному событию взятия Бастилии, но мы еще видели, как на развалинах старого деспотизма возникла новая тирания...»

⁴³ «Journal de la Liberté de la Presse» de Babeuf, 17 fructidor an II — 10 vendémiaire an III.

21 января, 1 вандемьера, против анархии — 9 термидора. Временами, однако, проскальзывает в речах сознание того, что не все праздники одинаково ценны. Между «первыми событиями Революции и теми, которые последовали позднее»⁴⁴, нет ли своего рода дегенерации? В том волюнтаристском языке, который тогда неизбежно приходит на смену языку душевных излияний, можно уловить чувство страха, страха перед мыслью, что Революция не кончится.

ОБМАНУТАЯ СИСТЕМА

От брюмера IV года до фрюктидора V года эта система праздников функционирует, правда, довольно приглушенно. Сохраненные праздники справляют, но о них мало говорят. Старейшины до 29 фрюктидора V года не посвящают им никаких комментариев. В Совете Пятисот время от времени можно слышать какую-нибудь речь на тему о почестях, которые надлежит воздать воинам, или о костюмах должностных лиц: все сводится к уточнению деталей церемониал. В этих жиденьких речах нельзя найти следов пережитых событий. Читая их, не подумаешь, что история революции еще продолжается.

Трудно согласиться с Мишле, возводящим 18 фрюктидора в ранг великих революционных событий: войска, без сопротивления и без шума оккупирующие утром Париж, три Директора, которые увольняют двух других в отставку, депутаты, уныло санкционирующие чистку своего собственного состава... В этой кислой победе нет ничего, что характеризует великие события: ни резкости движений, ни гула народного, ни пафоса эшафота. Победивший класс предпочитает «сухую гильотину», он проводит свою кампанию репрессий, соблюдая формы. Но вопреки этой мягкой манере, все изменилось. Импровизация и авантюра опять вторгаются через брешь, открытую 18 фрюктидора. И с самого же начала это событие навязывает новое прочтение прошлого

18 фрюктидора воскрешает постоянную заботу дней, следовавших за 9 термидора: как укрепить Республику в сердцах? А поскольку в то же время возобновляются религиозные преследования, — какой другой культ дать народу взамен? Уже 19 фрюктидора Одуэн предлагает Совету Пятисот образовать комиссию для подготовки общего проекта республиканских учреждений. Старейшины, до 29 фрюктидора хранившие молчание по

⁴⁴ Guesdon, Cinq-Cents, 6 thermidor an VI.

вопросу о празднествах, тоже принимаются выступать с речами в ознаменование памятных событий. С этого момента в обоих собраниях начинается каскад выступлений: выбор эмблем, порядок декадных праздников, церемониал праздников в ознаменование памяти — все является предметом обсуждения. Заметно, что 18 фрүктидора разбудило тревогу, прятавшуюся под тщательной слаженностью праздников IV года.

В открывшихся длительных прениях уязвимым местом является вопрос об исторических праздниках. 18 фрүктидора — то новое событие, которое вынуждает все переделать. Начать с того, что оно подрывает уважение к термидорианскому конформизму, твердящему, что «революция остановилась в день установления Конституции III года»⁴⁵. Знаменательна тема открывающейся в Советах дискуссии: «подобает ли освятить посредством национального праздника годовщину 18 фрүктидора?» Вопрос не ставился так никогда в отношении других праздников. Сама брутальность вопроса достаточно указывает на то, что новый праздник может быть сочтен неприличным. В самом деле, те, кто упорствует во мнении, что Революция давно кончилась, хотели бы уже иметь возможность совсем забыть о 18 фрүктидора, делающем их надежду смешною. Для других, тоже, впрочем, одушевленных желанием покончить с Революцией, именно 18 фрүктидора, а не 9 термидора воплощает отныне такой конец.

Эти несогласные голоса, перетряхивающие все революционное прошлое, заслуживают внимания. Тех, кто против этого нового праздника, шокирует прежде всего дурной тон, связанный с самовосхвалением: «Неужто ставить памятники директорам, еще находящимся у власти? Я хочу говорить с вами со всею республиканскою строгостью. Остерегайтесь дать пример, вопреки духу республиканских законов, освящения событий и действий теми, кто в них участвовал»⁴⁶. А, с другой стороны, как избежать диссонанса, включая 18 фрүктидора в ансамбль других праздников? В то время, как они все, в различных аспектах, выражают порыв великого народа к свободе, этот праздник дает лишь мрачные, печальные уроки. Все другие праздники обладают величием. Но праздновать 18 фрүктидора — значит освящать посредственность. В самом деле, что показывает этот день? «Коварный генерал, французы-сообщники...» А затем, разве празднуют свои несчастья? «Какие события освятили бы вы сегодня, превращая 18 фрүктидо-

⁴⁵ Audoin, Cinq-Cents, 19 fructidor an V.

⁴⁶ J. P. Boullé, Cinq-Cents, 19 fructidor an V.

ра навеки в ежегодный праздник? Вы праздновали бы бессилие нескольких заговорщиков, тысячный успех патриотов в борьбе с роялистами, победу наших доблестных защитников над горстью мятежников. Но победа увенчала их в тысячу раз более славным образом на берегах Рейна, По, Адидже, на границах Испании и болотах Вандеи...»⁴⁷. Если уж абсолютно необходимо вспоминать 18 фрюктидора, почему бы не слить его с ознаменованием памяти 9 термидора? Ибо «8 термидора II года, как и 17 фрюктидора V года, мы были в разгаре контрреволюции»⁴⁸. Легко заметить, куда нацелен этот проект амальгамы: возрождая образ спаренных опасностей, порождающих друг друга в некой вековечной круговой причинности, хотят внушить, будто 18 фрюктидора ускользает от истории и ничего решительно не изменило.

Однако для сторонников нового праздника 18 фрюктидора — вовсе не то, что 9 термидора. Из двух разгромленных заговоров второй был более грозным, потому что он был менее открытым⁴⁹. Не то, чтобы 18 фрюктидора было событием совершенно небывалым. Но, если между всеми революционными событиями есть видимость родства, значит ли это, что не надо никаких различий в ознаменовании их памяти? С другой стороны, если уж абсолютно необходимо делать амальгаму, то не лучше ли с 10 августа, поразившим того же врага? В самом деле, фактическое празднование использует символику, довольно близкую к той, которая характеризует 10 августа: здесь тоже Гений Свободы попирает ногами «погремушки монархии», председатель Директории «рукою, движимую могучим негодованием», вырывает у статуи Политического Лицемерия книгу Конституции, на которую она притворно молится.

Впрочем, есть и нечто новое в этом празднике: инсценировка политической ссылки. «На пьедестале находились фигуры Правосудия и Милосердия. Первая держала поднятый меч; вторая останавливала одною рукою меч, а другою указывала на Запад. Надпись

⁴⁷ Luminais, Cinq-Cents, 28 fructidor an V. Люмине противопоставляет этому необдуманному ознаменованию другое: «Вы поступили мудро, объявив праздниками 14 июля, 10 августа, 1 вандемьера, 14 июля между французами завязались первые узы братства; 10 августа был свергнут колосс монархии; 1 вандемьера основана Республика; 9 термидора уничтожило анархию, восстановило порядок и подготовило прекрасную конституцию, которую ныне мы счастливы праздновать...»

⁴⁸ Pérès, Cinq-Cents, 2 vendémiaire an VI.

⁴⁹ Garnier, Cinq-Cents, 2 vendémiaire an VI: «...до тех пор о заговоре не знали, и он был окружен всем тем влиянием, которое законность внушает общественному мнению...»

гласила: «Они плели заговор против Франции, они не будут больше жить в ее лоне»⁵⁰. Вот в чем оригинальность 18 фрюктидора, говорят его защитники: оно является аллегорией политической умеренности. В этот день не было пролито ни одной капли крови. В этом смысле, осуществляя то окончание Революции, которое не удалось 9 термидора, оно также является событием, так как открыло эпоху, когда в политических разногласиях начинает проявляться умеренность. В первую же годовщину, 18 фрюктидора VI года, Дону обращает внимание своих коллег на те «чудеса», которые стали возможными благодаря этому событию: оно вернуло Республике «ее дух и ее судьбы»⁵¹. Доказательством служит уже тот факт, что оно вернуло блеск другим праздникам, с некоторых пор сильно увядшим, и об упадке коих Леклерк сказал в большом докладе об учреждениях следующее: «Не было больше национальных праздников. Угрюмое молчание смешало бы 14 июля и 10 августа с самыми безразличными датами, если бы некоторые верные республиканцы не взяли на себя инициативу ознаменования их памяти. Даже основание Республики потеряло всякий блеск. Как и другие, это памятное событие, некогда отпразднованное с таким пафосом и ликованием на Марсовом поле с участием 400 000 человек, было бы ограничено тесным пространством какого-нибудь двора, где стесненные и, так сказать, скрытые, еле поместятся между четырьмя стенами пятьсот-шестьсот человек: место, право же, не достойное обстоятельство»⁵².

Восстанавливая республиканскую пышность, 18 фрюктидора доказывает этим свой консервативный характер. Почему бы не превратить эту дату в праздник выборов? В этот день можно было бы показать народу «свободу, заключенную в урну его голосований»⁵³. Гарнье из Сент предлагает делать это каждые пять лет. В конце концов решено, что это будет каждый год.

Итак, отныне имеется шесть исторических праздников. Очень скоро выясняется, что новорожденный праздник диктует необходимость глубоких изменений. Он выводит некоторые события из того оцепенения, в которое их ввергла цензура: 13 вандемьера, до того постоянно замалчиваемое в речах, посвященных воспоминаниям, становится необходимым звеном, чтобы сделать понятную

⁵⁰ Rédacteur, 20 fructidor an V.

⁵¹ Daunou, Cinq-Cents, 18 fructidor an VI.

⁵² Leclerc, Cinq-Cents, 23 frimaire an VI.

⁵³ Garnier, de Saintes, Cinq-Cents, 2 vendémiaire an V.

историю, ведущую к 18 фрюктидора. 13 вандемьера стало неизбежным вследствие «пагубного снисхождения» к преступникам, проявленного после 9 термидора; а «полумеры», принятые после 13 вандемьера, привели к крайности 18 фрюктидора. Отныне ореол героического единодушия окружает и 13 вандемьера, и рассказ о нем опять ведется в тоне, подобающем великим «дням», богатыми чудесами⁵⁴.

Зато 18 фрюктидора отбрасывает в тень празднование 9 термидора. Ведь 9 термидора не выполнило своего обещания, оно не положило конца Революции и, хуже того, обрекло ее на новые судороги. Отныне, рассматриваемое с высоты 18 фрюктидора, оно связано с тем, что последовало за 9 термидора, и становится рядовым историческим событием. Правда, праздник сохраняется. Но его окружают множеством предосторожностей. 9 термидора становится шагреневою кожей. Воспоминание о нем сокращается до того, что совпадает единственно с днями 9 и 10 термидора. Можно еще дать пылкое повествование о 9 термидора, но надо стараться не выходить за рамки этого очень сжатого времени. Как только рискнешь выйти за эти рамки, сразу сталкиваешься с «той кровавой реакцией, что растерзала стольких республикаэцев под наименованиями агентов Робеспьера, якобинцев, террористов и анархистов»⁵⁵. Преступная клика тоже разительным образом сократилась; теперь она сводится к горстке людей, занятых заговорами, «некоторым разнородным элементам», тогда как монтаньярский Конвент продолжал свою работу, в общем достойную уважения⁵⁶. Следовательно, необходимо тщательно просеивать воспоминания, фиксируемые в празднике. Необходим также отбор людей, на которых возложена организация праздника; к этому делу можно допустить «только подлинных друзей 9 термидора». Вырабатывается особое искусство празднования 9 термидора. Искусство альянзи: «возмутительные крайности произвели обратные действия, и нам пришлось оплакивать гражданские волнения»⁵⁷. Искусство эвфемизма: «Счастливое 9 термидора! Ты напоминаешь нам

⁵⁴ «Все глаза повернулись к тому, кто 9 термидора командовал фалангами свободных людей. Баррас был избран, и тут же Баррас призвал Бонапарта. Сразу все меняется, вялость и шатающаяся посредственность уступают место жгучему и просвещенному патриотизму и гению-мастеру победы...» (Lecointe-Puyraveau, Cinq-Cents, 9 thermidor an VI).

⁵⁵ Luirot, Cinq-Cents, 10 thermidor an VII.

⁵⁶ «Но подавляющая масса Конвента, чистая, как лучи солнца, должна была, подобно ему, рассеять бури и оживить Францию» (Rollin, Cinq-Cents, 26 thermidor an VI).

⁵⁷ Luirot, Cinq-Cents, 10 thermidor an VII.

о торжестве добродетели над преступлением»⁵⁸. Искусство умолчания: «Не ждите от меня, граждане, воспоминаний о тех днях траура и слез..., я не буду бередить еле зарубцевавшиеся глубокие раны, показывая вам Робеспьера сидящим на троне диктатора, дающим во все концы Республики сигналы к убийствам и пожарам, я не стану будить еле затихшие страсти и слишком горькие воспоминания, рисуя пред вами ужасную картину гражданской войны»⁵⁹.

Очень трудно стало говорить о 9 термидора без задних мыслей. Эту нечистую совесть стараются преодолеть указаниями на счастливое положение в настоящем. Образы гавани и тихого убежища, которыми уже так много пользовались ранее, опять без труда служат для эвфемистического обозначения 18 фрюктидора.

Но, разумеется, ничто не кончено. О произведенных во флореале VI года «исправлениях» выборов нет ни малейшего указания в проектах праздников. На сей раз чистка имеет характер антиякобинский; однако она не останавливает эрозию воспоминаний о 9 термидора. Зато реванш, взятый Советами 30 прериала VII года, вводит новые изменения в систему празднеств. Дело не дошло до предложения учредить праздник 30 прериала, хотя этот день и связывают иногда с чудесным событием 14 июля⁶⁰. Но поражение исполнительной власти указывает на упадок 18 фрюктидора, этого праздника исполнительной власти. А возрождение некоего якобинского климата способствует все большему ступшевыванию воспоминаний о Термидоре.

Вопреки всяким ожиданиям праздник 18 фрюктидора сохраняется. Но незаконный характер события, до сих пор камуфлированный, начинает проступать на поверхности речей, как пятно, неизбежное, но очень заметное: «...не надо закрывать глаза на то, что это был грубый, чрезвычайный удар; он нанес жестокий ущерб Конституции, правам судебной власти и даже самой Директории». «Лишь скрепя сердце» можно было претерпеть это посягательство⁶¹.

⁵⁸ Jourdain, Anciens, 7 thermidor an VI.

⁵⁹ Discours du citoyen Bourgeois, Président de l'Administration municipale d'Angers — см. В. В о i s. Op. cit.

⁶⁰ «Законодательный Корпус схватил, наконец, свою дубину и поклялся в прериале месяце спасти родину, как французский народ 14 июля поклялся в любви к свободе и хранении ее прав. Здесь нация вернула себе место, в течение веков узурпированное верховным наследственным должностным лицом; там законодательный корпус вновь поднимается на первую конституционную ступень, захваченную в течение ряда месяцев верховными выборными должностными лицами» (P. Guyomar, Anciens, 24 messidor an VII).

⁶¹ Boulay, Cinq-Cents, 18 fructidor an VII.

Приписываемое 18-му фрюктидора единоклассники расстраивает: «Частные страсти оказали слишком большое влияние на это событие и на его последствия»⁶². Вместе с тем одно беззаконие породило другие; пришлось «стонать под игом злоупотреблений, учиненных несколькими людьми и, особенно, старой Директорией»⁶³. 18 фрюктидора не только не оказалось тем заключением, которое приветствовали, но оно сделало необходимым новые события: это хорошо видно 30 прериала. Несовместимость 18 фрюктидора с большими праздниками единоклассники громко звучит поэтому в речах, как несколько ранее звучала мысль о неусваиваемости 9 термидора.

Как раз в это время усиливается тенденция оспаривать праздник 9 термидора. Этот день продолжает считаться праздничным. Но сохранил ли праздник свое значение? Он был в центре внимания в ходе больших прений в термидоре VII года по вопросу о гражданской присяге лиц, входящих в состав национальной гвардии. До тех пор от них требовали клятвы ненависти к монархии и к анархии. В возрожденной 30 прериала якобинской атмосфере это равновесие, ставшее философией режима, уже не представляется терпимым. С другой стороны, дискуссия позволяет судить о некоем помутнении разума, овладевающим праздниками. Затронуть присягу — не значит ли это отменить неотменяемое?

Чтобы счесть неприемлемым представление о двух одинаково грозных опасностях, надо по-новому взглянуть на то, что предшествовало и последовало за 9 термидора. Последствия 9 термидора рассматриваются теперь как сама контрреволюция: «Граждане-представители, вы не потерпите этого ретроградного и губительного движения, куда вас хотят толкнуть. Вы вспомните, что система, которую вам предлагают сохранить, даже после 30 прериала VII года, есть дело рук самой контрреволюции»⁶⁴. А накануне 9 термидора не было ли тоже, в другом обличии, контрреволюции? Не совсем.

В этих дискуссиях рассматривается термидорианский дух согласия: в перспективе прериала VII года режим 1793 г. уже отнюдь не тот «злополучный уклон», который оплакивает Тибодо, а «неизбежное, быть может, следствие революционного потока»⁶⁵. Извергнутый до тех пор из революционной памяти монтаньярский эпизод восстанавливается в своих правах. После этого уже нельзя,

⁶² Boulay, Cinq-Cents, 18 fructidoran VII.

⁶³ Там же.

⁶⁴ F. Lamarque. Cinq-Cents, 7 thermidor an VII.

⁶⁵ Boulay, Cinq-Cents, 8 thermidor an VII.

не шокируя, вспомнить о ла Ревельере, который в годовщину казни короля, пользуясь хорошо испытанными риторическими фигурами, провозглашал анафему анархии⁶⁶. В этой новой системе отсчета «времен и преступлений»⁶⁷ исчезает надежда на возможность нейтрального решения: 30 прериала убило ее. «Все наши беды,— говорит Франсе накануне праздника 18 фрюктидора VII года,— происходят, во-первых, от того, что дух революции вместо того, чтобы умерить, погасили до того, как революция была полностью закончена. Во-вторых, от бездарности всех правительств, сменившихся после 9 термидора и занявших враждебную позицию между роялистскою партией и партией террористов, вместо того, чтобы сосредоточить все свои силы против первой, и смягчить, нейтрализовать и направлять другую, которая была бы и будет еще, когда захотят, мощным помощником против роялистской партии... Я знаю, что много говорилось о нейтральной и средней партии, равно враждебной всем крайностям и предназначенной всегда держать в руках весы. Но это партия без жизни, без цвета, без движения. Она состоит во Франции из нескольких замаскированных роялистов и из многих существ, склонных к компромиссам. При каждом толчке весы падают из их робких рук»⁶⁸.

Возникает необходимость дать определение анархии, ибо последняя после того, как отказались от столь удобного жупела монтаньярской диктатуры, грозит гангреною всем воспоминаниям о революционных событиях. До тех пор она совпадала с правлением Робеспьера, но затем она охватила всю Революцию, начиная с ее первых часов; и 14 июля и 10 августа — все это тоже анархия⁶⁹. Но если анархия воодушевляет прекрасные дни рождающейся свободы, то как можно праздновать ее поражение 9 термидора? С другой стороны, путем обратной инфекции анархия охватывает даже 30 прериала. Это самое удивительное обстоятельство, ибо до 30 прериала всякий раз, когда к цепи революционных событий до-

⁶⁶ Briot. Cinq-Cents, 7 thermidor an VII.

⁶⁷ «Вы осмеливаетесь изображать анархистов, как группу, равную группе роялистов, в течение трех лет вы их качаете на ваших ужасных политических качелях, вы упорно преувеличиваете размеры этой группы, чтобы разить ее самыми торжественными клятвами... Вы нам постоянно напоминаете о режиме террора. Имейте же хоть немного совести; сосчитайте время и совершенные преступления. Сопоставьте кровь с кровью, кости с костями, кинжалы с эшафотами и, если вы действительно хотите ненавидеть то, что ужасно и разрушительно, скажите кто — реакция или анархия — заслуживает приоритета в ваших присягах» (Briot, Cinq-Cents, 7 thermidor an VII).

⁶⁸ Français, Cinq-Cents, 17 fructidor an VII.

⁶⁹ Jourdain, Cinq-Cents, 6 thermidor an VII.

бавляется новое событие, оно вносит изменения в воспоминания о предыдущих событиях, но само себя считает неприкосновенным. На этот раз это вовсе не так: «...мы, пожалуй, сами нуждаемся в большой мудрости и мужестве, чтобы не поддаться естественному движению, побуждающему нас давить на Директорию, подобно тому, как она давила на Законодательный Корпус...»⁷⁰. В самом 30-м прериале может скрываться зародыш анархии. Тут открывается перспектива, от которой ум заходит за разум. Ибо, если можно доказать, что анархия была в самой Директории, «если это чудовище может быть захвачено на месте преступления в директориальном кресле»⁷¹, тогда прериаль чист от анархии. Но если Директория была невинной в этом, то «представители народа в таком случае должны быть квалифицированы, как анархисты, и отправлены на эшафот». Подобные спекулятивные размышления, которые их автор именуется ухищрениями, дают во всяком случае представление о каком-то состоянии неуверенности. Никто уже не осмеливается говорить, что Революция окончилась 30 прериала.

Неизбежным следствием всего этого является усталость. Многие ораторы требуют прекратить переделки праздников, искажения их сакраментального содержания. «Стало быть, при каждом изменении системы мы обречены видеть внезапную революцию в словах, в вещах, в должностях, в людях, в законах, в учреждениях. Стало быть, нам грозит вечно быть под управлением политических групп, которые по своей природе всегда подвижны и беспокойны, вместо того, чтобы быть под управлением твердых и непоколебимых законов. Стало быть, раньше или позже, если этот беспорядок будет продолжаться, с народной массой произойдет то же, что происходит с теми землями, которые, подвергаясь слишком частым перекапываниям, теряют плотность, распадаются во все стороны и превращаются в прспасти...»⁷²

Итак, перспектива опрокинулась. Если ознаменования памяти не удаются, то не потому, что Революция бесконечна. Наоборот, бесконечное размножение праздников обрекает на бесконечность и Революцию.

*

Находятся люди, которые заявляют о «событии» 18 брюмера, что это и был настоящий праздник, самый удачный из всех. Хитрые авторы брошюр видят в нем сочетание, в результате импро-

⁷⁰ Boulay de Meurthe, Cinq-Cents, 8 thermidor an VII.

⁷¹ Montpellier de l'Aude, Cinq-Cents, 8 thermidor an VII.

⁷² Curée, Cinq-Cents, 7 thermidor an VII.

визации, всех черт, которые ораторы Революции тщетно тужились придать своим праздникам: «Из всех проведенных в Париже за время Революции праздников я не знаю ни одного более остроумного, более изобретательного и более достопамятного, чем тот, который справили в Сен-Клу 18 брюмера VIII года. Это был аллегорический праздник, и он составит эпоху в нашей истории. Его называют Экспромтом мудрости. Этот праздник, единственный в своем роде, ничего не стоил Государственному казначейству, и народу не пришлось испытать неприятных следствий тех расходов, которые влекут за собою подобные зрелища. Он обошелся без шума, без программных афиш, без иллюминаций, без летающих ракет, без бомб и без пушек. Если не было лампионов, то он был освещен лучами солнца. Никто не был приглашен; никто не получил билетов. И этот праздник, данный современным Демосфенам и Цицеронам, не нарушался непостоянством и легкомыслием праздных жителей столицы...»⁷³

После того, как был сыгран этот последний акт, потребовалось опять просеять все революционное прошлое. Такое множество ознаменований памяти нарушило бы «отдых нации». Что же остается после прихода к власти Консулов от всех судорожных усилий, проделанных со времен Термидора ораторами ознаменований? Только два исторических праздника: 14 июля, 1 вандемьера. Праздник сердец, праздник права. Между радостным волнением крещения и спокойною уверенностью законного утверждения никто теперь не сможет ничего узнать из праздников о том, что было: история Революции упростила сама себя.

⁷³ Noverre. Lettre sur les arts imitateurs et sur la danse en particulier. Paris, 1807.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
<i>М. Лоне.</i>	
Политическое воспитание ребенка из народа: сын часовых дел мастера (1712—1728)	7
<i>Л. С. Гордон.</i>	
Тема «благородного разбойника» Мандрена в идейной жизни предреволюционной Франции	60
<i>Г. С. Кучеренко.</i>	
Жан Мелье и французский материализм XVIII века	82
<i>Д. Рош.</i>	
Ученый и его библиотека в XVIII веке. (Книги неперменного секретаря Академии наук, члена Академии г. Безье Жана Жака Дорту де Мэрана)	113
<i>Х. Н. Молджян.</i>	
Диалектика в мировоззрении Дидро	149
<i>Ж. Эрар.</i>	
Научное знание и роман или парадоксы Дени-фаталиста	171
<i>Б. Ф. Поршнев.</i>	
Мелье, Морелли, Дешан	196
<i>Э. Лемэ.</i>	
Рождение социальной антропологии во Франции: Жан-Никола Деменье и изучение привычек и обычаев в XVIII веке	216

<i>П. И. Сиволоп.</i>	
Вольтер о гражданском долге писателя	230
<i>М. Дюше.</i>	
Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения. Основы антропологии у философов	251
<i>В. М. Далин.</i>	
Руссо в оценке Бабефа	279
<i>А. Р. Иоаннисян.</i>	
Франсуа Буассель и идея социализма в годы Французской революции	289
<i>М. Озуф.</i>	
От термидора до брюмера: Революция говорит о самой себе	305

ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

Утвержден к печати
Институтом всеобщей истории АН СССР

Редактор издательства *В. И. Журавлева*

Художник *Э. Л. Эрман*

Технический редактор *Р. Г. Грузинова*

Сдано в набор 18/VI 1970 г. Подписано к печати 22/VII 1970 г.
«Формат 60×84¹/₈». Бумага № 2. Усл. печ. л. 19,30. Уч.-изд. л. 19,1
Тираж 4200 экз. Т-12612. Тип. зак. 704. Цена 1 р. 15 к.

Издательство «Наука». Москва К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва Г-99, Шубинский пер., 10

I B 6663

1 р. 15 к.

5.75

GL



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»